

Г О Р О Д

СТАВРОПОЛЬ – НА – ВОЛГЕ

Городской литературный журнал

в номере:

ТОМЪЯТТИ № 46 2023 Редактор: В.Н. Мисюк Учредитель: В.А. Смирнов

Поэзия

- 29.....Елена Карева
63.....Владимир Мисюк
107.....Владимир Кирюхин
193.....Николай Гиливеря

Проза

- 3.....Марина Шляпина
53.....Наталья Сафронова
71.....Татьяна Гоголевич

Гость "Города"

- 115.....Андрей Пестов
135.....Александр Трунин
141.....Виктор Шилин
181.....Светлана Войтко

Впервые в "Городе"

- 187.....Виталий Рыхлов
223.....Елена Колесниченко

Драматургия

- 199.....Вячеслав Смирнов

Памяти писателя

- 233.....Эдуард Пашнев

Вышли из печати

- 243.....

Об авторах

- 245.....

ББК 84(2Рос - 4Сам - 2Тол) 6
Г701

Г701 **ГОРОД №46:** Литературно-художественный журнал /
авт.-сост. В.Н. Мисюк, В.А. Смирнов. — Казань: Изд-во
АН РТ, 2023. — 248 с.
ISBN 978-5-9690-1153-3

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ
и технической Союза российских писателей.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ

"ПАРОВОЗЪ" №13: поэтический альманах-навигатор СРП, приуроченный к 30-летию Союза российских писателей. Под ред. С.В. Василенко, В.Н. Мисюка; сост. С.В. Василенко, В.Н. Мисюк, В.И. Стрелец. — М.: Союз российских писателей, 2022. — 400 с.



В номере опубликованы поэтические подборки тольяттинских авторов: Л. Бессоновой, Т. Гоголевич, И. Плевако, Н. Степаненко, Е. Шустровой.

16+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-9690-1153-3



ПРОЗА

МАРИНА ШЛЯПИНА

ДВА РАССКАЗА

Возвращение

Утром зайцы прибегают на дачу, и пока все спят, грызут растущую капусту. Мне казалось, заяц, жующий капустный лист, выглядит так классически, что человек обязательно должен умилиться и простить ему порчу урожая. Приносит ли он вред, думала я, рассматривая лист со следами чего-то такого, что должно быть зубами. Не видела никакого особого ущерба, а возникало только ощущение близости таинственной жизни где-то рядом. Пусть прибегает, и когда-нибудь я его увижу. А капусту куплю в магазине.

Кроме испорченных лесным фантомом листьев капусты, в домике водились странные мыши. Однажды я заметила, что вместо чая в жестяной банке в ней лежит растворимый кофе. Но почему мыши, спросите вы. Потому что я слышала ночью их шум под столом. Точно так же шумели мыши у меня в мастерской. Да, но как это связано с чаем и кофе? Наверное, никак, но было спокойнее думать, что как-то связано. Может, надо было еще подумать и придумать понятное объяснение. Например, что в банке всегда был кофе, и я просто забыла, что там было чай, а у меня начинается Альцгеймер. Но я читала, что агенты штази так и делали, проникая в дом человека, они могли пересыпать содержимое банки, доводя человека до умоисступления и ломки личности. Поэтому, если кто-то и сводил меня с ума, то я просто решила не дать ему шанса.

Этот кто-то еще удивлял меня тем, что включал иногда ночью будильник. И я некоторое время прислушивалась к ночным звукам в комнате и за окном. Звуки слышались обычные. Ветер шумел в ветвях, могли пискнуть ночные птицы, и пару раз шумели под столом мыши.

Наверное, надо завести кота, размышляла я. Он хотя бы будет ловить мышей и просто лежать рядом на кровати, мурлыкать. А днем мы вместе будем ходить поливать лук и свеклу. Вместе слушать радио и шум по ночам.

– Ты долго еще будешь жить там одна? – спрашивал папа по телефону. Он не понимал, зачем я здесь живу вот уже второй месяц. Папе шел девяносто третий год, и он чувствовал себя очень неплохо, не считая не сгибающейся коленки правой ноги. Он никогда не принимал таблетки и, наверное, поэтому хорошо сохранился.

– Все лето, наверное, – отвечала ему шестидесятилетняя дочь, то есть я. Несмотря на свой, по сравнению с отцом, юный возраст, чувствовала я себя не столь бодро. Настолько не бодро, что не хотелось возвращаться в город, чтобы снова не попадать в его силовые линии и не делать лишних движений, чтобы их выдержать. Сбежала от кармы, думала я. Но разве это возможно? Возможно, если не пытаться найти кого-то, кто будет решать твои проблемы. Вот, например, проблему с чаем. Но нет чая, он закончился, нет и проблемы. Кофе тоже хорошо. У меня есть сухие сливки и сахар. Я мешала все это, и получалось если не капучино, то что-то отдаленно похожее.

Ночью снова зазвонил будильник. Я уже привычно нажала на механическую кнопку, и он замолчал. За столом кто-то сидел. Я вжалась в подушку и попыталась притвориться мертвой. Испарина пробежала по телу. Вдруг вспомнилось, что только недавно я утверждала, что если пожил сорок лет, то можно и умирать, а тут испугалась. Ладно, умру, решила я и посмотрю, что будет дальше.

– Вы кто? – набравшись смелости, охрипшим голосом обратилась я к черному силуэту мужчины. По коротким волосам и бороде я определила, что это был мужчина.

– Так это ж я, Олег, – он повернулся ко мне, и я действительно узнала моего мужа, умершего пять лет назад. То, что я удивилась, это мало сказать. Наверное, все же сошла с ума, – пронеслась мысль. Но пока ничего страшного не происходило. Даже интересно стало. В конце концов, мне немного одиноко без кота и человека рядом. Или, может, мне это снится?

– Света, это я. Не понимаю, почему ты раньше меня не видела.

Он встал и подошел ко мне, взял за руку, рука была теплой и живой.

– Но ты же умер, – пробормотала я.

– Умер? – в его голосе прозвучало недоумение. – С чего бы?

– Ты долго болел и умер пять лет назад.

– Да, верно, я болел. Но сейчас я выздоровел. – Он провел рукой по моим волосам, и запах его руки был таким знакомым, что я поразились силе своего мозга, который сконструировал такую мощную галлюцинацию. Но какая разница, галлюцинация он или нет. Главное, что он знакомая галлюцинация, не Люцифер

какой-нибудь с хвостом. Да если он и Люцифер, тоже хорошо, – такой свой и родной.

– Я соскучилась по тебе, как хорошо, что ты вернулся, – взяла его за руку и притянула его к себе. – Приляг рядом.

Олег послушно лег рядом поверх одеяла и приобнял меня, повернувшись ко мне лицом. В темноте было едва слышно его дыхание, а тяжесть его руки я ощущала на своем бедре. Я не заметила, как заснула.

Утром, как и следовало ожидать, никакого Олега рядом не обнаружилось. Я посмотрела на себя в зеркало: что со мной происходит? На меня смотрело привычное лицо, бледное и не накрашенное. Пора немного подстричься, подумала я, оттянув отросшие концы волос. Да и переодеться не помешает. Хожу весь месяц в спортивном костюме, а ведь есть еще и сарафан, купленный в прошлом году. Я запомнила, что Олег, в том случае, если он не галлюцинация, видит меня, возможно, и днем. Я огляделась. В комнате все было, как и прежде. Краем глаза заметила приоткрытую дверь холодильника. Он был выключен, но в нем я хранила запасы крупы и сахара. Распахнув дверцы, я увидела, что банка с консервированной фасолью была вскрыта и наполовину опустошена. Олег любил такую фасоль, самую дешевую из «Магнита». Хм, подумала я.

Переодевшись в сарафан, неспешно вышла на крыльцо. Солнце стояло уже высоко, даже начинало припекать. «А я сошла с ума, а я сошла с ума, какая досада», – вертелись в голове слова Фрекен Бок. Но никакой досады я не чувствовала, а наоборот, мне было как никогда спокойно и даже было похоже, что настроение улучшилось. Полив из лейки все, что у меня росло на грядках и распускающиеся пионы рядом с ними, я вытряхнула из банки предпоследний кофе, намешанный со сливками, и выпила кружку немного подозрительного капучино. Прибывшие ниоткуда силы требовали выхода. Но делать было нечего. Домик не разваливался, вода и еда есть, идти было особо некуда и незачем.

– Олег, – сказала я вслух, – давай погуляем, мне одной скучно. Я встала, закрыла на ключ дверь и отправилась вдоль дачной улицы вниз.

Июльские цветы росли у каждого домика. Красные и розовые пионы, белые ромашки, ультрамариновые колокольчики, жасмин, разноцветные люпины, бордовая и белая гвоздика...

– Смотри, как красиво, вот оно наше северное лето. Быстро пролетает, не успеешь оглянуться. Слушай, кукушка кукует. Сколько мне осталось жить? Раз, два, три... десять... двадцать... сорок один! Ну и ну! Это что же, жить буду сто один год? Кошмар

какой-то... Как это я одна-то буду жить здесь? Папа скоро умрет, наверное. Хотя, кто знает. Но он меня замучил, – такой ворчун. Говоришь, не одна, а с тобой. Ага, ну да, с тобой. К дочке в Испанию точно не поеду, не нравится мне жара и пальмы. Ну, хоть ты со мной будешь и ладно. Договорились? – я остановилась и прислушалась, может, ответит. Олег тактично молчал. Он вообще не любил что-то обещать. Вот и сейчас молчит. Дескать, как все сложится, так и будет, не от него все зависит. Хорошо, пусть будет так, как есть.

Постепенно мы с ним дошли до железной дороги. Душный запах шпал слегка витал в воздухе. Нет, я не Анна Каренина, отмахнулась я от его немого вопроса. Он замолчал. И в тот день он уже ничего не говорил, постепенно растворившись в воздухе, и я почувствовала, что его рядом уже нет, ушел в свой невидимый параллельный мир.

Вечером я взяла в руки его гитару и стала перебирать струны, надеясь, что Олег подскажет новые мелодии с того света.

– Что там у вас играют, – спросила его, как если бы он был рядом.

– Дай гитару, сыграю, – его руки потянулись из-за моей спины и взяли инструмент. Я оглянулась. Муж стоял за спиной, мягко улыбаясь, он начал наигрывать неспешный ритм и тихо подпевать ему.

– Что это, – наострила я уши, пытаюсь понять, что он там бормочет. – Только в другой раз не стой у меня за спиной, не надо меня пугать, ладно?

– Значит, я умер, – удивлялся он. – Вот как. Я ведь даже этого не заметил. Но я тебе верю. Умер, выходит. Я тебя часто видел, и мне было непонятно, что ты со мной не разговариваешь. Я тебе говорю: «Света, скажи что-нибудь», а ты молчишь. Я решил, что ты обиделась на что-то. Может, на то, что я тебе мало помогаю. Но ты скажи, что сделать.

– Но что сделать, это же невозможно! Ну, например, у меня сломался холодильник, и я привыкла, что его нет. Не хочется ехать в город, покупать, везти его как-то сюда. Как я привезу? Машины нет, у Ольги тоже нет. Искать кого-то не хочется. Я уже привыкла жить без холодильника, он теперь как тумбочка.

На следующий день я проснулась от звуков мотора. Редко здесь кто-то проезжал. Все дома вокруг моей дачи были практически заброшены. Соседи-пенсионеры умерли, а их дети не приезжали, утратив всякий интерес к этим местам. Молодежь покупала престижные дачи на берегу Камы, а здесь, рядом с лесом, без реки

место было неинтересное. На всякий случай я вышла из домика. Бодрый женский голос меня поприветствовал:

– Привет, Света, вот приехали, надо забрать кое-какие вещи. Как дела? Папа здесь? Нет? Живой еще. Какой молодец.

Жанна, дочь умершей недавно соседки, открыла дверь домика и пропустила туда своего мужа и сына. Они стали выносить оттуда какие-то вещи в мешке. Я собирала с куста жимолость, когда Жанна крикнула:

– Света, холодильник нужен? Если нужен, забирай.

Я опешила, конечно, от такого предложения. Холодильник еще советский, громоздкий и неубиваемый «Саратов» был принесен в домик и подключен.

– Спасибо, Олег, ой, Андрей, – поблагодарила я мужа Жанны.

Ночью муж спит рядом, я слышу его дыхание. Иногда он рассказывает мне, кого он там видит порой, путая прошлое и будущее. Предупреждает, что о будущем, если он случайно проболтается, мне нужно забыть, не разрешают им это рассказывать. И поэтому я не должна об этом спрашивать. Но он не понимает, как эту разницу определить.

– У нас там как-то все перемешалось, и никакой разницы нет.

Я смотрю на светлое пятно лица во тьме ночи, улыбающиеся глаза и кажется, что действительно, нет никакой разницы.

Я пишу вам из Греции

Нет, я не отдыхаю тут. Почему? Самому интересно. Пятнадцать лет не был на море, и вдруг поехал. Но я не ощущаю себя здесь как на своем месте, на том месте, где мне надо быть, чтобы чувствовать себя хорошо. Да, тут красиво, но скучно. Красивые волны, красивая вода, красивый пляж, красивые круизные пароходы, красивые цветы, красивые закаты... Я мечтал увидеть море, и я увидел. И все. И больше ничего нет. Море оно и есть море, песок и есть песок, закат есть закат – и ничего более. А сколько было фантазий, сколько представлений, предвкушений...

Мне скучно стало проводить время с самим собой. Понимаю, не могу развлекать себя тем, что я придумывать какие-то большие, дополнительные смыслы к тому, что вижу, что есть. Друзья не могут особо позволить путешествия. А новые отношения я боюсь заводить, так как было тяжелое расставание. Но как сказала бывшая девушка «мы бы убили друг друга». Это странно, потому что мы никогда до рукоприкладства не доходили. Наверное, она хотела меня убить, но не могла себе этого позволить... Странно, конеч-

но, представлять это, видя перед собой хрупкую девушку со слабыми руками. Оглядываясь назад, вспоминаю ее мрачные взгляды и всегда казавшиеся мне случайными слова «как с тобой тяжело! Когда ты станешь другим!» Я мог кричать на нее, и она могла кричать какие-то некрасивые, грубые слова. Но мне казалось, это часть отношений, это то, что мы можем себе позволить в узком кругу – честно говорить то, что думаешь, что чувствуешь. Хотя это я, может, начался в массовой поп-литературе по психологии, когда хотел понять, почему все идет не по плану.

И вот я снова один, отчего отвык. Но не хочу снова знакомиться и не умею. Вообще я интроверт и не люблю шумные компании, где логично можно было бы расширить круг знакомых. Приехал сюда скорее, чтобы залечить воспоминания. Но ничего не происходит. Вспоминаю сцены, прокручиваю слова, что мы говорили друг другу и думаю, что я пропустил и когда?

Я сижу на песке и просто смотрю вдаль. И не вижу смысла ни в работе, ни в жизни, ни в отдыхе. Все краски для меня потускнели. Небо стало серым, люди хмурыми. Жизнь пустая и ничем не пахнет, если так можно выразиться. Не понимаю, что со мной не так. Люди как-то умеют жить дальше, радоваться, а я застрял во временном промежутке. Не могу сказать, что это состояние мне незнакомо и никогда такого не знал. Конечно, знал. Более того, оно мне присуще, оно мне родное, близкое, понятное, привычное. Просто я привык к другому состоянию, когда бы мыли вместе, – яркому, возбужденному, все события играли какими-то новыми, немного воспаленными красками. Мне казалось, наконец, что я понял смысл жизни – он в любви, в отношениях, в том, что ты кого-то любишь, к кому-то привязан, и на этом строится все: теперь ты знаешь, зачем смотришь на закат, зачем идешь на вечеринку, зачем пьешь, зачем спишь, зачем работаешь.

Мне напоминало мое состояние сейчас подобно состоянию уставших мышц рук, поначалу вцепившихся во что-то ценное, и вдруг они расслабились, отпустили объект желания. В руках – пусто. И на дне этой пустоты – разочарование и тягостное недоумение. Но и то, что было в руках, – было ли это счастьем? Или это всего лишь казалось счастьем, пока переливалось в руках, искрило и пускало мыльные пузыри. Теперь мне все объекты этого мира – море, девушки, люди, занятия, вкусная еда, искусство кажутся фантиками, разверни которые, ничего не обнаружишь – пустоту.

Ноги затекли от долгого сидения на песке в одной позе, встаю и подхожу к воде, вхожу в нее по колено, опускаю в нее ладони – прохладная, прозрачная вода. Тень рук скользит по придонному

песку. Мелькают мальки, резво проплывающие между ног. Зачерпываю воду в ладони, сложенные ковшиком. Вода не задерживается в них, стекает между пальцами, утекает назад в море. С чего это я решил, что море сделает меня счастливым, вылечит от этой болезни под названием жизнь? Потому что так все считают – езжай на море и будет тебе счастье! Наслаждайся праздником жизни в виде солнца, неба, волн, песка, греческого вина в стакане, лови блаженство в воздухе, полным йода и озона... Ты там найдешь все, что тебе надо, – то, чего нет у нас здесь, в хмурой, депрессивной России. Так мне говорит девушка примерно тридцати пяти лет, стройная, в бирюзовом купальнике. Сам того не желая, вчера познакомился с ней у барной стойки около взрослого бассейна. Вечером вышел из номера, устав от детских криков, и направился в бар. Не такой уж я любитель выпить, но надо было попробовать и это, чтобы хоть что-то почувствовать, чтобы новые впечатления наложились на воспоминания, и я смог все забыть. Из бассейна поднялась длинноволосая высокая девушка и, вытирая волосы полотенцем, села рядом. Ее звали Ольгой, она заметила, что нас, русских, очень мало в этом сезоне, а английским она не владеет, чтобы легко общаться. Она приехала с сестрой, которая сидит вон там за столиком и не хочет ни с кем знакомиться. Да и она бы не стала, но выпила местного вина, и ей хочется поговорить с новым человеком. Я оглянулся в сторону сестры – действительно, там сидела девушка лет двадцати пяти с веером в руке, отвернувшаяся от нас. Мы мало говорили, я не испытывал никакого любопытства к новым человеческим историям, которые нагрузили бы меня и требовали моего внимания.

На следующий день она снова подошла ко мне на пляже уже как к старому знакомому, держа в руке бокал темно-красного вина.

– Мавродафни, – сказала, показывая вино на просвет, – совсем не просвечивает. Мы открыли его здесь и пьем третий день с шоколадом. Это такая прелесть. Вы грустите? Не надо, все прекрасно. Пойдемте к нам!

Вода вся вытекает из ладоней, и ладони мокрые и пустые. Может, я не туда приехал? Может, надо было ехать в горы, Тибет, например, или вообще на Кубу или в Бразилию? Куда-то еще подальше от мест грустных событий? Ольга протягивает мне бокал, предлагая попробовать. Осторожно отодвигаюсь, и мне кажется, что все происходит как в кино, где я зритель, сидящий в зрительном зале, и все это происходит не со мной, и никак не трогает. Меня не трогают эти яркие горы и море, шикарная растительность, улыбающееся местное население, ночная подсветка зданий, доброжелательность этой женщины. Мне все кажется слиш-

ком ярким, слишком резким, слишком громким. Но я же приехал все забыть! Посмотреть на море, которое, предполагалось, утопит все мои печали, и начать новую жизнь.

Я не сразу могу признаться, что воспоминания преследуют меня, как только я открываю утром глаза. Слева от меня я привык чувствовать ее плечо, ее дыхание, порой легкое похрапывание, ее запах. Потом вспоминаю, как мы начинали ворчать друг на друга, потом ее напряженное молчание и внезапные взрывы ненависти. Она уходила к родителям и потом возвращалась. Пару дней все было спокойно, но потом вдруг ее могло взбесить открытое окно и сквозняк или размазанная зубная паста в раковине... Это напряженное ожидание ее взрывов, такого же напряженного молчания могло длиться долго. И я до сих пор не знаю, что ее держало рядом со мной. Какая-то странная привычка, никого не делавшая счастливым.

Море не оправдало ожиданий, и я уже собирался вернуться, но рассматривая издали Ольгу, как она спускается по лестнице, улыбается, жестикулирует руками, что-то объясняя служащей на ресепшене, показалось на минуту что-то знакомое, что далеко может оживить меня.

Мы подошли к столику, за которым сидела Эльвира, двоюродная сестра Ольги. Они несколько не были похожи друг на друга. Ольга яркая, стройная блондинка, не прячущая свое тело, а ее сестра – невысокая полная брюнетка, с темными волосами, закутанная в эту жару в темную ткань по самые щиколотки. Она сонно смотрела на нас, обмахиваясь веером, лицо блестело в капельках пота. Наконец, на ее лице мелькнула тень улыбки:

– Жарко, – едва выговорила она, как будто извиняясь за свое вялое состояние.

– Но Эльвирочка, ты бы сняла это парео и окунулась в бассейн, если уж на пляже тебе кажется жарко.

– Там не жарче, а там слишком много людей, – пробормотала девушка.

– Она у меня такая скромная, – Ольга с нежностью посмотрела на сестру. – Я не устаю ей говорить, что от жизни надо брать все, тем более ей, такой молодой! Едва уговорила ее приехать сюда.

– Как я вас понимаю, – вдруг я решил поддержать Эльвиру, которая немного ежилась под словами Ольги. – Я тоже ломаю голову, зачем я здесь.

Эльвира с удивлением вскинула на меня свои вдруг оживившиеся карие глаза. Отмечаю ее намечающийся второй подбородок и крестик, свисающий с золотой цепочки на полную, закутанную в ткань грудь.

Ольга направилась к барной стойке, и мы с Эльвирой остались вдвоем. Эльвира осторожно смотрела на меня и спросила, давно ли я здесь. Нет, недавно, но мне уже все надоело, и я собираюсь вернуться на родину.

– Вот и я говорю Оле, что все, что нам надо, это есть везде, в том числе в России. И как раз в России этого больше, чем во всем мире. Просто люди не ценят того, что есть, ищут в других местах, где, как кажется, все лучше.

– И что же это?

Флегматичность с ее лица исчезает, в голосе же появляется какая-то твердость и убежденность. Она порывается что-то еще сказать, но замечает сестру и замолкает.

Подходит Ольга, приносит бутылку того самого вина, которое им нравится вот уже три дня и разливает по бокалам. Ее сестра разворачивает плитку шоколада и, кажется, утрачивает интерес к нашему разговору. Мне, признаться, он тоже большого удовольствия не доставляет, пригубив вино, прошу прощения, говорю, что болит голова, поднимаюсь и ухожу к себе в номер.

Вернувшись в номер, я упал на кровать, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок, где вращался вентилятор, лениво разгоняя воздух. Поймал себя на том, что не нахожу особых отличий этого потолка от потолка в моей конторе, которую внезапно для всех бросил месяц назад. И стены такого же цвета. И если задернуть шторы, то разницы еще меньше. За окном слышны крики детей у бассейна... Я совсем не чувствовал себя здесь как в раю. В детстве я ходил в детский сад, который терпеть не мог, но и рассказать об этом тоже почему-то не мог. Казалось, так все и должно быть, когда кормят отвратительным омлетом, от которого тошнит, когда надо спать два часа и спать при этом совсем не хочется, когда надо переодеваться в костюмчики зайчиков и читать стихи. Я забивался в уголок и играл сам с собой, в машинки, а на прогулке снова всех сторонился и приклеивал с помощью изоленты сухие ветки, выпавшие из метлы, к деревьям – вдруг снова прирастут? Так и сейчас – вдруг новые люди спасут меня? И вдруг почувствовал растущее раздражение от навязчивости Ольги и на себя – и здесь начинаю втягиваться в отношения, от которых устал.

Ночью слышал низко летящие самолеты, которые часто пролетали над отелем. Не мог заснуть и вышел на балкон. Звон цикад заглушал все звуки и слышен был только звук самолета. Глядя на его огни, мне так ярко представилось, как сижу в салоне и лечу куда-то отсюда далеко. Нет, это не то место, где я должен быть сейчас. Но оно, наверняка, где-то есть.

Утром я стал собирать чемодан. На завтрак вышел пораньше, озираясь, опасаясь увидеть девушек. И первой, кого я увидел, была Ольга. Она сразу стала улыбаться, заметив меня. Помахала рукой, подзывая к себе. В моей ответной улыбке, которую она все же вызвала, было больше обреченности, чем вежливости. Тем не менее, я решил, что не буду на прощание никому портить настроение, тем более девушкам, которые были со мной более чем приветливы.

– Рома, мы так рады тебя видеть. Надеюсь, голова перестала болеть. Жаль, что ты вчера так быстро ушел, и я не успела тебе предложить поехать сегодня с нами в монастыри Метеоры. Это была идея Эльвиры. Собственно, только ради этой поездки она согласилась приехать сюда. Но еще и ради тапочек Спиридона Тримифунтского. Мы поедем на пароме до материка. Наверное, еще не поздно заказать экскурсию, наверняка, места остались.

Она вопросительно смотрела на меня. Я отвел глаза.

Ее сестра сегодня выглядела оживленной: темные волосы пригладены и уложены в тяжелой пучок на шее. Длинное белое платье, закрывавшее руки и ноги, белый прозрачный шарф на плечах, казалось, сделали ее похожей на невесту. Она смущенно поправила сестру:

– Все же не тапочки, а башмачки.

– Даже не башмачки, а фрагмент башмачка. У нее есть кусочек материи, которую выдают всем желающим в храме. Но не буду спорить – башмачки, так башмачки. Мы специально ездили в Керкиру, чтобы посмотреть на него. Я вообще не верю, что мощи могут гулять по острову, а ты веришь? Но главное, что Эльвире понравилось. Хотя мы почти не успели толком посмотреть на город, она не хотела уходить от раки. Как села там рядом, так и сидела, наверное, полчаса.

– Я молилась, – тихо ответила сестра. – Там такая благодать, что никуда бы не уходила.

– Он ей снился, – добавила Ольга. – Еще в Москве. Приснился, что отдает ей свой лапоть. – Да, – засмеялась она, – приснился в лаптях. Но это был именно Спиридон Тримифунтский, она уверена.

Сестра немного нахмурилась, но ничего не ответила. Я жевал яичницу и размышлял, как им сказать, что уезжаю.

Ольга рассказывала, как они ходили по местным пляжам, которые не похожи один на другой. Как они однажды спустились по мокрым камням горной тропинки к одному уединенному пляжу и едва не сломали себе шею. Как это трудно все проделывать, пото-

му что Эльвира чувствует себе слабой, у нее болит поясница и плоскостопие, а из-за жары она не хочет выходить из номера. Но ведь мы приехали сюда, чтобы увидеть мир, насладиться красотой и новыми впечатлениями! Она встряхивала своими длинными светлыми волосами, поправляя их, и нежная волна аромата сладких духов окатывала меня. Эльвира же отмалчивалась, сосредоточив свое внимание на галатопите, пироге из манной крупы, посыпанным сахарной пудрой. Верхняя губа ее была обсыпана этой пудрой, и несколько минут я наблюдал, смоемся ли белая пыль после нескольких глотков апельсинового сока.

Можно было бы, конечно, исчезнуть по-английски, я ведь ничего и никому не должен и ничего не обещал. Пример того, как часто не могу просто встать и уйти. Девушки были так милы, что не хотелось их огорчать, а я и так чувствовал, что мое существование никому радости не доставляет.

– Жаль, что я не смогу с вами поехать и должен проститься, я сегодня уезжаю, – наконец, я решился это сказать.

Лежа на диване, я слушаю дальний шум поезда. Этот звук преследует меня с детства и остается тем ощущением, когда не надо никуда идти, бежать – потому что я дома, все хорошо. Это чувство появилось не сразу. Подо мной прогретое июльским солнцем одеяло в пододеяльнике с простенькой деревенской расцветкой. Во рту остался терпкий вкус красной черемухи, вишни, перезревшей малины, красной смородины, крыжовника, аронии и ирги. Все это я только что пробовал, срывая с кустов, растущих на обочине дорожек дачного массива.

Кажется, что не хватает крепкого черного чая, чтобы смыть оскомину с языка. Но мне лень встать и спуститься на первый этаж, включить чайник, помыть заварочный, насыпать туда рассыпчатый чай. Я придумываю себе отговорку, что чая, наверное, нет, а если есть, то он невкусный. Но слышу снизу звуки, как будто кто-то тоже решил заварить чай и гремит крышкой от чайника.

Спускаюсь вниз по желтой крашеной лестнице. На первом этаже прохладно и никого нет. Наливаю воду из большой бутылки в электрочайник и ищу баночку с чаем. Его действительно не могу найти. Зато нахожу растворимый кофе, который неплох, если добавить сахар и молоко. Заглядываю в холодильник, пытаюсь увидеть некую вкусняшку к кофе. Но ничего нет в таком роде, кроме сгущенного молока. Взяв кружку в правую руку, поднимаюсь снова наверх.

Неделю я живу на даче моей бабушки на берегу Камы. Редко сюда приезжал, навещая бабушку. Отталкивала отдаленность от цивилизации, полная скука и пустота этих мест. Не для этого я сбежал когда-то в Москву, чтобы возвращаться назад. Но вернувшись с Корфу в свою московскую съемную квартиру, я почувствовал, что и там не могу находиться. Оказалось, что деньги все же заканчиваются, и никакой Тибет мне не светит. Да и зачем мне ехать в Тибет, собственно говоря, что там искать, чего не было в Греции – снега и бытового дискомфорта? Бабушка, послушав мои рассуждения по телефону, процитировала советского классика: «А мне всегда чего-то не хватает. Зимой – лета, осенью – весны...» Не стал уточнять, что мне не хватало в моей девушке, но бабушкины слова, казалось, что-то задели во мне, казалось, что в них есть какая-то правда.

Блеклая провинциальная жизнь впервые меня не оттолкнула, своей же серостью и пыльной мягкостью оказалась созвучной моему настроению. Не царапала яркостью и громкостью по нервам, и как бы накинула на меня мягкий серенький плед, предлагая сделать вид, что ничего не существует, кроме вот этих маленьких дачных домиков, кустов малины и смородины, приглушенного крика вяхиря за окном.

Большая муха сумела залезть в какую-то щель и жужжала оттуда громко и судорожно. Билась крыльями о поверхности щели и не могла оттуда выбраться. Внезапно замолкала, и тишина в комнате наваливалась мягкой подушкой и почти оглушала. Вдруг становилось слышно, как ветер шумит в ветвях яблони. Он налетал на нее, проходил сквозь листья и летел дальше, не застревая в кроне.

Время от времени поезда проходили мимо нашей горы, на склонах которой располагались дачи. И как только их шум растворялся вдаль, становилось слышно, как ветер немного сотрясает ставни.

Муха успокоилась и больше не взбудораживала воздух своим истеричным жужжанием. Я надеялся, что она сама умерла, не дожидаясь, когда ее прихлопнут насильственно.

Время на даче течет медленно и постоянно хочется спать. И хочется, чтобы кроме шума ветра было бы не слышно ничего. И тогда, мерещится, что-то произошло бы в голове – успокоились бы мысли, растаяли в наступающем вечере, их бы выдул ветер в открытые ставни. Беспокойство, недоумение рассосалось бы на некоторое время в сознании, и наступило бы полное безмолвие. И тогда оно что-то бы дало мне, я что-то бы вспомнил, что необходимо забыть, но что притаилось в закоулках сознания, как муха в

щели, и невидимо конвульсировало, создавая тревожный фон, непонятно отчего исходящий. Хотя отчего ж непонятно, вся эта катастрофа романтической истории конвульсировала во мне, дрыгала крылышками и ножками, пытаюсь пробраться назад в сознание, а я ее тормозил.

В тот день, когда я сбежал с острова, Ольга зафрендилась со мной в социальной сети, увидев во мне странным образом родственную душу. Я не смог ей отказать. Она мне стала писать, присылала фотографии, видео. Я узнал продолжение накачавшейся истории поездки с сестрой на материк, как они ходили к Метеорам, чувствовали свою причастность к высоким духовным энергиям. Как Эльвира там чуть не потерялась, отыскав в скалах заброшенное древнее моленное место, и ее едва нашли. Ольга писала из Греции порой очень поэтично, что действительно мне нравилось: «Утром подплывали на пароме к Корфу. Остров встает из воды, сотканный из света, сизо-голубой, как море, небо и облака. Вся палуба покрыта матрасами, половичками и раскладушками – на них лежат люди. Один старичок спит на ящике с канатами, подложив под голову тощий рюкзак. Много собак. Они выглядят счастливыми – жмурят глаза, нюхают спящих хозяев... Кажется, будто собаки улыбаются...» Ольга чувствовала себя на вершине своей жизни. Одной из вершин. Она была в гармонии с жизнью. Жизнь должна именно так протекать – когда все, что ты хочешь – свершается и происходит. Она хотела хорошую работу, стремилась и получила, хотела путешествовать по миру – и путешествует. Как будто девушка хотела вызвать во мне сожаление, что я уехал. Как же это знакомо, и я этого хотел, этого добивался и добился. И только расставание, личная катастрофа разом все изменили. Я понимал, о чем пишет Ольга, но не сожалел о своем побеге.

Читая ее сообщения, казалось, это про что-то не совсем реальное, происходящее совершенно в другом мире, хотя ведь недавно я был там, и даже песок с пляжа Корфу еще оставался в моих плавках, которые я, наконец, достал, чтобы искупаться в Каме, поддавшись уговорам бабушки. Стабильно холодная вода Камы не вызывала отталкивания. Постепенно я начинал испытывать какое-то удовольствие от холода воды. Я чувствовал холод, и мне становилось лучше от того, что я точно что-то чувствую. Несколько взмахов руками, и я достаточно далеко от берега. Вода темная, дна не видно. Оно где-то может быть очень далеко подо мной. Но вода выталкивает наверх, и так я долго могу держаться на поверхности. Наша кровь, как я читал у какого-то писателя, состоит из той воды, которая питала нас с детства. Камская вода, выходит, в моих жилах и кровеносных сосудах. Звучит эзотерично, но я со-

глашаюсь с этим небесспорным утверждением, оно чем-то отзывается в закоулках мозга. В кустах ракитника на берегу нахожу чье-то оставленное здесь полотенце, рядом – костровище, похожее на мое сердце – холодная зола и черные угли... Поднимаюсь по длинной тропе, проложенной по крутому спуску, представляя, как догорает кусок мяса на вертеле...

Несколько дней Ольга молчала. Я открывал ноутбук, привычно ожидая ее сообщений, но их не было. Даже почувствовал какую-то новую пустоту в душе, когда она перестала писать. Несколько дней прошло в безмолвии, как вдруг от нее пришло письмо с неожиданными новостями. У сестры резко поднялась температура, ей диагностировали какую-то инфекцию. У Ольги так же появились симптомы той же экзотической болезни. Они обе попали в больницу. Через четыре дня болезни Эльвира умерла. Я узнал из письма, что Эльвира была, оказывается, почти монахиней в миру, девственницей, светлым, чистым существом, как ребенок, печально повторяющим, что мир лежит во зле, и только Иисус и рисование картин, таких же наивных и чистых, примиряло ее с этим жестоким миром, как она говорила. В Греции, казалось, она начинала раскрываться жизни, она даже ловила сачком бабочек и цикад и, рассмотрев их под лупой, отпускала. А птицы ее всегда вводили в состояние почти экстаза. Особенно она любила стрижей и чаек, могла смотреть на них часами и мечтательно улыбаться. Любуясь сестрой и ее душевной чистотой, Ольга все же старалась знакомить ее с молодыми людьми, чтобы та могла испытать семейное счастье, – стать прекрасной женой и матерью. Она считала, что сестра слишком молода, чтобы уйти в монастырь, о чем та постоянно твердила. И вот все же она ушла на тот свет непорочной христовой невестой, добавила Ольга. Господь прибирает самых лучших, говорила Эльвира, и, похоже, так оно и есть. Ольге казалось, я смог бы быть ей подходящей парой. Ведь мы были так похожи – оба неразговорчивые, замкнутые, закрытые. Хотя уход сестры не оказался безутешным горем, как выяснилось позже.

Я снова ощутил свой душевный холод, замороженность – какое мне дело до абсолютного чужого человека! Ну, жила какая-то девушка, ну, умерла – и что? Почему я должен что-то чувствовать по этому поводу? Девушки, юноши, дети, старики, зрелые люди умирают ежедневно миллионами на этой планете. И мы ничего не делаем в этой связи. Большинство из нас ничего не делает. Работники морга и похоронного бюро делают...

– Рома, я тут испекла пирог, приходи, поешь, – голос бабушки раздается снизу. Она присматривает за мной, говорит, и не дает умереть с голоду. Утром приезжал отец и привез свежей рыбы,

которую наловил ночью. Запах свежей выпечки поднимается на второй этаж, и я отмечаю, меня это слегка радует. А если бы я тогда остался, что бы случилось, я бы тоже заболел? Может, и мне уже пора умереть? Я не вижу смысла в моей жизни, как не вижу смысла жизни вообще... Но если бы я умер, это бы огорчило отца и бабушку...

Закрываю крышку ноутбука, ставлю его на табуретку и спускаюсь на первый этаж. Присаживаюсь к столу, накрытому подеревенски непритязательно: пирог масляно блестит и благоухает, помидоры и огурцы нарезаны на тарелке. Рядом холодное молоко в кружке, которое бабушка покупает в деревне. Она берет нож и осторожно разрезает пирог. Из него вырывается пар.

– Пирог со щукой и рисом, – объявляет бабушка. Несмотря на свои восемьдесят пять лет продолжает жить летом одна на даче, работать на ней, сама себя обслуживает, а теперь еще и меня, получается. Когда-то была учительницей математики, но с тех пор, как вышла на пенсию, про математику не вспоминает. Впрочем, я даже не могу сказать, про что она любит говорить. Ни про прошлое не рассуждает, как все остальные старушки, ни про будущее, которое для нее может внезапно схлопнуться. Наверное, только про настоящее. Вот он пирог, вот молоко, вот любимый внук – и этого, видимо достаточно. Мои вялые попытки что-то сделать на даче пресекаются. Не надо ничего делать, если не хочется, а если что-то будет нужно, я скажу. Мне нравится что-то еще делать самой, пока я это могу, говорит она.

Осторожно беру в руки кусок мягкого горячего пирога с вываливающейся на тарелку начинкой. Откусываю и чувствую вкус пропаренной щуки, жареного лука, укропа и риса. Самое простое удовольствие, которое еще чувствую. Но не столько сам пирог радует, а атмосфера дома, по которой я соскучился. Я вдруг снова чувствую, что меня кто-то любит просто так, не создавая лишних проблем.

Рядом со мной сидит улыбающийся старик, бабушкин приятель, который иногда к ней заглядывает. Это такой маленький худенький гномик с всегда приветливым личиком, в белой рубашке и светлых брюках. Он чемпион мира по бегу и ему девяносто один год, – сразу сообщила бабушка, знакомя нас. Наверное, бабушка так шутит, думаю я. Сегодня он пришел рассказать, что его соседка по даче умерла. Это вторая смерть за сегодняшний день. Новость для бабушки невеселая, но никто, вроде, не грустит.

– Нина прожила долгую жизнь, много работала, вырастила двух дочерей и одного сына, дождалась внуков. Умерла в свое время. А я вот живу и не знаю, зачем.

– Не важно, что прожила долго и нарожала кучу детей. Не отказываешь ли ты, Анюта, женщинам в каком-то еще другом предназначении, кроме как размножиться и поработать на полную катушку? Даже если бы она не вырастила троих детей и не дождалась внуков, и не работала и умерла бы рано, разве это не допускает того, что она могла прожить замечательную жизнь, – усмехнулся Эдуард Вениаминович.

– Какое же еще другое предназначение, Эдуард? Попрыгать как стрекоза?

– И попрыгать, и порадовать своими танцами и песнями. Да даже не это. Вот растет себе дерево в чаще, кого оно радует? Кому какое дело, размножается оно или нет. И оно, Анюта, совсем не работает. То есть абсолютно! Ни единого дня. И кого это удручает, кто недоволен? Растет себе и растет.

– На даче, которую я лет пятьдесят назад снимал десять лет, росла старая яблоня. Она была вся изнутри пустая, ствол сгнил. Казалось, ее корни подпирали только кору. Зимой хотелось ее спилить, казалось, что она мертва. Но весной каждый раз всегда случалось чудо – она оживала, давала листья и цветы, а осенью – немногочисленные, но вкусные яблоки.

– Это я рассматриваю жизнь яблони в дискурсе ее отношений с человеком. Вроде, была польза. Но если бы она росла в лесу, то ее листья, цветы, плоды были бы никому не нужны. И природа бы много не потеряла, если бы эти яблоки не выросли. Но яблоня просто жила, как она привыкла жить, не столь интенсивно, потихоньку, согласно природным ритмам. Так бы она еще могла жить, возможно, долгие годы. И не нужна была особо никому, но и никому жизнь не портила.

– Но тут дачу продали, пришел новый хозяин и первым делом он срубил яблоню, как будто она ему мешала. Причем, потом он исчез и не появлялся на даче, подозреваю, до сегодняшнего дня.

– Вот так людям кажется, что обязательно надо «приносить пользу, а не «коптить небо». Дескать, бесполезный ты человек, умри. Это дикое отношение к человеку. Откуда ты знаешь, какую он пользу приносит другим? Вдруг, кому-то просто приятно посмотреть на знакомого человека, который просто живет, дышит, любит на синее небо, печет пироги. А если и нет таких любующихся, значит, да, он бесполезный и живет, как яблоня в лесу. Ему все еще просто нравится жить... Но все может быть и иначе, если почитать кое-какие книги, – старичок хитро улыбнулся.

Наша дача стоит в окружении брошенных дач. Справа догнивает крыша домика, хозяин которого умер давно. Крыша провалилась сквозь стены, и под ней бабушка прячет доски, которые

могут пригодиться в хозяйстве. На этом же участке растет яблоня, с которой яблоки особенно вкусные и хранятся всю зиму. Под сенью яблони стоит мангал и железная панцирная кровать, на которой можно спать в особо жаркие дни. Слева от нас соседка умерла год назад, и ее дети не ездят на дачу, которая заросла, там растет крыжовник, из которого бабушка варит варенье с апельсинами. Домик напротив через дорогу давно пустой. Забитые досками окна и дверь покрылись паутиной, крыльцо зияет дырами, а участок надежно охраняет высокий и дремучий бурьян. Яблоней там три, одна из которых дает неплохой урожай мелких, но сладких яблок поздней осенью, и есть желтая слива. Еще рядом есть участок, заросший поповником, большими ромашками. Эти цветы стоят у нас в вазе на комод. По дачам можно бродить, если не попадаться на глаза малочисленным отдаленным соседям, которые приезжают в основном по выходным дням. Они смотрят с подозрением на незнакомых людей, среди которых бывают и такие, кто собирает чужой урожай. Теперь вот еще одна соседка, оказывается, ушла в иной мир, еще одна дача будет пустовать.

– Знаешь, Рома, я никогда не верила, что после смерти что-то будет еще. Пришла старость, пора умирать, а я все равно не верю в загробную жизнь. Ну, не чувствую так. Закрою глаза и представляю, что вот так и будет в могиле – темно, и ничего не видно. Вот Эдик говорит, что все может быть по-другому, интереснее.

– Нам только кажется, Анюта, – говорит старичок, – что жизнь заканчивается со смертью тела. Сознание никуда не исчезает. Люди обычно верят, что сознание находится в теле, но, скорее, наоборот – тело как бы плавает в сознании. И мы не есть тело, но есть сознание.

– Нет, я так не ощущаю, что бы ты ни говорил. Свет выключится – и на этом все закончится, и сознание потухнет. Но я не боюсь. Я уже готова к смерти. Рома получит все, что у меня есть – дачу, библиотеку, хотя книги нынче читать немодно, сбережения, которых немного, имей в виду, внучок.

– Бабуля, ну, что ты опять про это. Ты будешь жить до ста лет, и у тебя есть все основания готовиться жить и дольше.

– Сколько ни живи, а все кажется мало, – бабушка вздохнула и еще разрезала половину пирога на кусочки.

– А что скажет представитель молодежи? Во что ты веришь? – старичок мне подмигивает.

– Эдуард Павлович, я не знаю. Я агностик, наверное. Пока не умрем, так ничего и не будем знать достоверно. А все теории и концепции это всего лишь версии. Но что у жизни нет смысла, так я в это верю, потому что никакого смысла не чувствую. Но не

стану уверенно отрицать, что после смерти могут реализоваться самые дикие и несуразные человеческие фантазии.

– Смысла нет, и как тебе это – расстраивает? – Старичок хитро смотрит на меня.

– Не радуется.

После обеда бабушка с Эдуардом Павловичем идут на прогулку из соображений здоровья, а я снова заваливаюсь на диван и открываю ноут.

Интернет здесь слабый, вечером очень трудно его уловить, а после десяти отрубается напрочь. Днем пытаюсь скачивать с торрентов фильмы, чтобы ночью их смотреть. Скачиваю почти все подряд, чтобы просто забыться и ни о чем не думать. Сообщения приходят только от Ольги, которая снова стала писать после недели скорбного молчания. Она выздоровела и, как утверждает, оказалась совсем одна в этом мире. Сестра была единственной, с кем она была близка. Хотя я недоумеваю – как можно быть близкими, если настолько разные. Или это работает только с родственниками – терпеливо принимать все, как есть, не рассчитывая на сокровенное взаимопонимание. Родственные связи это все равно как роковая данность, а не твой выбор действительно близкого по духу человека. Я читаю Ольгины письма в замешательстве, не понимая толком, зачем переписываюсь с ней, наверное, только из чувства такта, я чтобы ее не обидеть, к тому же трудно прекратить переписку с человеком, если ему тяжело, он одинок и ему не с кем даже поговорить. И мне порой все еще тяжело, особенно, когда посыпаюсь по ночам, ощущая тревогу. Хотя благодаря знакомству с ней мое расставание с девушкой начинает казаться уже точно чем-то не смертельным, это точно можно пережить, а вот смерть близкого человека... От меня не требуется флиртовать, писать комплименты и вообще заинтересовывать, поэтому я отвечаю просто и немногословно. Кажется, она намекает, что не против приехать ко мне. При этой мысли я начинаю нервно ворочаться на подушке. Меня это пугает, я отвечаю, что нет, нет, это невозможно. Может быть, потом...

Свою неспособность иметь долгие счастливые отношения с любимым человеком, я считал свуй глубинной дефективностью. Может быть, причиной всему была детская травма неполной семьи. Я ходил к психологу, и мы долго обсуждали, что к чему, но, в общем, это не привело ни к каким кардинальным изменениям. Я пытался понять себя, свои желания, реализовывать их, жить, как хочется... И раз за разом скатывался в ощущение своей неспособности быть счастливым и уж тем более сделать счастливым другого человека. Да и не знаю, надо ли обязательно

им быть, кажется, я уже привык быть никаким. Можно ли с помощью психологии что-то объяснить наверняка – сомневаюсь. Пока я говорил с ним, верилось, что начинаю кое-что понимать, но через пару дней становилось ясно, что ошибаюсь, и ничего не изменилось.

Вернувшиеся бабушка с Эдуардом Петровичем застали меня около буфета, доедающим пирог. Дед засмеялся. Бабушка прервала этот смех укором:

– Эдик, ну, не надо смеяться над человеком! У него трагедия – его бросила девушка. Дай ребенку успокоиться.

Эдуард вытаращил глаза и трагически сказал:

– Одна бросившая девушка равна десяти лишним килограммам, две – двадцати и так далее. После сорока лет каждая девушка уже придает двадцать лишних килограммов...

– Эдуард Павлович, вы преувеличиваете.

Я посмотрел на себя в зеркало, висевшее тут же на дверях шкафа – вроде, все еще стройный молодой человек. Не такой, конечно, как Ольга, но вполне так ничего в рамках представлений о мужчине тридцати лет. Впрочем, мне было все равно. А вкусная еда действительно приносила некоторое успокоение в виде еще большего приятного притупления чувств. Я улыбнулся, такое ощущение мне нравилось.

– Эдуард Петрович, судя по всему, вас никогда девушки не бросали. Ни одного лишнего грамма, даже, вроде как не хватает. Может, вы их бросали?

Дед снова заулыбался:

– У меня умерла жена, которую я любил тридцать лет. Да и сейчас люблю. Но я тогда избрал другой путь забыться. Кстати, благодаря этому и стал чемпионом мира.

– Кстати, все хотел спросить, это шутка?

– Какая шутка, – возмутилась бабушка, – он действительно чемпион мира по бегу, и стал им в девяносто лет! Если не веришь, почитай о нем в своем интернете. Или сходи в гости, посмотри на его награды.

– Это уже сейчас неважно, Анюта, важно другое. Я смотрю на Рому и вижу себя в молодости, тоже вечно переживающего, что все идет не так, как должно быть, что меня должны любить те, кого люблю я. Я не ясновидец, но могу предсказать ваше будущее. Пройдет определенное количество лет, и вы умрете. Я тоже. То, что вы испытываете за эти годы, до конца не устроит вас. Всегда чего-нибудь будет не хватать. Единственное, что принесет полноту жизни, – это бытие самим собой. А это неотделимо от «сейчас», от пространства сейчас. Позвольте ему освободить вас от мира.

Остаток жизни вы проживете, гуляя по планете с меньшей тяжестью на плечах, вместо того, чтобы стоически тащить свой воз проблем.

– Ну, вот, Эдик, ты снова со своей эзотерикой, – бабушка пододвинула мне остатки пирога, – а ты кушай, малыш. Хотя ты, Эдик, все же прав. Кажется, воз проблем, который я волокла всю жизнь, стал легче и становится все легче и легче. Но я связываю это со своим возрастом. В определенном возрасте прошлое забывается, потому что провалы в памяти все глубже, друзья мои, а будущее не тревожит, потому что оно скоро, очень скоро закончится и с этим надо смириться. Главное, чтобы ничего не болело и тебе, Эдик, спасибо. За пять лет знакомства с тобой, я стала немного спортивнее, давление нормализовалось.

– Что губит пенсионеров? Машины и жирная еда – провозгласил Эдуард Петрович. – Пешком надо ходить побольше, а не на диванах валяться, да пироги печь. Шучу, Анюта, пирог просто великолепен, и мы его с Ромой оценили по достоинству. Но есть каждый день такой, я бы не посоветовал.

Бабушка, действительно, сбросила вес до нормального и отличалась от своих сверстниц подвижностью и отсутствием стонов. Она даже стала заниматься йогой! По утрам, расстелив коврик на полу, садилась в позу лотоса и проделывала разные движения руками, громко дышала. Один раз я испугался, увидев ее в особо закрученной позе. Я бы так не смог.

Есть две истории. Первая, когда ты себе говоришь: ну и что, вот ты и докатился до такой жизни – нет ничего, ни дома, ни семьи, ни доходов. И вторая: кругом бездуховные люди, у них машины, деньги, но я-то духовный и мне ничего этого не надо! Я выше этих людей, мне это не нужно.

Кажется, Эдуард Петрович просочился в наш дом незаметно, но убедительно. Он мне рассказывал вот эту вторую историю. Он говорил:

– Рома, все люди находятся в вечном состоянии неудовлетворенности, они постоянно страдают, так как им все время кажется, что им чего-то не хватает. Разве это не так? Они думают, что должны быть такими, а не этакими, что должны жить здесь, а не там, должны иметь это, а не то, и именно это убеждение заставляет всех страдать. И ты такой же, Рома, ты не выше и не ниже всех этих людей, а просто такой же. И я такой же, скажу по секрету. Нет людей духовных или бездуховных, все люди бездуховные. А то, что они якобы духовные, так это такой у них внутри образ

самих себя. Но однажды они, если будут искренни и чутки к самим себе, себя спросят: а что, мне действительно ничего не надо? Мне надо, чтобы было тихо и спокойно, чтобы меня любили, и, дескать, нужна мне только любовь. И это желание становится снова тем витком страданий, на которые себя обрекает человек. Меня не любят, – говорит человек, – так давай сам люби других! Но я же хочу, чтобы и меня любили. Но ты же такой плохой, как тебя любить? Становись лучше, тренируйся, становись стройнее и красивее, молись, и тогда, может быть... Это все сон, поверь мне. Как вот ты видишь сон, страдаешь, думаешь во сне, как бы все там исправить, потом просыпаешься, и сон быстро и бесследно растворяется. Так и люди живут в своих мечтах, фантазиях, страданиях, как во сне.

Я не совсем понимал, к чему он клонит. Что же хотел Эдуард Петрович? Он явно хотел приходиться к нам, общаться и лакомиться бабушкиными пирогами. Сильно бы он опечалился, если бы всего этого вдруг не стало? Внезапно я понял, что за всеми этими размышлениями я совсем забыл о своей девушке, оставшейся где-то очень далеко, дальше, чем Греция. Я почти не помнил ее внешность, кроме смутных волн волос и длинных ног. Я не помнил выражение ее лица и не хотел вспоминать. Оказывается, можно жить и без любви. Но существование без любви мне нравилось. Достаточно того, что нет страданий из-за ее отсутствия. Не слишком ли быстро я излечился от страданий Вертера? Без них стало еще более пусто, если так можно выразиться, и непонятно, зачем я вообще живу. И казалось порой, что вот эти страдания как раз и составляют соль жизни, без которой все кажется пресным и безвкусным. Все страдают – и что? От этого человеческий род не вывелся, он существует, и его двигатель, возможно, и есть эти самые страдания от несовершенства жизни. И чтобы как-то скрасить свое существование, люди придумали электричество, машины, торговые центры, велосипеды, роддома, золотые цепочки, удобные дома с кондиционерами, приручили собак, чтобы те помогали им не скучать... Иначе бы сидели бы мои предки на ветках, ели бананы и даже не думали бы слезать на землю. Что там делать, и так все хорошо!

– Вынужденно, – говорит Эдуард Петрович, – вынуждено они слезли с деревьев, так как бананы закончились, похолодание, изменение климата, и надо было как-то выживать.

– Но они страдали, и эти страдания подвигли их на то, чтобы выживать!

– Они не страдали, они просто были голодны. Вот я прихожу к вам в гости не потому, что хочу приходиться, а потому, что нра-

вится есть пироги больше, чем сидеть дома одному без пирогов, – засмеялся он.

Смутные страдания возникали, когда я начинал думать про то, что у меня нет работы и денег. Мне не хотелось об этом думать, я решил, что пока все оставлю, как есть. Бабушка кормит меня, отец не намекает, что пора бы и делом заняться, а семьи, которую было бы необходимо обеспечивать, у меня нет. Тут я тоже ловил себя на каких-то обязанностях, которые вынужденно взвалил на свои плечи – обеспечивать семью, которой у меня нет, но это имеется в виду. Сколько еще таких самообязательств скрывается в моей голове?

В воскресенье бабушка объявила, что мы все идем гулять на Старцеву гору. Об этой горе я знал немного. В основном то, что там когда-то в незапамятные времена селились пещерах отшельники, которых и называли старцами. Но не сохранилось ни пещер, ни имен этих старцев и все поросло травой забвения, кроме названия горы.

Утром мы дошли пешком до деревни Яромаска. Прошли мимо домов к Каме. Спустились по заросшему высокой травой берегу вниз. Здесь был пляж, на который часто ездили городские. Здесь течением намывало всегда чистый песок. Мы решили немного по-сидеть здесь перед тем, как подняться на гору.

Группа энергичных девушек и парней прыгала под громкую музыку перед человеком, который показывал фитнес-упражнения. Что-то типа аэробики. Это не мое, я никогда не чувствовал себя частью группы, к тому же хотелось тишины. То же самое можно было сказать и про группу монахов, притаившихся в монастыре на берегу. Иногда оттуда можно было увидеть, как кто-то из них идет на остановку, чтобы поехать в город по своим делам. Всегда было непонятно, почему они куда-то едут, хотя, казалось бы, решили уединиться и стать отшельниками в стенах монастыря. Или все это желание уединиться оказалось иллюзией, и никакие стены не могут отделить человека от мира.

Рядом парочка под эту же музыку плясала на песке, поодаль бегал ребенок. Любовь, беззаботность, молодость... Я был бы не прочь станцевать один, но не вдвоем. Никого рядом с собой я не видел.

Другая парочка тащила лодку из воды. Он шел посередине, а она поддерживала лодку сзади, сохраняя равновесие конструкции. Спокойно и деловито строят свою жизнь, сотрудники и товарищи. Но у меня нет семьи. И будет ли когда-нибудь?

Двое мужчин как-то немного неровно подошли к воде, разговаривая, долго стояли и смотрели на нее. В руках у одного –

банка с пивом. У них несколько усталый, расслабленный не здоровому вид. Слегка скрюченные, – видно, что спорт им далек, и только алкоголь как-то дает им понять, что надо расслабиться и подойти к воде, правда, туда не запрыгивая. Похоже, они вышли из машины и решили слегка размяться на берегу. Почему-то я всегда был равнодушен к веществам. Алкоголь редко и только в компании, да и никакой радости он мне не доставлял. Не говоря о прочих «радостях бытия».

В воде, кстати, несмотря на холод, бродило несколько человек. Двое маленьких детей, что неудивительно, они не чувствуют холода. Они – еще сама природа, слиты с ней, одно целое. Они мне показались очень близкими, но я уже не чувствую той наивности и доверия к миру, как они. Рядом стояла мать одного из них. Ей тоже было не холодно благодаря ее полноте. Еще был человек в гидрокостюме, пытающийся плавать на доске. Гидрокостюм! У меня нет приспособлений, которые позволяли бы мне одновременно и отгородиться от стихии, и быть в ней.

Мужчина, одинокий и грузный, лежал в кустах. Долго лежал, не вставая, слегка, правда, шевелясь. Непонятно было, – загорает, отдыхает или поддат. Может, и то, и другое. Вспомнились слова из манифеста дадаистов «Противодействуя действию бездействием». Неплохо. Но я так долго не могу. То, что я уже пару месяцев жил на даче, ничего не делая, начинало меня тяготить.

Я чувствовал свою чуждость всем, кого я видел.

Наконец, я сосредоточился на тинейджере лет пятнадцати. В нем ничего не отталкивало и не вызывало вопросов. Он, худой, с кудрявыми темными волосами, невысокий и в ярких пляжных шортах, бродил по колено в воде. То что-то поднимал из нее и швырял далеко от берега, то выходил из нее и, разговаривая с товарищем, снова возвращался. От него исходило ощущение здоровья, гибкости, возраста, когда одной ногой – в детстве, другой – во взрослости. Он весь был погружен в стихию воды, песка, воздуха, сливаясь с ними, но уже и активно с ними взаимодействуя. Он был и рядом с товарищем, и отдельно от него, с ним не сливаясь, сам по себе. Да, подумал я, вот так и я хочу... Хотя, конечно, старше его в два раза и жизнь успела меня немного потрепать. И он это совсем не я.

Кто это «я»? После этого вопроса возникала пустота, в которой не всплывало ни одного определения, ни одного слова. И ничего другого не было, кроме этой паузы среди бесконечных блуждающих мыслей.

Утром просыпаешься порой с воспоминанием сна, и что-то там я делал такое, что было проблематичным, и я думал, как бы это

так... И проснулся. Пару минут осознаешь, что проснулся и что больше думать не надо, и оказывается, проблем-то тех, из сна, нет!

И некоторое время проблем из реальностей тоже нет, не помню, на чем надо сосредоточиться и крепко задуматься. Никаких проблем нет минут пять, потому что все вчерашние мысли и чувства не помню, а значит, это не проблемы. Да и себя не помню, кто я такой...

И постепенно вспоминаю, и кто я, и какие у меня проблемы... Все на месте, можно дальше мыслить и страдать.

Но можно период беспроблемья растянуть и еще не помнить о них несколько минут, и еще несколько...

– Какой ты Рома задумчивый, – сказала бабушка, поглядывая на меня. Она сама, закрытая солнцезащитными очками, казалась непроницаемой. – Иногда я думаю, что ты похож на мать, иногда – на отца, а иногда – на меня. Но я же тебя не знаю, хотя и люблю.

– Ты знаешь его, Аня, – ответил Эдуард Петрович, вернувшись из воды. Единственный из нас, кто окунулся, казалось, совершенно не чувствовал ни холода воды, ни ветра. – Как и все мы знаем, кто мы есть.

– Кто же мы? – удивилась бабушка.

– Вы сами все увидите, – загадочно ответил старик. – А теперь я требую, чтобы вы немного освежились. Вода совсем не холодная.

На воды Эгейского моря вода точно не была похожа. И она была холодной. Но первое же погружение в нее как будто сняло эту заколдованность, и вдруг река стала родной и даже теплой. Я почувствовал ее в своих жилах, как будто омывающую меня изнутри. Она заполнила меня до макушки водой и вытолкнула все мысли из головы.

Старик, кстати, больше всех из нас не был похож на старика. Он, надев шорты, худи и кроссовки, сзади был похож больше на мальчика-подростка, чем на пожилого человека. Только седина могла указать на его реальный возраст. Он бодро шагал с рюкзаком вперед и вверх по каменистым тропинкам горы. Мы с бабушкой, тяжело дыша, едва поспевали за ним.

На самом верху Старцевой горы гулял ветер. Знаменитые пещеры не были заметны, если не знаешь, где они находятся. Бабушка в детстве запрещала мне гулять по горе, опасаясь того, что я могу заблудиться. Она рассказывала историю про одного человека, который заблудился, и никто никогда бы не узнал этого, если бы через много лет его все же не обнаружили. Я в детстве себе это представлял так:

Был один человек, который очень любил путешествовать. Он всегда искал новые места для своих приключений и оказался на Старцевой горе, где много пещер. Сначала он исследовал все доступные ему пещеры, забираясь все глубже и глубже. Собирал красивые камни и изучал растения внутри пещер.

Однажды увидел, что в стене пещеры была небольшая щель и ход в глубину. Он решил проверить, что находится и зашел в щель. Долго шел по узкому коридору и в сгущенной темноте видел только свет фонарика. Когда фонарик разрядился, попытался вернуться к входу, но не смог найти свой путь обратно. Наступил вечер, и свет снаружи стал быстро угасать, последние фотоны, которые могли проникнуть в пещеру, угасли, и он совершенно перестал понимать, куда идти.

Он начал паниковать и почувствовал, что у него заканчивается кислород. Стал кричать и даже молиться, хотя не верил в бога, чтобы кто-то услышал его крик о помощи. Но никто не услышал этих криков. Человек решил, что его время пришло, и начал медленно умирать, почувствовав, как сознание покидает ослабевшее тело.

Через некоторое время группа детей обнаружила тело путешественника в пещере. Они были поражены, увидев, что тело было полностью обезвожено и высохшее. В испуге кинулись домой, и рассказали родителям о страшной находке. Взрослые поняли, что человек скончался от голода и обезвоживания, ведь не было никакой надежды, что его найдут. Он так и остался безымянным человеком, потерявшимся в пещере.

К сожалению, путешественник не вернулся домой. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы узнать, что скрывается за маленькой щелью в стене пещеры на горе. Ему не удалось поделиться своими впечатлениями и находками со всем остальным миром. Эта история стала легендой, и теперь пещера, где он умер, заколочена, чтобы никто не смог повторить что-то подобное.

Вот так героически мне виделся этот случай. Но бабушка не помнила, что такое мне рассказывала. Но подтвердила, что одна пещера действительно заколочена, чтобы туда не лезли любопытные.

Прошло пять лет с той памятной прогулки по Старцевой горе. История повторилась. Наш спутник Эдуард пропал в тот день. Как будто услышав голоса старцев, прятавшихся когда-то в подземных ходах, он ушел вслед за ними. Бабушка рассказывала следователю, что он исчез буквально в одну минуту. Они шли и разговаривали о вещах несущественных. После минуты молчания, она оглянулась и никого не увидела. Ее внук, то есть я, шел

впереди. Поиски старика ни к чему не привели, он как воздухе растворился.

А еще через неделю ко мне приехала Ольга. Получилось очень сумбурно, и так же внезапно мы поженились и родили двоих детей. В Грецию с тех пор мы никогда не ездили, хотя именно там все началось. Да, Эдуард Вениаминович, смысла в этом во всем, что с нами происходит, нет, но жизнь все равно чудесна, и стоит досмотреть ее до конца.

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

ЕЛЕНА КАРЕВА

К портрету

То У.К.

Я на тебя как стрекоза
смотрю, фрагменты собирая:
слова, слова, слова, глаза...
мозаика ещё сырая,

полупрозрачная, как мёд,
и золотые искры живы
во глубине, но сомкнут рот
в ответ на все мои порывы.

Сонет

Я мучаюсь. Так сомкнуты у роз
холодным утром лепестки в бутонах.
И если солнца нет — какой с них спрос?
Как солнцем стать, спалить все листья в кронах?

Чем тронуть этот сомкнутый бутон,
чтоб только для меня раскрылся он?

Как мне уста твои в словах
хотя бы, словно в зеркале холодном,
запечатлеть? — они, как будто в снах,
мне не даются. И в своих бесплодных

усилиях я мучаюсь без сна.
Не солнце, может? Может быть, Луна?

А ты молчишь, и тёмн мир, и пуст.
Я мучаюсь, твоих желая уст...

Такой недосыгаемый во мгле
ещё прозрачной сырости вечерней,
рассыпаны нарциссы по земле,
и фонари средь обнажённых терний,

которые слоистая листва
не спутала ещё вуалью клейкой,
пока за ней сквозящая едва
звезда всходила над пустой скамейкой.

Вздыхаю: о, скажи хоть слово!
Оно, покорное перу,
в душе уже давно готово,
и жжёт. И, кажется, умру:

сгорит — сгорю, и пепел хладный
как лунный луч, падёт на снег
воспоминанием нескладной
души, потерянной навек.

Цвета меняет небосвод.
Меняет цвет вода.
Но губ твоих холодный мёд
такой же, как всегда.

Холодный, сделанный из роз
и лунных бликов, плюс
следы полночных горьких рос.
Неведомый на вкус.

Порхают неловленные поцелуи:
коснутся строки, и взлетают в испуге,
и снова их нежат прозрачные струи,
покачивая орбитальные дуги.

И снова они пребывают в круженье,
и вечно ответное слов трепетанье,
и сердца триумф, и ума поражение,
и тщетное умалишённых восстанье.

Две дольки розовых щербета —
из лепестков персидских роз.
Ах, лето... золотое лето.
Навечно. Намертво. Всерьёз.

Мгновения, как метеоры,
сверкнув, скрываются из глаз.
Волшебнo озарив просторы,
в бокалы падают. За нас!

Сонет

Вот блики в розовом вине;
серебряные с ними пятна
луны мерцают наравне;
но что с того нам — непонятно;

как запотевшее стекло —
зеркал? Бокала? Быстротечно
ненужное. Оно прошло,
и нам осталось то, что вечно:

танцующий на углях жар,
и кожи бисерный муар —
метафоры, чем сердце живо

в своей меняющейся мгле,
и неизменно на земле,
нагой и зыбкой в час отлива.

Серебряный месяц в чернильной воде
полночная рябь повторит многократно.
Никак не забыть, не увидеть нигде
такого: ни «время, вперёд», ни «обратно».

А блики как кудри рассыпаны там,
где я не могу их коснуться рукою,
но я серебра своего не отдам,
гори всё огнём за чернильной рекою.

Как локоны твои вились,
где гиацинтов для сравнения
Бог не послал; бледнела высь —
теряла цвет от вожделенья,

и пеплом покрывалась синь,
и золото над ней смеялось:
померкни, наконец, остынь!
И веселее разгоралось.

И лепестки прекрасных лилий
в ночных запутались кудрях,
и бесконечный танец линий
берусь на свой привычный страх

запечатлеть пером несмелым,
серебряным и золотым,
и будет этот образ белым
на фоне синем, словно дым.

И золотые облака
качая в сумрачном канале,
запомятая на века
луну в слабеющем накале,

мечтала невская вода
об этом образе бессонном,
что поселился навсегда
в моём отчаянье бездонном.

В каналах зыблется вода,
в которой плещется звезда,
во мраке кровь течёт по жилам.
Идут по набережным стылым,

идут, стирая сапоги
железные, мои надежды.
Горит фонарь. Вокруг ни зги,
лишь лун сияющие вежды.

Сонет

Перо выводит завиток,
кудрявый, как волна морская,
неповторимый, как цветок,
бумагу бледную лаская,

и в росчерках и в завитках
за грань сознания задвигая
лист за листом, и тем в веках
даруется им жизнь другая:

когда-то просиявший свет,
безместных поцелуев след,
всё наполнение архива,

которое лишь тем и живо,
беречь, что ум не сохранил.
И высохшую кровь чернил.

С бокалом красного вина,
и в нём луною золотою —
она колеблется, пьяна,
меж бледным небом и тобою —

ах, легкомыслие светил...
твоя улыбка неземная...
как ты вставал и уходил,
салфетку белую сминая.

Эти — белые? — плечи,
эти белые руки...
Отгорели, как свечи,
все каштаны в округе,

гаснут рододендроны —
стихло красное пламя.
Легкокрылые дроны
пролетают полями,

отражаясь в металле,
и гудят, как стрекозы...
...Руки вам целовали
розы, белые розы...

Я люблю эти тонкие пальцы
больше рифм и волшебных созвучий.
Ах вы, бедные мысли-скитальцы,
ваше солнце укрылось за тучей,

за дождём, за туманом далёким,
за холодной этой луною,
что, пленившись моим синеоким
счастьем, светит, смеясь надо мною.

Несовпадением томясь
картины внутренней и внешней,
смотрю, как золотая вязь
рисует облик твой нездешний

куда достанет — на стене,
в воображенье бесполезном,
и множит. Нет ни шанса мне
затмить их образом словесным.

Луна, что в чашке плавает лимоном,
душа, что отвернулась вдруг со стоном:
что, вечно ей искать среди этих топей
источник отражений и подобий,

который ускользает неизменно?
Хотя судьба бывает переменна,
как ветер — то в корму, а где-то с носа,
и вот же он — источник переноса

подводных чувств, подчас невыносимых,
в строку с луной, царящих в наших зимах,
и бьёт всё это, бьёт, строку качая...
Дрожит луна и ложка в чашке чая.

Луна проливала жасминовый чай,
рассеянно с неба взирая
на то, как перо, повернув невзначай,
достигло преддверия рая,

и дале, пытаясь проникнуть в свой рай,
вспугнуло какую-то стаю,
и птицы, крылом задевая за край,
кружились, во тьме пропадая.

Апельсины-лимоны. Здесь лиственниц хвоя — лимон —
золотая. А мхи голубые в преддверье зимы,
и луна золотая блестит, и под крики ворон
проливает свой свет в закоулки туманные тьмы.

Апельсины-лимоны. У вас там она — апельсин,
и лиловый гуляет в проекции кроны фазан;
сколько лет он гуляет, Гольфстримом овеванных зим,
где луна на воде оставляет небесный свой сан.

Апельсины-лимоны. Уж год обращается в ноль.
Апельсином-лимоном сияющим в вихре зимы.
То ли чаю испей, то ли яблоко в руку возьми,
но, конечно, китайское. В руку, прекрасную столь.

В саду, где лепестки как снег,
твоим перстам подобны,
и ветви, пригоршнями нег
отягощённые, так томны

(я умираю от тоски)
их золотистые закаты...
(и слышу, обхватив виски,
последних первых гроз раскаты).

В ветвях блуждающий закат,
что позолоту полосами
наносит на примолкший сад,
омытый быстрыми слезами

апреля, и играет в нём,
как в море золотая рыбка,
горя блуждающим огнём,
прозрачным, как твоя улыбка.

И золотой улыбки тень,
и апельсиновый закат
текучий осеняет день,
и вот уж фонари горят,

и будто лунная пыльца
летит в цветущие стога.
И отражения лица.
Нарциссовые берега.

Сияющая отражённым светом,
сдаётся солнцу в плен луна;
и так же я на свете этом
предвечным солнцем пленена.

Сияя светом отражённым,
в крошечной тьме, как светляки
пленённые светилом оным,
летят к нему мои стихи.

Золотые и огненные листы.
И на каждом из них — лишь ты.
На сырой земле, как мой бедный слог,
все они у твоих ног.

Золотые и огненные слова,
словно звёзды — небесные острова:
отражения — Вечности — глаз твоих
возвращает мой бедный стих.

И они летят, и горят в стекле,
в золотой и огненной этой мгле,
и за годом год не дают уснуть,
устилают тебе путь.

Ты водишься среди нарциссов,
ты самый редкий в мире зверь.
Ты осторожней хитрых лисов,
ты чутче кроликов. Поверь,

я знаю, что держать в неволе
такого — бесполезный труд,
а ты не знаешь, сколько боли,
как вытерпеть, хоть пять минут...

Какое время на часах?
Моих — твоё, твоих — ночное;
прозрачный циферблат в звездах,
и управление ручное.

И я живу здесь по твоим,
непостижимым мне законам
чередования лет и зим,
совсем иным, не законным.

При свете мартовской метели,
холодных белых светляков
кружащей, смутно бродит в теле
вино неписанных стихов.

Свет криво падает и зыбко,
но оживляет серебро,
и в нём далёкая улыбка,
дыханье, шёпот: за перо...

К портрету в Сапсане

Картин авангарда на тёмном стекле
откроется выставка передвижная:
какая-то вывеска, профиль во мгле
мелькнут, ускоряясь; вот сценка смешная,

вот ели кривые текут, как река;
кувшинка — звезда августовского Нила...
зерцало на миг, а строка на века
серебряный локон в себе отразила.

Сквозь тернии, метель и льды,
не замечая этих терний,
поток серебряной руды
струится с неба в час вечерний,

не заполняя пустоты
вселенной Данаид бездонной,
но вспыхивая там, где ты,
горячей искрою, влюблённой.

Дно вечности звездами заросло,
и оттого она теряет ход,
и ищет дно алмазное весло,
но нет его, но нет который год,

который век, который мёртвый час;
но и страниц давно не перечсть
в журнале, как на борт влюблённых нас
она берёт, таких, какие есть.

О, как бы я, мой друг, желала
любить тебя совсем без слов,
не сравнивая уст и лала —
и так равняет их любовь, -

а только уходя в глубины,
где сердце дышит, как рубин,
и сизокрыло-голубиный
твой взгляд, иходишь ты один.

Вот ты идёшь среди камелий,
под ноги падающих ниц
из рук помешанных офелий,
сошедших со своих страниц,

и в чёрных зеркалах империй
за удвоеньем лебедей
следишь участником мистерий,
сокрытых в сердце от людей.

По этой лестнице из терний,
к холодным, как цветы, звездам,
любовь восходит в час вечерний,
светя далёким городам,

и голубым, туманным весям.
А мы звезду в ладони взвесим,
и скажем: как она легка...
как белая твоя рука.

Во сне я целовала руки
твои, прекрасные, как сон,
как избавление от муки.
Пусть триста лет продлится он!

Всё остальное там туманно —
в тумане мир исчез пустом.
Но сон рассеялся неожиданно,
а я всё думаю о том.

О чём ты думаешь, когда
усталость гасит мониторы,
и терпеливая звезда
смущённые отводит взоры;

и как берёт твоя рука,
в рассветном сумраке белея
как кисть прекрасного цветка,
как предрассветная лилея,

за ручку чашку или так,
сожмёт задумчивым объятьем...
... и подаёт неясный знак
Луна, прикрыта рваным платьем.

Дачный портрет с чашкой чаю

И в чашке плавает лимон,
а солнце — в чаше бирюзовой,
и я как будто вижу сон,
один и тот же, вечно новый.

И скоро, может быть, луне
придётся плавать в нём лимонно —
всё это безразлично мне;
я на тебя смотрю влюблено.

И будто на волнах цветов —
так сон качает пробуждение,
и этот переменный ток
символизирует рождение

незамутнённой мысли в мир.
Блажен, кому ориентир
в тумане боги дали сонном.

И будто я нашла — сама? —
в тебе загадку для ума,
что в сердце прячется пронзённом.

И так мне мучиться бесцельно,
и так мне умирать неволью,
поскольку счастье беспредельно,
но очень больно, слишком больно.

Цыганский романс

Стою с протянутой рукою:
подай мне слово от щедрот!..
Не дашь? Ужели я не стою —
так строго сомкнут этот рот...

Подай от сердца золотого
Через медовые уста!..
Выпрашиваю, снова, снова —
моя ладонь всегда пуста.

Позолоти, прекрасный, руку —
всего-то сердца твоего —
унять мою тоску и муку —
мне нужно. Больше ничего.

Любовь моя, ты смерть моя,
но лучше от тебя, чем просто,
причину от себя тая,
жить, словно мёртвая короста.

Что б ни скрывала там кора,
и в том числе от Аполлона,
любовь и смерть — одна пора;
всё остальное незаконно.

Дорога пустая.
А в зеркале розовый чад.
Но хмарь золотая —
фонари, как звёзды, горят.

Дорога млечная.
Разве по ней успеть?
Ты жизнь моя вечная,
или вечная смерть?

Но вечная, знаю.
Смотрю, и не вижу дна,
но, в зеркале тая,
вечность ясно видна.

Venezia Interiore

Моя Венеция — глаза
твои: прозрачные каналы,
в которых тает бирюза...
Прилежно заношу в анналы:

Anno Domini — две с хвостом:
зелёным льдом покрылись воды...
Откуда лёд? — и я о том,
молю: о, Боже, дай погоды!

И, верно, изменилась навсегда
душа. Она искала перемены.
И наконец-то сжалилась звезда.
Дала ей луч. И сердце ищет вены.

Полусухое и как будто с дымом...
Вечерний кофе. Свечи и рояль.
Я думаю, конечно, о любимом,
в заснеженную вглядываясь даль.

Причём рояль? Да вспомнилась настройка.
Высоких нот сухой и ломкий звук,
и ропот низких, и звучащий бойко
игристый ток из-под умелых рук.

О ты, творец моей вселенной,
изъявший в основании покой,
о, помоги музыке этой пленной
своею всемогущею рукой...

Как взгляд твоих прекрасен глаз,
в ночное небо устремлённый,
как будто прозревает глас,
в тумане мгlistом растворённый.

Как ты жестоко отстранён,
прекрасный, как смертельно чуток —
я этот бесконечный сон
смотрю в любое время суток,

и тщетно напрягаю слух:
хоть слово! Ты немногословен,
и, ко всему иному глух,
внимаешь небу, как Бетховен.

Твой слог и есть твоё сложенье —
ежесекундный срез, итог,
незамутнённое движение
души, прекраснейший цветок.

Мой выражает погружение
в исток глубоководных строк,
и результат сего скольженья —
у ног твоих из них венки.

Одно и то же столь различно,
но сопринородно в глубине —
без солнца не сиять луне,

не отражаться ей привычно
в урочный час на водной глади.
И весь мой мир в твоём лишь взгляде.

Угадывать твои желанья —
единственный и скользкий путь,
ведь ты карающе дланью
с него, как комара, стряхнуть

а, может, и прихлопнуть волен...
да и лететь во мраке штолен,
и биться, снова вверх ползти...
...иного нет у нас пути.

Сонет

Люблю глаза твои, мой друг,
хоть это не любовь, быть может:
жестоко жажда душу гложет,
и жизнь у смерти рвёт из рук

последние, быть может, крохи —
и это не стихи и вздохи —
в попытке вырваться за круг,

туда, где мой насущный хлеб —
твоих прозрачных глаз сиянье.
Всё остальное мирозданье
я оставляю тем, кто слеп;

и все сплетения словес,
как отражение небес,
чьи лучезарные вои
бледнее, чем глаза твои...

Твой взгляд, как ландыш близорукий,
из свежей зелени и тьмы
сквозит, как песня о разлуке
в просторах атомной зимы,

и гибельно звучит, и сладко,
и лёд не тает на устах.
Пусть всё погибнет без остатка,
как этот жемчуг на листьях.

Сосредоточен, деловит
бросаешь взгляд, как будто в реку
рыбак бросает динамит,
и я лечу навстречу веку,

в котором и звезда Полюнь
твоими же глядит очами
на вечно юную латынь,
расправленную за плечами.

Разворошив до основания,
цветок в ладони держишь ты,
и знаешь всё о нём; название;
в его пыльце твои персты,

и, ароматом опьянённый,
переживая свой каприз,
ты знаешь, как душе влюблённой
лежать в твоих руках без риз?

Твоим подснежникам мои
шлют ландыши привет из мая.
Весна промолвила: оші, -
неловко дёрнула, снимая,

и перлы полетели градом,
и, устилая землю рядом,
ручьями дальше потекли
туманными за край земли.

Пел соловей, и вдруг замолк,
и стало во Вселенной пусто.
И ни луны холодный шёлк,
ни ночь, темнеющая густо,

ни в силах этой пустоты
затмить, как сладостное пенье...
И если замолкаешь ты,
всё погружается в забвенье.

Твой голос

Как камень падает в ладонь,
почти бесшумно сотрясая
живую плоть; горит огонь,
тревожа слух, не угасая;

как ветер летит, течёт вода;
как передать движенье льда?

Затем, что звук коротких фраз
твоих, бывает, ясно слышу,
как вижу взгляд, не видя глаз.
Как снег, что покидает крышу,

скользя металлом, крытым льдом,
паденьем сотрясает дом.

Как крылья полуночных сов.
Как Самуил, что слышал зов.

Душа — кочевница на склонах,
покрытых звёздной травой,
сиянье глаз твоих бессонных
косплеющей. Возьми с собой!

Я не ищу другого рая,
и лишь слоняюсь по листьям,
где без тебя я умираю.
«Здесь» без тебя — не «здесь», а «там».

К портрету в купе Красной Стрелы

Тебя писал, наверно, Тициан:
сиянье золотое, бархат винный,
и, полный дум, среди полночных стран,
ты оживляешь свой портрет старинный

какой-то лаской неземной во взоре,
и я тону, тону в горячем море.

И я не вижу звёзд над головой —
и звёзды утонули безвозвратно:
всё заполняет взор небесный твой.
И не хочу, и нет пути обратно:

с исчезновеньем побелевших звёзд
растаял и к земле забытой мост.

И я теперь не знаю, где живу,
а ты в пустом купе летишь куда-то,
с собою увлекая синеву
небес, и золото заката,

и серебром наполненный рассвет.
Есть ты, а остального больше нет.

К воображаемому портрету

И, золотом полная, светит луна
в жемчужных просторах,
в серебряных лентах.
Каналы мороз пробирает до дна,
искрят изваяния на постаментах.

И ты, в разноцветном сиянье витрин,
согретый вином с изразцовой печкой,
сим сахарных уст разгоняющий сплин.
Мой сказочный город над чёрною речкой.

Твой шарф, повязанный узлом,
и пуговица на рубашке...
Бисквит и кофе. Над столом
весенние щебечут пташки.

И отражаются в очках —
в стекле кофейного оттенка —
экран, мерцающий в руках,
и взбитая на кофе пенка.

Опять мне предлагает поделиться
твоим изображением телефон.
Не поделюсь. И так тебя столица
глазами ест, хотя она лишь фон,

всего лишь шум, и суета, в которой
ты думаешь совсем не обо мне.
И слышу я, как мчится поезд скорый,
и как звезда молчит на самом дне.

К твоим портретам на стене кухни

Изгиб руки в зрачке незрячем
застыл - излучина реки.
Плывут, дрожа, в луче горячем
мерцающие огоньки.

И словно долгою волною
лаская этот поворот,
совсем не здешнюю страну
мой взгляд невидящий идёт,

и вот уже скользит под своды,
где, ветви гибкие склонив,
и глядя в сумрачные воды,
их задевают листья ив,

и, словно золотые лики,
целуют белый мрамор блики.

Я мучаюсь. С тобой и без тебя.
Я без тебя с тобой, с тобою не бывая.
На чёрном фонари горят, слепя,
и на ветру покачиваясь. Wow.

Ах, если бы. Всё без тебя во мгле:
бессмысленно, бесцветно, беспредметно.
И только время капает во мне,
переполняя чашу незаметно.

Есть один бронепоезд —
он же безмолвный айсберг —
он же в небе звезда,

и я попадаю под поезд,
и налетаю на айсберг,
внезапно, везде и всегда.

И превращаюсь в обломки,
и устилаю землю,
или иду на дно,

и становлюсь русалкой,
фениксом недобитым,
потому что знаю одно:

знаю — в небе звезда.

Не то что выходишь из зоны комфорта,
а просто уходит земля из-под ног,
как будто у Бога разбилась реторта,
и бедный гомункулос выжить не смог.

И огненной стал саламандрой в начале,
и пламенем неугасимым в конце,
в котором земные горели печали,
и ангелы, глядя, менялись в лице.

Феврально. Муторно. Бессонно.
Бушует ветер в голых ветках.
Они возмущены. Резонно,
и оставляет след в заметках.

Крупа, похожая на манку,
по окнам бьёт, и стёклам больно.
И сердце крутит, как шарманку,
твоя рука... ну, так... невольно.

Когда болезнь во время страсти
тебя вдруг прикуёт к постели,
и думаешь: какой напасти
не хватит места в этом теле?

Как выживать? Следишь за сварой,
и не поймёшь: как раньше выжил?
Тут месяц. И на вид нестарый,
и тихо из тумана вышел.

Луна — небесное зеркало,
что отражает тишину,
в которой я молчу устало,
не в силах отойти ко сну —

твой образ в глубине сознания
холодным золотом горит,
и я в порыве созерцанья
в его устремлена зенит.

И входит, как алмазное сверло,
в глубокий мрак, где прячется сознание,
мысль о тебе, всё озарив светло,
и я опять пишу своё признание,

чистосердечно: как на свет зрачок,
душа во мне сжимается до точки
перед тобой; как рыба на крючок,
я попадаю в середине строчки,

и замираю. Но, во тьме кружа,
меня влекут к единому исходу
слова, которым сердце и душа
согласно не дают уйти под воду.

Когда несёт корабль волна
строкою нотною напева,
то с ним несётся, не вольна
в своей судьбе морская дева,

привязанная к кораблю
надеждами его матросов.
Вот так и я тебя люблю —
как море бурю, без вопросов.

Весь день искала берега,
и берегов не находила,
хотя кругом — снега, снега,
но есть ещё другая сила,

и нет ей дела до снегов,
и вечной гибели творенья
в закатной глубине веков.
Всё, что не ты — всё лишь мгновенье.

Как будто луч невидимой зари.
Бывает ли светило безымянно?
Как будто что-то тянет изнутри,
туда же, внутрь, и это очень странно.

Как птицы знают юг, и как луна
зовёт к себе седые океаны,
беззвучно пробирая их до дна?
Но чувствую. И это очень странно.

Как наполняют зеркала
холодным серебром покои,
как золотые купола
здесь указуют на другое,

так наполняешь мысли ты,
так указуешь направление.
Найти бы мне до темноты
в твоих очах благоволение.

Спасибо тебе за второе лицо,
единственное число.
Суровый декабрь замыкает кольцо,
в котором мне повезло.

Любовь горячей полыхает зимой,
в снегах утопившей года.
Ты радость и счастье. Остайся со мной.
Остайся со мной навсегда...

Твоя мимоза будет вечной,
в душистой золотой пылице,
как путь на головою млечный,
и след помады на лице,

пятнающий твои портреты;
и в довершение беды —
мои безумные сонеты,
как помешательства сады.

Люблю тебя. И всю твою фигуру,
столь гибкую, как дорогой клинок,
дразнящую надменного Амура:
ну, попади - что, не попал, не смог?

Ах, эти беломраморные плечи,
персидских роз сладчайшие уста.
Невнятные мои об этом речи,
и эта ночь, что без тебя пуста...

Мне каждая твоя черта
Дороже прочих начертаний.
Души бессмертна красота.
Среди привременных метаний

Искала я, не находя,
Искала я безрезультатно,
Но только белый шум дождя,
Лишь в лужах цветочные пятна

В ответ на мой один вопрос
Об одиночестве Вселенной.
И вдруг всё тихо так сошлось,
И мукой проросло мгновенной.

И я не знаю, почему,
и даже если ни зачем;
а только сердцу моему
довольно этой темы тем,

и пусть не мне куётся медь,
и пусть бедны венки из строф,
я знаю: вечно буду петь
тебе, тебе, моя любовь.



ДВА РАССКАЗА

Наследство

1

В течение полугода свекровь отправляла посылки, а следом собиралась явиться сама. Воцариться. Дина бросала посылки в шкаф в прихожей, не распечатывая. Наконец, свершилось. Муж съездил за матерью, она жила в соседней области, привез с остальным скарбом. И все это нужно было куда-то деть. Пришлось освободить для Елизаветы Петровны комнату сына, а Петю переселить в гостиную. Сын дома почти не ночевал. Дина забыла, когда последний раз меняла ему постельное белье. И так посмотрит, и эдак – чистое. Того гляди, женится, и что еще будет за жена? Дина вздрогнула: и свекровь, и невестку сразу она не вынесет. Женщина услышала охи свекрови и пошла взглянуть, что случилось. Елизавета Петровна раскладывала в шифоньере свое стариковское приданое. Добралась до посылок, раскрыла, из одной, с вязаными кофтами, полетели бабочки моли. Укоризненно посмотрела на сноху, догадываясь, что ей не рады.

За обедом Дина завела разговор о продаже квартиры Елизаветы Петровны, чтобы купить жильё Пете.

– То есть как это – Пете? – удивилась свекровь. – А как же Гриша?

Гриша – ее младший сын.

– Но вы же к нам переехали, не к Грише, – уточнила сноха.

Гриша жил с семьей в коммуналке, к тому же пил, нечасто, но запойно. Во время запоев жена выдворяла Гришу к матери. Няничить пьяного сына Елизавете Петровне было утомительно. К тому же старушку одолевали мысли о наследстве. Она боялась, что если не разделить квартиру сейчас, непутевого Гришу оставят с носом, то есть практически на улице. Нужно купить младшенькому однокомнатную, чтобы у него был свой угол. А то, что останется, пусть возьмет старший сын, у него есть крыша над головой. Зара-

ботал на заводе, приватизировал, а потом расширил квадратные метры. Андрей крепко стоит на ногах, не пропадет. А Гриша пропадет. Елизавете Петровне это казалось так понятно, естественно. Сноха словно услышала ее мысли:

– Ну конечно, ваш Гриша может пить и бездельничать, а жилье ему поднесут на блюдечке с голубой каемочкой.

Елизавета Петровна посмотрела на сына. Андрей ничего не ответил, опустил голову. Воздух загустел от напряженного ожидания, дома стало нечем дышать.

Петя забегал побриться и переодеться. Торопился, от обеда отказывался, перехватывал на ходу бутерброд с чаем и не замечал предгрозовой атмосферы в семье. Дина спрашивала:

– Как дела в институте?

– Идут, – отвечал сын. – Вечером не жди.

Представить невесту родителям не торопился, а мать не просила. Что это за девушка, у которой парень днюет и ночует? И куда смотрят ее родители? Хотелось надеяться, что все обойдется. Но сын выглядел так, словно спешил к своему счастью. И Дина поняла: не обойдется.

У Елизаветы Петровны за обеденным столом стала появляться большая ложка. У всех обычные, из столового набора, а у нее большая, как будто она ест больше всех.

– Опять у меня эта ложка, – обижалась старушка.

Сноха хмуро меняла ложку, одергивала себя: ну зачем я так? Елизавета Петровна, словно услышав, поднимала на нее глаза: за что? Хотя понятно, за что. За квартиру, которую она хочет оставить Гришеньке.

Дина покачала головой: Елизавета Петровна состарилась, но не повзрослела. Детская наивность не сошла с ее лица. Вспомнила, как долго Андрей не знакомил ее с родителями, она настаивала. Потом поняла: Андрей стеснялся матери. Они все ее стеснялись: и отец, и сыновья. Даже Гриша, ему было лет двенадцать, подросток, он еще мало что понимал, но много чувствовал. Мальчик догадывался: с его мамой что-то не так. Директор дворца детского творчества, где Елизавета Петровна вела театральный кружок, надумала от нее избавиться. Почему? Потому что Елизавета Петровна категорически отказывалась собирать с родителей деньги за обучение. Говорила: «Театр – не для денег, театр – для детей». Встречая воспитанников, всплескивала руками: «Какие замечательные артисты ко мне пришли!» Директор наблюдала эту сцену, морщилась:

– Как клоун с плохими репризами.

Не верила Елизавете Петровне и людям вообще. Не верила в бескорыстие, любовь к профессии. У нее было мерило всего – деньги. Выгодно или невыгодно. Время сейчас такое. Муниципальное предприятие должно приносить доход. Но режиссер детского театра словно не слышала. И не увольнялась, и не перестраивалась. Застряла в социалистическом прошлом. Устраивала чаепития во время занятий – для уюта, чтобы дети чувствовали себя, как дома. К ней привозили детей со всей области – в том числе стеснительных, с проблемами в общении. Какие же это артисты? Все дети талантливы, говорила Елизавета Петровна, пусть занимаются. Постепенно проблемы исчезали, загорались новые звездочки. Театр – лечит. Детский театр «Сказка» побеждал на театральных фестивалях, о нем писали в газетах. Директриса, скрепя сердце, отступилась.

Вот эта непривыченность и делала Елизавету Петровну странной в глазах окружающих, в том числе и близких. Муж смирился, тянул семью. Сам выбрал жену, противоположности сходятся. Жена не знала, как снимать показания счетчиков на свет и воду, например, а может быть, даже не догадывалась об их существовании. Зарабатывала сущие гроши, но при этом пропадала на работе, ставила спектакли. И дома разговаривала о театре. Муж слушал, но быстро отвлекался. Елизавета Петровна замолкала. Старший сын, Андрей, тоже театром не интересовался, поступил в политех, выучился на инженера, как отец. А Гриша занимался музыкой. Мальчишки во дворе били его за длинные волосы и за скрипку. За то, что не похож на них. Однажды мать увидела, как Гриша играет им «Вечную любовь», потом «Мурку».

– Ну зачем же «Мурку»? – спросила она.

– Я и «Владимирский централ» могу, – пожал плечами сын. Однако мальчишки больше его не трогали.

Вырос, поступил в консерваторию и женился на однокурснице. Мать порадовалась, что сын с женой будет разговаривать на одном языке – музыки. Но Гриша устроился на завод. И пел в церкви, музыка и Бог для него – одно целое. А потом ушел из церковного хора. Потому что сын батюшки достал из кошелька пачку купюр, похвастался, сколько отец дает ему на карманные расходы. Грише показалось, что в музыке Бога нет, и в церкви нет, а может быть, нет вообще. У Гриши остался только заводской конвейер и комната в коммуналке. Друзья пригласили его в музыкальную группу, однако жена запретила: вечерами он должен быть дома.

Елизавета Петровна робко спрашивала про внуков, но ответа не получила. Получала только сына на время запоя.

Муж к этому времени умер, Елизавета Петровна подумала: надорвался тащить воз за двоих, за себя и за нее. Тосковала по мужу. Молчаливый, но свой, он принимал ее инакость и подставлял крыло. Не предал. Вспомнила, как после развала Союза люди почувствовали себя обездоленными, муж часто повторял: нищерброды мы, нищерброды.

– Не говори так, – не соглашалась Елизавета Петровна, – мы не нищие, у меня есть ты, а у тебя – я.

– Это слова, – усмехался муж и искал подработку. Андрей в отца пошел, тянет семью, дом для него – крепость.

Директриса проводила Елизавету Петровну на пенсию. Родители студийцев ходили к директору, просили оставить им любимого режиссера. Но директор сказала:

– У вас будет новый молодой перспективный руководитель.

Елизавета Петровна сидела дома. Отпаивала сына рассолом и томатным соком. Держалась за сердце. Елизавета Петровна не любила ходить по больницам, но у пенсионера много свободного времени. Врачи обнаружили у нее тахикардию. Не смертельно, но разве можно быть уверенным в завтрашнем дне? Да и беспокойство за неподеленную квартиру одолевало. Елизавета Петровна слышала, что родные судятся за наследство, становятся по разные стороны баррикад, как на гражданской войне. Она решила переехать к старшему сыну, у него трехкомнатная квартира, места хватит. Свою двушку она продаст, купит жилье младшему сыну, а старшему отдаст то, что останется. Что там останется, Елизавета Петровна представляла весьма смутно.

Мать удивилась, что Андрей с женой не оценили ее мудрое соломоново решение по поводу наследства. Андрей обиделся: как в детстве, все лучшее Гришке, он для нее так и остался маленьким. Любимчик. И детей у Гришки, между прочим, нет.

– А у нас – сын, – добавила Дина.

Свекровь засобиравалась домой. Зачем? Елизавета Петровна развела руками, внятно ничего объяснить не сумела. Дина с Андреем проводили ее на автобус, благо, она ехала без вещей, значит, ненадолго. Не до нее сейчас. Выяснилось, что у Петинной невесты пьющая мать, а отца нет, может, и не было никогда. Дина решила, что такая невеста им не подходит. На сына было больно смотреть.

– Даже не думай, – говорила мать. – Слава богу, без детей обошлось.

– Не обошлось, – сказал Петя. – Мы с Леной ждем ребенка.

Дина всплеснула руками, совсем как Елизавета Петровна. Вызвонила Лену, дала деньги на аборт. Сын стал ночевать дома, в гостиной. Лег на диван лицом к стене, не хотел поворачиваться.

Спал сутками. Пропускал лекции в институте. Это стресс, думала Дина. Пройдет, сон вылечит. Андрей заглядывал в комнату к сыну, досадливо кричал. Садился за компьютер, чертил, нашел подработку.

– Возьми этот заказ, снимите с Леной квартиру, – сказал он сыну.

Петя встал с дивана, посмотрел на отца:

– Думаешь, она согласится?

– А ты спроси, тогда узнаешь, – усмехнулся отец.

Вернулась свекровь, театрально всплеснула руками. Оказалось, она продала квартиру. Вернее, отдала. Кому – сама не знает. Приехала без документов и без денег Дина хотела спросить:

– К нам-то зачем вернулась?

Но не смогла выговорить. Легла на кровать лицом к стене и молчала несколько дней. Слышала, как свекровь ходит по дому, готовит, убирает. Но Дину это словно не касалось. Потом встала, надоело лежать.

– К нам Петя с Леной сегодня придут, – сказала Елизавета Петровна. – Я тесто на пирог поставила.

– Хорошо, – усмехнулась Дина.

– Леночка-то беременная, – добавила Елизавета Петровна.

– Хорошо, – кивнула Дина, почувствовала, как тепло подкатило к горлу, к глазам, защипало в носу. Спросила: – А как там Гриша поживает?

– Работает на заводе, – улыбнулась свекровь. – И в церковном хоре поет.

– Хорошо, – снова кивнула Дина. – Вся семья вместе – и душа на месте.

2

Легко сказать «вся семья вместе», а как ужиться со свекровью? Дина постаралась создать себе правильный настрой. Буквально – обливалась утром холодной водой, чтобы выйти к домохозяевам с улыбкой. Заглянет на кухню, а там уже свекровь хлопочет над завтраком. Дина терпеть не могла, когда кто-то вместо нее хозяйничает. В ней поднималась волна глухого раздражения. Во сколько же мне вставать, чтобы опередить ее? Конечно, сидит дома, высыпается. Возвращалась в ванную. Видела в зеркале злое, напряженное лицо. Она не нравилась себе такой. Шептала:

– Не сволочись, Дина.

Сволочь, кстати, от слова волочить, исконное значение – мусор, собранный в одно место. Чувствовать себя мусором – не

хотелось. Дина была по образованию библиотекарем. Когда вышла замуж за Андрея, свекровь подарила ей фарфоровую статуэтку. Даму с собачкой. Сказала:

– Наконец-то у нас в семье появилась чеховская героиня.

Дина поставила статуэтку на тумбочку, ей нравилось представлять себя именно такой: нежной и трепетной, как Анна Сергеевна. А то, что из библиотеки пришлось уйти... Нужно кому-то и деньги зарабатывать, не все могут себе позволить в облаках витать. Дина снова умывалась холодной водой, бросала взгляд в зеркало. Улыбалась своему отражению. Отпускало, становилось легче дышать.

В самом деле, нужно же Елизавете Петровне чем-то заполнить день, чувствовать себя полезной семейству. Были и плюсы. Вечером можно отдохнуть, не вставать на вахту к плите. Дина работала продавцом в обувном магазине: весь день на ногах. И не дай бог присесть, продавец должен стоять в ожидании покупателей, вены повылезли. Зато дома встречала свекровь, усаживала за стол, кормила, радовалась, если угодила.

– Мама, режьте огурцы и помидоры в салат крупнее, не мельчите, – говорила Дина.

Елизавета Петровна вздрагивала. То ли от замечания, то ли от непривычного обращения. Раньше сноха ее мамой не звала.

Дина жаловалась на начальницу:

– Выговаривает мне, как двоечнице, за каждую мелочь. У меня, между прочим, высшее образование.

– Если не можешь уволиться, играй роль подчиненного. Это только игра. На работе ты продавец, а дома жена, – посоветовала Елизавета Петровна. – Иначе сгоришь.

– А где же я дама с собачкой? – вздохнула сноха.

– Дама с собачкой ты всегда и везде, – улыбнулась Елизавета Петровна. – Это твоя суть.

В выходные Дина с мужем закупали продукты на неделю, а в будни Елизавета Петровна прогуливалась в магазин за хлебом и молоком. Возвращаясь, присаживалась на скамейку во дворе, разговаривала с детьми. Даже играла с ними, абсолютно всерьез, на равных. Дина с Андреем однажды застали мать за игрой, а если точнее, за репетицией.

– Выйдет кошка на прогулку

Да пройдет по переулку –

Смотрят люди, не дыша:

До чего же хороша!

Да не так она сама,
 Как узорная тесьма,
 Как узорная тесьма,
 Золотая бахрама.

– Света, ты не девочка, ты – кошечка. Да какая красавица! Ну-ка, пройдишь! – выводила Елизавета Петровна малышку в круг.

– Мама в своем репертуаре, – усмехнулся Андрей.

– А ведь Елизавета Петровна расцвела, – залобовалась Дина свекровью. – Посмотри, как ей интересно: всех детей вокруг себя собрала!

Дина ходила к председателю ТСЖ и договорилась, чтобы отремонтировали подвальное помещение для театра.

– У нас будет детский дворовый театр, – выступила Дина на собрании. – Абсолютно бесплатный. Да, сначала мы вложимся в ремонт, а потом наши дети будут заниматься в театральной студии. Елизавета Петровна – талантливый режиссер, ее на пенсию не хотели отпускать! Нам повезло!

Дина никогда еще не говорила так много и вдохновенно. Правление согласилось. Небольшая сцена и несколько рядов скамеек для зрителей – вот и весь театр.

– Нам обязательно нужен занавес и кулисы, – сказала Елизавета Петровна. – Сцена не должна быть голой, театр – это тайна, которую хочется раскрыть.

Купила габардин на всю пенсию, а Петина жена сшила занавес. Лена с первого дня знакомства влюбленно смотрела на Елизавету Петровну, а Дину побаивалась.

– Лена любит Петеньку – это главное, – говорила Дине свекровь.

Петя с Леной снимали квартиру в соседнем подъезде. И рядом, и отдельно. Петя учился и работал, но денег все равно не хватало, приходилось помогать молодой семье.

– Лена у нас королева, – усмехалась Дина. – Петя работает, бабушка гуляет с ребенком. А что делает Лена?

– Главное, что она любит мужа, – отвечала свекровь.

– Не сволочись, – приструнила себя Дина. А вслух сказала:

– Мама, у меня сегодня выходной, я погуляю с Димочкой.

Катала внука в коляске во дворе, говорила:

– Подрастешь, Дмитрий Петрович, будешь играть у бабушки Лизы в театре

Димочка улыбался, потряхивал погремушкой.

– А театр мы назовем «Петрушка», – обрадовалась Дина. – В честь твоего папы, нравится тебе такое название?

Димочка улыбался в ответ бабушкиной улыбке, ему все нравилось.

Андрей только головой качал, слушая как жена разговаривает по телефону с председателем ТСЖ:

– В спектакле должны быть декорации, хотя бы условные. Стол, стулья, костюмы – родители помогут собрать. Но домик с окошком все-таки нужно сделать. Чтобы котяткам было куда поостучаться: Тетя, тетя кошка! Выгляни в окошко!

– Будет домик, Елизавета Петровна! – сказала Дина, положив трубку. – Мама, слышите?

– Спасибо, Дина, – улыбнулась Елизавета Петровна. – Я Гришеньку на премьеру «Кошкиного дома» приглашу. Ему понравится наш театр.

– Хорошо, – кивнула Дина. – Вся семья вместе – и душа на месте.

Мурка

Любовь Ивановна закрыла дверь перед носом Мурки, объяснив предварительно:

– Умру во сне, еще нос мне отъешь!

Кошка подняла на хозяйку недоуменный взгляд, но от двери не отошла. Любовь Ивановна послушала жалобное мяуканье, прикрикнула:

– Не хулигань!

Кошка замолчала. Понятливая. Старуха лежала без сна, мысли крутились серенькие, скучные. Завтра нужно сходить в магазин. Дочь прислала деньги, сказала: «Купи себе фрукты, лучше бананы, они поднимают гемоглобин». Бананы Любовь Ивановна не любила, но дочь слушалась. Ела по полбанана, как лекарство.

Старуха повернулась на другой бок и вдруг почувствовала, как кто-то мягко прыгнул на постель, заурчал, легко массируя коготками подушку. Мурка! Вошла все-таки, шельма! Однако дверь была закрыта.

– Как ты здесь оказалась? – спросила Любовь Ивановна, не раскрывая рта.

Подумать только, они с Муркой так сроднились, что могли обмениваться мыслями. Мурка внимательно посмотрела на хозяйку и ушла в ночь. Прямо сквозь закрытое окно.

Любовь Ивановна шагнула вслед за кошкой – и ощутила восхитительную легкость в теле. – Кажется, я лечу! – удивилась она. Оглянулась на дом, увидела в соседнем со своим окне изумленное

лицо Антонины Федоровны. Они порой вместе прогуливались перед сном, а теперь вот поди ж ты, Любовь Ивановна летит, а соседка смотрит ей вслед...

Между тем, Мурка остановилась, дожидаясь хозяйку. Буквально – встала над крышами. Если бы кому-нибудь вздумалось задрать голову и полюбоваться кошкой и старухой среди звездного неба... Любви Ивановне почему-то вспомнилась Муренка из «Серебряного копытца». Любимая книжка детства, дедушка ей читал. Как знать, может быть, это Муренка и есть. Куда ты меня ведешь, милая? Не надо мне самоцветных камней! У меня все есть. На хлеб хватает. На бананы дочь пришлет. А вот за небо – спасибо!

Мурка вдруг стала расти – и превратилась в дедушку Любви Ивановны.

– Зачем ты забрала мой цветочек, Любушка? – спросил дедушка.

– Поиграть хотела, я верну, – заплакала Любушка.

Любовь Ивановна вспомнила, как будучи маленькой девочкой, взяла понравившийся ей искусственный цветок с могилы дедушки.

– Обязательно верни, это был мой любимый цветок, – грустно сказал дедушка.

Любушка протянула цветок, он взял и ушел, не оглядываясь.

– Ничего не забирай с кладбища, – сказала мама Любушке, когда увидела цветок среди игрушек. – Дедушка может обидеться.

– Наконец-то вернула, – вздохнула Любовь Ивановна. – Спасибо, Мурка.

Она любила дедушку и не хотела его обижать.

Кошка кивнула и снова легко заскользила в ночи.

– Смотри-ка, светает, – удивилась старушка. – Просыпаться пора.

– Любушка, вставай! – услышала она голос воспитательницы. – Когда все спят, ты балуешься. А теперь нате вам пожалуйста – разоспалась!

– Подумать только, как откатилось времечко! – ахнула Любовь Ивановна. Хотела было встать, но тут ее качнуло назад.

Сончас только начался, и они с Вовкой с удовольствием мечтали, как будут кататься на облаке, которое проплывало над окном их группы. Окно как раз приоткрыто...

– Ну что же ты медлишь? Поехали! – вскочила Любушка. Перекинула ноги через подоконник – влезла на облако. Мягкое-то какое! Как снег! И совсем не холодно! Любушка улеглась. Над ней тоже плыли облака. Догоняли друг друга, соединялись в причудливые фигуры. Заяц. Собака... Кошка... Да это же Мурка!

– Мурка! – позвала Любушка. И услышала тихое с присвистом сопенье под ухом.

– Как ты здесь оказалась? – изумилась Любовь Ивановна. – Неужели дверь научилась открывать?

Старуха встала. Кошка тут же спрыгнула с кровати. Вскочила на подоконник. Любовь Ивановна замерла на мгновение, подошла, отдернула штору.

– Утро уже, – облегченно вздохнула старуха. – В магазин нужно сходить. А вечером прогуляться с Антониной Федоровной.

Любовь Ивановна снова замерла перед затворенной дверью комнаты. Оглянулась на кошку, их взгляды встретились.

– Было или не было? – подумала Любовь Ивановна, взялась за ручку двери...

На улице подняла голову, посмотрела на небо. Как раз над ней пролетала старуха. Любовь Ивановна вгляделась. Не может быть! Антонина Федоровна! Среди бела дня! Любовь Ивановна помахала подружке рукой и хотела было свернуть к магазину, потом передумала. Разбежалась – и полетела...

ПОЭЗИЯ

ВЛАДИМИР МИСЮК

Вечернее солнце сыграет отбой,
Полшага до крайнего срока.
Один на один остаёшься с собой,
А это такая морока.

И сколько себе о покое не лги,
Услышит душа-недотрога,
Как память замок вышибает с ноги
И пристально смотрит с порога.

Дмитрию Кантову

Время быстрым пожаром горит.
И послушно становится старым.
...Мой отец самокат мастерит —
Две доски и подшипников пара...

Засыпается трудно в ночи.
(Никогда никуда не вернешься!)
...Мама звонко в окошко кричит:
«Не катайся так сильно, убьёшься...»

Я глаза закрываю и жду
(Память клюнет легко, без приманки):
...Бабка с тяпкой в тенистом саду,
С папиросою дед у «голландки»...

...Три сестрёнки галдят за стеной,
Словно птичья беспечная стайка...
До конца остаётся со мной
Драгоценного времени пайка.

*Памяти мамы
Александры Михайловны*

Дождик на улице.
Падают капли,
О подоконник стуча.
В блюде с каёмкой опасно сутулится,
Тает свеча.

.....

Вот и последняя капелька звонкая...
Солнце опять воспарит.
Свечечка тонкая, тонкая, тонкая
Стойко горит.

Не умею ни жить, ни стареть.
И не знаю,
Как суметь в должный час умереть,
Не стеная.

Не узнал на немалом веку
Даже малость:
Как тоску прихватить, чтоб сынку
Не досталась.

И в котомку её запихнуть
Как-то мне бы...
И без дрожи в коленях шагнуть
В прах и небо.

ПОДСКАЗКА

*Бабке Лидке,
автору книги «Прощание Славянска»*

Бедный америкос,
На — подсказку:
Ты на комиксах рос,
Я — на сказках.

Только русский обнять
Может выюгу.
Потому не понять
Нам друг друга.

Помни, ты, новосёл,
На делянке:
Всяк заплатит за всё,
Слышишь, янки?..

Будет так, чуть погоду,
Не иначе!
Наше право Господь
Обозначил.

Оружейник-палач
Не спасётся.
Не стесняйся — поплачь,
Вдруг зачтётся.

ПРИСТАНЬ ИЗ ЮНОСТИ

памяти Ивы

1.
— Смотри, пароходик отчалил...
И кажется пьяному мне,
Что наши с тобою печали
Увёз на дощатой спине.

Слова, не попавшие в лузу...
Твердишь, отмахнувшись рукой:
— Боюсь, что подобного груза
Не сдюжить спине никакой.

Я всё понимаю, подружка,
Повинные плечи клоня...
Но знаю, что в сумке чекушка
Твоей... И она — для меня.

2.

Жизнь уходит, уходит, уходит,
Как сквозь пальцы песок.
Помнишь, на пароходе
Пили яблочный сок?..

Он стекает тебе на майку...
Пароходик бежит по реке.
— Двести водки! Живее, хозяйка!
В задымлённом воплю кабаке.

Ничего я не понимаю
И, наверно, уже не пойму.
Снова женщину обнимаю,
В беспросветную глядя тьму.

Утро ночь по стеклу размажет,
За которым валит снежок.
На прощанье она мне скажет:
— Заскучаешь — звони, дружок.

И уйдёт, помахав рукою,
И сквозь снег промелькнет в окне...
Оставляя меня с тоскою
Беспросветной наедине.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

*памяти Родины —
Союза Советских Социалистических Республик*

1.

Кто же жизнь нашу прежнюю схрумкал?
Кто же всё и куда подевал?
Остаётся привычная рюмка
Да продавленный этот диван.

И по чьей вожделенной потребе
Это алчное племя пришло?
Над Москвой в обезумевшем небе
Разгорелась табличка «БАБЛЮ».

Хлынул запад мгновенно в прореху,
По карманам звеня серебром.
И такая — галопом — потеха,
Что ни в сказке — пером-топором.

Незатейлива, в общем-то, думка...
Может, зря я её рифмовал?..
Но ведь кто-то же схавал и схрумкал,
И куда-то же всё подевал?

2.
Всё сильнее я стал замерзать.
Всё старей год от года.
И не знаю уже, что сказать
Ни себе, ни народу.

Да, Россия покуда жива.
Уравнение ж простое —
Разменяла нас мамка-Москва,
Но ведь мамка — святое.

Снова велено нам потерпеть.
Счастье — близко!
Только русскую песню не спеть
На английском.

Солнце над Русью красное,
Но и на солнце — пятна.
Может, скажу напрасное,
Но повторю стократно:

Будьте друг к другу добрее
За караваем-чаем...
Капитализм — гоноря —
Лечится. Отвечаю.

Всё, вроде бы, хорошо.
Любой ерунде назло.
И дождь по земле прошёл,
И солнце опять взошло.

Ласкающий взгляд струит
Сквозь луч берегущий Спась.
И Русь на века стоит,
В которых не будет нас.

...И юности щебет, и памяти клеток
Со мной неизменно во время прогулок.
И капель тяжёлых размеренный цокот
В висках отдается тоскливо и гулко...

А ветер становится злее и злее,
В продрогшей насквозь равнодушной отчизне.
И я ухожу по пустынной аллее
Всё дальше от дома, всё дальше от жизни.

жил ты и жил,
и тебя любили.
гладили по волосам.
время шло
и тебя забыли.
на пороге она —
и в руках — коса.
подойдёт, ухмыльнется,
скажет:
— не волнуйся —
остра коса.
и тебе под бочок подляжет,
и погладит по волосам.

памяти Е. Кошкиной

В доме горит свет.
Водка, табак, еда.
Ленка, тебя нет...
Стало быть, никогда

я не дождусь звонка...
Но и босой по льду,
как-бы не далека,
время придёт — найду.

Помнишь, тебе, бухой
я говорил — dixi —
Лучше твоих стихов
только твои стихи.

В доме погас свет.
Время встречать зарю.
Ленка, тебя нет...
С кем же я говорю?

МАЛЬЧИК

Вся твоя поклажа,
Мальчик-старичок,
Это просто лажа...
Целься на бочок.

Погрусти о прошлом,
Глядячи в окно,
Яростным и пошлом —
Всё одно!

Закрывай же глазки,
Сколько б не вздыхать, —
Маменькиной сказки
Не слышать...

Уже не раздать долги,
Лежащим в земле сырой.
Я выпью на ход ноги,
А после — на ход второй.

И дальше пойду по жи...
Сквозь парные тьму и свет.
Тропою привычной лжи
Вслед правде, которой нет.

СОЛНЦЕ

Солнце — вечное. Солнце встанет
И Земле споёт о любви.
Пацаны лежат под кустами,
Не с девчонками, а в крови.

Солнце — вечное. Солнце встанет.
Глянет пристальной — замолчит.
Мужики лежат под кустами,
Значит, вдовам рыдать в ночи.

Ну, а если оно не встанет?..
Поле чёрное... Вороньё...
Смерть — двужильная — не устанет.
Как всем миром унять её?

Думал — дождя не будет.
Вот он, как из ведра!
С присказкой «хрен на блюде»
Век доживать пора.

Думал — кранты. Но снова
Взломано забытьё.
Вот и попало слово
Неулови-моё.



ПРОЗА

ТАТЬЯНА ГОГОЛЕВИЧ

ТАРХАНЫ*

Часть II.

11. Охотники пришли

Пока выбирали место, где ставить самовар — в людской или доме ключника (ждали еще кого-то и спорили, как лучше), Захар позвал меня «посмотреть что-то» и привел на склон у пруда, заросший наполовину высохшей теперь травой и высоченными репьями. Облака лежали в воде пунцовыми, наплывающими друг на друга лепестками и потихоньку наливались изнутри розовым и золотым. По озеру недавно проплыли утки — на воде дорожкой стояли пузыри.

Лебеди вывернули из-за поворота. Вода под ними не двигалась, только чуть собирался тонкими складками след, когда они поворачивали. В этих птицах была удивительная тишина. Они плыли к нам.

Захар сунул руку в карман и достал кусок булки. С сожалением посмотрел на мои каблуки, один спустился к воде и покормил лебедей. Лебеди не боялись его. Потом и утки подплыли, но булки им уже не досталось, хотя они довольно настойчиво покрякивали.

— Давай дадим друг другу слово, — сказал Захар, — что через десять лет встретимся здесь. Мне будет — как тебе — девятнадцать.

— А мне — двадцать девять и я буду как твоя мама.

— Ты не будешь как моя мама, — возразил Захар. — И ей не двадцать девять.

Не развивая дальше тему Галиного возраста, мы договорились встретиться через десять лет на этом же месте и отправились искать флигель с закипающим самоваром внутри. Мы не слишком хорошо помнили, где людская, а где дом ключника — к тому же в людской, куда отнесли вещи, никого уже и не было. Потом мы увидели струйку дыма над домом ключника и пошли туда.

* *Окончание. Начало в № 45. 2022*

Утром пили кофе в другой комнате — а может быть, в той же самой, но в ней что-то изменилось. В то время флигель очевидно был приспособлен для того, чтобы в нем можно было собраться компанией, согреться, поесть, переночевать. Все это проявилось вечером.

Самовар стоял на деревянном некрашеном столе, а стол торцом в простенке между высокими окнами, простые лавки тянулись вдоль него с двух сторон. Комната еще не прогрелась, но ворчал пар в батареях, и все было по-деревенски (пусть я никогда и не жила в деревне) просто: тканые половики поверх некрашенных же полов, низенькая скамеечка у стены, полка во всю комнату под потолком. На ней лежали пучки сушеных трав, стояли горшки. Прорисовываются вешалка для одежды и старый металлический рукомоийник: вытянутый, выкрашенный в синее с голубыми полосками внизу конусообразный корпус, — не с привычным клапаном на дне, а краником сбоку, как и у самовара.

Самовар только разожгли. Дым плавал по комнате, остатки щепы и сосновых шишек лежали на железной подставке. Труба выходила в форточку, а сам самовар — большой, пузатый, на несколько ведер — мерцал сквозь копоть желтой медью.

Не снимая плаща, я села на маленькую скамью у стены напротив стола и окон — это было самое теплое место.

По дому ходили люди: три женщины из музея — две сухощавые, похожие на учительниц, и еще одна полненькая, улыбчивая. Полненькую узнала, но не вспомнила лица двух других, хотя наверняка видела их днем — и утром за кофе, и в барском доме, и в столовой. Про себя я назвала их «служительницами». Если одеть их в монашеские одежды, они бы выглядели как характерные, классические монахини. Галя, стоя у стола, для чего-то перебирала шишки и щепу. Слышался голос нашего водителя и еще чьи-то голоса. Деревенский парень прошел через комнату с охапкой дров, уронил дрова на пол в дальней комнате.

Когда мы зашли, Галю уговаривали остаться на два-три дня или хотя бы на ночь, а лучше до середины октября, до дня рождения Лермонтова. Через несколько дней начнут съезжаться гости, и, наверное, снова приедет Андроников. Я спросила про гостиницу, и кто-то сказал, что там не убрано и неудобно. Но нас устроят в селе, а можно и в усадьбе — в домике ключника есть полати и лавки, и где-то здесь же большая кровать. Если останемся надолго, нас и на вокзал отвезут прямо отсюда, а за нашими вещами в Пензу съездит Иван Иванович.

Галя видимо заинтересовалась такой перспективой, но какое-то время сопротивлялась. Возникший на пороге Иван Иванович тоже высказался против отъезда: вот и его автобус сломался кстати. Галя еще немного подумала и объявила, что задержимся на эту ночь, а дальше будет видно.

Вот славно, заулыбались, и поленькая («зовите меня тетя Паша») побежала ставить тесто для булочек. Иван Иванович также засиял и добавил, что вариантов нашего пребывания в Тарханах масса: например, он действительно мог бы оставить нас здесь до середины октября или остаться с нами вместе со своим автобусом, который вскоре починит.

Я же затосковала, как со мной случалось в незнакомых местах под вечер. Я бы согласилась оказаться в гостинице, небурной и неудобной, но не представляла, чем можно заняться вечером во флигеле и не без ужаса думала о кровати, на которой мне, возможно, придется спать с Галей.

Вечер между тем уже всю шел вдоль окон. Краски сгустились, стали вязкими, как спелый мед. Солнце уходило за холмы, клены обернулись подсвечниками с зажженными свечами — потемневшие стволы, колеблющийся огонь листвы, обтекающие светящиеся капли. Скорее лампы. Но не думалось, что за листопадами придут снегопады, и грустно будто бы было не от осени, а от этих деревьев.

Наверное, Иван Иванович почувствовал мое настроение, потому что вдруг оказался рядом и шепнул, что завтра утром снова будет хороший день. Впрочем, на мой вопрос о сроке починки машины тут же ответил очень расплывчато. А деревья горели все сильнее, все невыносимее.

Вдруг издалека, из-за холмов, из-за озер — донесся протяжный звук. Наши хозяева особенно, по-настоящему оживились: идут.

— Кто идет? — спросила Галя.

— Охотники, — засмеялась тетя Паша, — уток несут.

— Охотники, — светло улыбнулась худощавая женщина и хотела сказать что-то еще, но ее остановили.

Звук приближался. В будто бы человеческом, осипшем дальнем крике стала угадываться простая мелодия. Так звучал пастуший рожок. Заговорили о рожке. Он принадлежал старшему охотнику, а играл младший, потому что в игре на рожке в еще большей степени, чем на флейте или трубе нужны хорошие легкие — от силы воздушной струи зависит высота звука.

Рожок звучал все ближе, и то густеющая, то истончающаяся, ласковая, переливчатая мелодия то выстраивалась, то рвалась, а потом прервалась совсем. Проскользили мимо окон, огибая дом, две фигуры по грудь, продолжая какой-то разговор. Скрипнула дверь, отворяясь, за ней другая и вошли охотники, настоящие охотники, в сапогах выше колен, в патронташах и с ружьями, а первой зашла собака, легкая и большая, прекрасная рыжекрасная собака. Пахнущая озерной водой и камышами, она прошла мимо меня и села у края стола.

Она была та самая, которую мы видели в лугах — сеттер цвета листвы, горящей за окнами. Она, должно быть, терялась в здешних кленовых лесах и была неотличима от осенней травы на закате или восходе, но особенно на закате, легшем на озеро. Нет, скорее была она каштаново-красной, со светлым пятном на груди, и глаза ее мерцали как два драгоценных красно-коричневых камня — глубокие, прозрачные, зеленовато-медовые на просвет.

Патронташи и винтовки делали мужчин похожими на военных, их одежда пахла дымом и порохом. Охотник постарше прихрамывал и сутулился.

— А какой пожар теперь в лесах, — сказал, снимая походную куртку.

Положил на стол двух уток и добавил, что не рассчитывали на большую компанию, но, тем ни менее, и этих уток можно приготовить. Он чуть картавил, говорил тихо и сначала показался очень застенчивым. Но прежде я разглядела собаку и небольших, коричнево-пестрых диких уток, должно быть, связей или чирков.

К кленам за окнами тянулись уже совсем низкие золотые лучи.

Впервые тогда заметила: ближе к центру России краски яснее и чище, и словно бы немного медленнее. В Поволжье осеннее закатное золото дымчатое, смазанное, бегущее.

12. «Заклинаю Вас — берегите свою юность»

Однако об охотниках. Младшему из них было, наверное, чуть за тридцать (оцениваю его возраст теперь) — обветренное лицо деревенского жителя, темные кудри, грубые руки; он нес основную поклажу. Старшему, поколебавшись, я в тот вечер дала немного за пятьдесят — возраст своего отца, когда родилась (и ошиблась на десять лет в большую сторону). Старший охотник тоже прошел к столу и сел у края, рядом с собакой. Он был совсем другой, породистый, с большими бровями и бакенбардами,

и почти прямые, спутанные волосы на голове у него были светлее бровей и щетины, синевой проступившей вокруг рта и на подбородке. Его тонкие пальцы слегка дрожали, а бакенбарды к тому времени примерно век как никто не носил, но ему они шли, я быстро к ним привыкла.

Когда они только вошли, старшему охотнику предложили отдохнуть, но он сказал, что по дороге они прекрасно выпались. За столом достал из кармана очки, надел их и пристально посмотрел сквозь большие толстые стекла на меня, потом на Захара, потом на Гаю, накрывавшую на стол.

Его долгий взгляд не обижал, напротив.

— Да, — сказал он, — но нужно представиться.

— Давайте, — отозвались мы с Захаром.

— Я здесь инкогнито, — поклонился нам всем охотник, — но должен же я иметь какое-то имя.

Он взглянул на спутника.

— Вы сегодня сэра Томас, — с поклоном же парировал ему охотник помоложе и повернулся в нашу с Захаром сторону:

— А я Григорий. Я всегда Григорий, — обратился он лично к Гале и тоже немного поклонился.

Галя передернулась и покраснела. Потом и мы с Захаром представились, а Галя, прежде чем назвать свое имя, попыталась было сказать, что она тоже инкогнито, как ... как...

— Сэр Томас, — подсказал Григорий.

— Почему именно сэра Томас? — взорвалась Галя.

— По обстоятельствам, — охотно пояснил Григорий, — в Тарханах сэра Томас, в Апалихе сэра Альберт.

— Томас или Фома, — уточнил старший охотник, — Фома, близнец — арамейское имя.

Пока шел этот разговор, я смотрела на собаку.

— Можно я поглажу ее?

— Его, — сказал представившийся сэром Томасом, — да.

Я опустила руку на корточке возле прекрасного пса и вдруг ощутила, что происходит то, ради чего я приехала сюда.

— Как его зовут? — спросила.

— Райан, маленький король, — любезно отозвался Охотник (я не сразу перестроилась; и дальше, читатель, я буду называть его для тебя так, как называла про себя тогда, попеременно и невольно — то сэром Томасом, то Охотником). — Но можно звать его Рори: красный король. У него два имени.

— Это ирландский, — сказал Григорий.

— Вы переводчик? — сухо спросила Галина.

— Он из Ирландии? — спросила я, а может быть, Захар, — конечно, мы оба имели в виду собаку.

— В известном смысле. Он ирландский сеттер, — объяснил Григорий очевидное: догадываюсь, он чуть-чуть подшучивал над нами.

Я достала из кармана записную книжку и записала приманчивые собачьи имена вместе с переводом. Охотник попросил у меня карандаш и рядом с «Рори» написал английскими буквами: Ruaidhrn (Рори) — «красный король».

И еще дописал — Енуа, «ореховое ядрышко»: так звали его маму.

— Но мы зовем его Тэди — «подаренный богом».

Пес поводит ухом на каждое имя, но на последнем повернул к охотнику всю голову и вопросительно посмотрел на него.

Григорий положил на стол длинную деревянную трубку, похожую на стетоскоп с отверстиями.

— «Пастуший рожок затих до весны»... Паустовский, — неторопливо произнес Охотник.

— Вы здесь Паустовского читаете? — неприязненно отозвалась Галя.

Лицо назвавшегося сэром Томасом — постепенно проступающее, мерцающее, не совсем обычное — казалось то овально-вытянутым, то округлым, но определенно с высоким подвижным лбом, на котором то низко продольно, между бровей, то высоко горизонтально собирались складки; левая бровь поднималась, очерчивая над собой еще одну морщинку. Вот и теперь приподнялась левая бровь:

— Здесь вообще хорошо читается.

Я между тем села на пол возле Теди и погладила его, ощущая сквозь шелковистые, но не слишком мягкие волосы сухое сильное тело. Под моими пальцами напрягались, вздрагивали мускулы. На уши, на длинные ноги спускались каштановые волны, и снизу, и сзади тоже, и вся роскошная шерсть пестрела сухими травинками, коловшими пальцы, была еще влажной и пахла озерной водой.

В нем совсем не было угодливости — было благородство, которое встречается на фресках старых икон, благородство высшей пробы, достигаемое в собачьем мире, когда одно благородное существо воспитывает другое с первых недель.

Его внимательный взгляд, погруженный в себя — моя ласка ничуть не мешала этому — становился зыбким, мгlistым — осень светилась в нем; он, видимо, еще не отошел от охоты.

Мне страшно захотелось, что бы эта собака была моей.

— Дай лапу, Тэди, — негромко велел хозяин, и пес протянул мне лапу.

— С ним нужно каждый день проходить по десять километров, — последовало замечание, и я подумала, что сущая ерунда — проходить десять километров в день с такой собакой. Я бы купила себе сапоги выше колен и стреляла из ружья, если без этого никак.

— Он не такое абсолютное совершенство, как кажется, — дополнил Охотник. — У него совсем отсутствует чувство страха, а это иногда создает проблемы.

Пес снова посмотрел на него — с нежностью и — противоречиво прозвучавшему — оттенком робости, встречающейся, как я сама убедилась позднее, у аристократов собачьего рода, действительно не боящихся ничего — кроме как обидеть человека, которого любят.

— Удивительные они, собаки, — сказал Охотник. — Никогда не пойму их. Я не стою его любви.

— Не стоит, — подтвердил Григорий.

К тому времени он сидел рядом с Охотником, ближе к окну — так, как только можно сидеть привычно. Они, все трое: назвавшийся сэром Томасом, Григорий и Тэди — были у себя дома, это неулловимо считывалось.

Самовар между тем запел, закипел, убрали трубу, закрыли окно — оно тут же тронулось каплями изнутри. Рассказали: Тэди живет в Лермонтове с Григорием, который заботится о нем, выводит на те самые десятикилометровые прогулки, а Охотник приезжает нечасто и ненадолго, но когда он приезжает, пес относится к нему, как к хозяину.

— Словно меня нет и не было, — засмеялся Григорий.

Маму Тэди в столичную (столица осталась безымянной) квартиру сэра Томаса привел случай — ее хозяин внезапно, в несколько часов уехал посреди лета, и не подвернулось никого, кроме сэра Томаса, не уезжавшего на лето из города, хотя жил он в коммунальной квартире и прежде имел дело только с кошками. Собственно, сначала речь шла о двух-трех днях, но история затянулась.

Григорий встал, чтобы помочь перенести со стола горячий тяжелый самовар, а Захар, изменник, как-то незаметно просочился на его место. Охотник выложил на стол то, что было в его карманах и висело на нем: фляжку, спички, бинокль, походную сумку, и Захар стал все рассматривать и трогать. Когда лег на стол патрон-

таш, он и к нему потянулся — и тогда охотник опустил патронташ себе на колени, а Захару, еще порывшись в кармане и не прерывая разговора, вложил в руку использованный патрон.

У Охотника была с собой и записная книжка, выглядевшая так, как выглядят любимые записные книжки, то есть одновременно аккуратная и потрепанная. Ее он вскоре убрал, а остальное осталось на столе.

Я понимала Захара. Мне тоже стало уютно, когда они пришли — мягкая сила вошла в дом вместе с ними, изменила пространство и время; словно бы смылось все лишнее, словно все остальное погрузилось в сумерки, а мы все собрались у костра, и бесконечный лес окружал нас. В тех местах легко было это себе представить.

Безотчетное доверие ощущала я к ним троим — даже к Григорию, похожее на доверие самой силе жизни, которое появляется весной.

Не так было с Галей. Она рвалась в бой:

— А все-таки, как Вас зовут?

— Мое имя Вам, — он слегка подчеркнул это «Вам», — ничего не скажет.

— Я не могу находиться в обществе человека, о котором ничего не знаю, — в Галином голосе звучали раздражение и вызов. Женщина из музея заволновалась, взметнулась, как птица, умоляюще сложила руки, но охотник остановил ее улыбкой и полуприподнятой ладонью.

— Кто Вы? — допытывалась Галя.

— Охотник, — ласково пропела забежавшая в комнату тетя Паша.

— Охотник, — подтвердил Охотник, задумавшись на несколько секунд. Галю затрясло от возмущения:

— Что такое охотник?

Сэр Томас пожал плечами — иначе, чем это делают обычно, своеобразно, иронично. Очертилась морщинка над бровью. Он снял очки и снова одел и снял, — не поднимая лица, и только затем произнес:

— Человек охотящийся... натуралист по призванию... человек, осмелюсь, рискованный...

— Лишенный сантиментов, — добавил Григорий.

— Да-да, — подтвердил сэр Томас, — оправдывающий жестокость в степени, в какой ее требует борьба за жизнь.

— Я вот, например, не знаю, чем охотник отличается от разбойника, грабителя, — бросила Галя.

— Можно и так посмотреть на вещи, — согласился Охотник. — Охотиться можно и на самого себя, но я, разумеется, претендую на большее.

Потом он повернулся ко мне:

— Вы, конечно, читаете Паустовского... или будете читать. А знаете, что сказал Гоголь Лермонтову? «Заклинаю Вас — берегите свою юность». Так у Паустовского в «Разливах рек».

Он помолчал.

— Но верьте не всему. Не верьте рассказу Паустовского о Лермонтове и старом слуге, том, что после смерти Лермонтова доживал свой век в этих самых комнатах. Верьте скупому на слова Прозину... даже Меликову. И не читайте «Уланшу». Не читали?

— Нет, — сказала я.

— Я читала, — заметила Галя.

— Не сомневаюсь, — голос Охотника, почти не изменившись, стал отчужденным. Он снова повернулся ко мне:

— Бряд ли разговор Гоголя с Лермонтовым достовернее разговора Лермонтова со слугой... однако есть слова, меняющие мир и минуты, когда человек способен произнести их.

Книга с «Разливами рек» (зелено-голубая матерчатая обложка, золотая веточка) стояла дома на моей полке, но я не вполне поняла сэра Томаса, и он напомнил рассказ, в котором влюбленный в Марию Щербатову, нежный к старому солдату и нищей девочке Лермонтов груб со своим слугой, «дядькой» из Тархан.

— Верьте Прозину, — повторил, — доктору Прозину, спустя двадцать шесть лет после дуэли заставшего в Тарханах слепого старика, преданного Лермонтову душой и телом. Вольный человек, он остался в усадьбе ради одной памяти. Верьте Андроникову — записывал со слов живущих здесь. Пройдите по селу, поговорите сами: услышите не о дерзком и ироничном, но задумчивом и кротком, о том, кто раздавал свои вещи крестьянам и плакал, разделяя чужое горе. Возможно, скажут Вам, что был он не от мира сего, не хозяин, не удержал бы в руках имения. Только с равными был он строгим.

— Все-таки не удивительно ли, — продолжил Охотник после паузы, — что можно вот так, — приобняв Захара, он потянулся к бревенчатой стене и коснулся ее ладонью, — дотронуться до того времени.

— Не все бревна заменили, — закивала головой музейная служащая.

– А новые впитали в себя отраженную энергию, – сказал кто-то еще. Не Охотник – но Охотник согласился с этим, и Галя тут же напала на него:

– Вы буддист?

– Нет, – отозвался Охотник спокойно, – я не буддист. Иногда я жалею, что не буддист, но я не буддист.

13. «Давайте угадаю»

Голубизна влилась в законное золото. Исполдволь, за хлопотами – накормили Тэди, внесли еще лавку и накрыли на стол, – незаметно для меня самой и, полагаю, остальных, – сэр Томас расспросил меня о литературном конкурсе, приведшем нас в Тарханы. Недолгого своего рассказа не помню – но в нем, видимо, прозвучало определившее последующее.

– Давайте я угадаю, – негромко сказал сэр Томас, – насколько Ваш отец старше вас. Пятьдесят четыре?

Папе шел пятьдесят второй, когда я родилась. Я назвала цифру, и сэр Томас засмеялся:

– Почти угадал.

Наверное, были вопросы и ответы, позволившие Охотнику ориентироваться во временном пространстве с легкостью опытного доктора, разгадывающего симптомы классических инфекций, но они стерлись, осталось ощущение таинства, волшебства.

– О, – улыбнулся он на мое удивление, – мой был старше меня на шестьдесят два... он успел повоевать в Южной Африке против Англии... Прежде, чем дойдете до моих лет, сможете так же. Это несложно... Некоторые вещи станут для Вас очевидны, как оттенки неба или разница между запахами весны и осени. Трудно другое. Не предскажу как скоро, но, возможно, очень скоро Вы станете воспринимать ровесниками людей много старше Вас. Как только Вы привыкните к этому, они начнут уходить... Но потом Вам откроется целый мир тех, кто от Вас уже никогда не уйдет.

Заодно выяснилось, что у нас обоих в детстве была долгая история с антибиотиками, и мы оба не ходили в школу. Об этом я точно не говорила сэру Томасу.

– Это тоже просто, – заметил он как о разумеющемся, – как одна мимоза узнает другую?

Он читал во мне, как в открытой книге – словно он понял меня до первого своего вопроса ко мне, до первого произнесенного мной слова, а разговор просто доставлял ему дополнительное

удовольствие. Не уверена, что озвучила ему свои стихи — хотя могла это сделать; во всяком случае, если кому-то тогда я и читала их, это мог быть только он. Впрочем, исключая сравнение с мимозой, его пронизательность не была неприятной.

— Плата за великолепие протяженности, богатство пространства и событий, возможность владеть веками, — продолжил сэр Томас. — Вдумайтесь: за время, отделившее меня от отца, поднялось три поколения, в Вашем случае — два с половиной... Мой отец пришел в этот мир с поколением Миссионеров, а я, минуя Потерянное и Великое, — в поколение Молчащих... А Ваш отец, конечно же, принадлежит к Великому.

— Вы же, — он немного помолчал, — переступили через Мое и прошли по границе двух других, — Послевоенного, когда рождалось множество детей, хотя о детях не думали, и Поколения, которое все еще приходит в этот мир... но переступить поколение — все равно что переступить закон, вам такое, наверное, пока не приходило в голову? Мы оба невольные преступники... мы виновны тем, что миновали законы эволюции, не дали потрудиться биологической машине воспроизводства. Ветхий Завет говорит, что такие вещи были делом обычным в древности, но тут мы опять подходим к Закону... Возможно, платой за доступность исторического пространства окажется не только слабое здоровье, но и не долгая жизнь.

— Я не понимаю Вас, — сказала Галя.

— Этого и не нужно, — отозвался охотник, как мне показалось, с теплотой и даже чуть — единственный раз за вечер — виновато, — это лишнее для Вас.

Женщины из музея замерли где-то рядом, не перебивая, не задавая вопросов, как бы даже почти не существуя.

— Проблема в том, что мы вышли из спирали раньше или позже, чем виток сделал круг, хотя Круг все-таки смыкается. Мой отец ближе к Вам. В Вас я узнаю не столько себя, сколько своего отца. Вы оба пророки, провидцы, а я художник, зодчий.

— Теперь я не понимаю, — сказала я.

— Поймете, — ответил он, — это также очень просто.

Он встал, вдруг показавшись мне очень высоким, достал из портфеля, притаившегося в этой же комнате, распечатку на желтоватой бумаге — бледный латинский шрифт с русскими пометками синей ручкой поверх.

— Еще не опубликовано, — заметил, — но опубликуют... Вот: Вы пришли в поколение Пророков, но до Пробуждения... Вам дано Видеть, но Пробуждение придет за Вами. Смотрите: Подъем-Пробуждение-Спад-Кризис соответствует архетипам Пророк-Стран-

ник-Герой-Художник... Символы, конечно, весьма условны, но в них зерно здравого смысла. Эпоха обращается к определенному набору ценностей в людях одной возрастной группы, пробуждая их на уровне инстинкта, неосознанно. Энергия волны, ощущение единства важны для продолжения спирали. Так было и, видимо, так будет... У каждого из Кругов, в свою очередь, свое предназначение...

— Как сын своего отца, — в его голосе неразделимо прозвучали то ли печаль, то ли торжество, — я должен был родиться Рыцарем, Странником, но пришел в поколение Компромисса.

— А мой отец?

— О, Ваш — Герой... Так вот, в условной цепочке архетипов Пророк — Странник — Герой — Художник — я должен быть сыном Вашего отца, а Вы — моим ребенком, причем не первым. Мы оба выпадем из энергии нормальной эволюции, позволяем себе предосудительную роскошь смотреть на нее со стороны. Мы вроде не отпавших хвостов или жабер... С Вами еще сложнее. Цикл «Великой силы», — Вы, надо полагать, еще не однажды столкнетесь с этим термином, — начинается моим отцом и кончается мной. Следующий начинается с Вас.

— Никому не дано знать заранее, что придет — тем более в Ваше Космическое Время, — продолжил он, неторопливо выделяя интонацией слова, которые я пишу здесь с большой буквы. — Но, скорее всего, будут соблюдены основные Законы... если Вам окажется отпущено достаточно, Вы своими глазами увидите идущие за Вами Пробуждение и Спад, вряд ли — Кризис... Все же, выиграв время, Вы вошли в эту реальность на грани поколений, у Вас определенно есть шанс встретиться с тем, что удивит Вас.

— То Вы охотник, то художник, — как бы про себя проворчала Галя, — сами не пугаетесь?

— Нет, — покачал головой Охотник. — Это примерно одно и то же.

Чай пах дымом, сосновыми шишками, земляничным листом.

Не сразу вспоминается, что было на столе. Подождите, всплывает: мужчинам нарезали хлеба и сала, подали кашу. Краснеют на столе помидоры, мерцают рыжики. Рыжики, да: заговорили о них в собственном соку, недавно засыпанных солью и уже готовых. Охотники были голодны. Они ели как вежливые, но сильно проголодавшиеся люди, в которых аппетит преобладает над вежливостью. Вспоминаются бутерброды, которые охотники принесли с собой с охоты и пахнущие русской печкой позавчерашние печенья. Необычным казалось угощать кашей, а между тем ее особенно хвалили.

Мне не хотелось есть. Чай же был как летний лесной воздух, и я пила чашку за чашкой. А утки не успели к столу, хотя вскоре их запах смешался с запахами ванили и хлеба.

Время расслоилось, разлилось по нескольким руслам и потекло с разной скоростью (в одном — с обычной, в другом — замедлившись, в третьем — ускорившись, в четвертом — как-то еще иначе по отношению к первым трем), с разной степенью эластичности и конечности.

В обыкновенном измерении все продолжалось ровно столько, сколько нужно, чтобы приготовить булочки на дрожжах: разжечь печь, согреть опару и дать ей дойти, замесить тесто и поставить его подниматься, слепить булочки, дать подняться и им, прежде чем отправить в печь. Двадцать минут, полчаса, часа полтора-два, сорок минут и время в печи.

Любое входящее в человеческий мозг с течением времени теряет четкость, обрастает неверными деталями, становится сумеречным, сомнительным, двусмысленным. И скалы выветриваются, уязвимая же плоть хранителя памяти ближе к облаку, нежели чем к камню. Даже воспроизводя фрагменты событий более-менее честно, сознание тусует их, складывая в собственную мозаику, снабжает витраж прихотливой подсветкой, отходя от истинной картины. Но что есть истина?

Почему так хорошо сохранились детали, будто бы бесполезные? Голубой бидон с молоком: его принесли из деревни перед тем, как пришли охотники. На теплом молоке тетя Паша ставила опару. Смешанное с дрожжами и мукой, молоко пошло пузырьками, продырявилось, поднялось. До сих пор зачем-то отчетливо помню эти пузырьки и — сита, которыми просеивали муку, и упругое мягкое тесто. Туманнее — деревянная ступа в комнате, такая большая, что в нее мог бы поместиться ребенок лет пяти. Русская печь в углу: возле нее под потолок на полати поднималась лесенка. Мы зашли в комнату с русской печью с Галей — еще совсем светло, все в ярких желто-оранжевых солнечных пятнах, Галя ахает вокруг ступы. Коробочки с маком и сухие, узкие ванильные стручки с зернышками внутри. Я взялась помочь очистить стручок и острым краем порезала палец.

Из-за пореза я и оказалась там, куда они пришли, увидела их, еще идущих мимо окон.

Оттенки синевы за окнами — последнее золото, голубизна начала сумерек, спокойный синий цикорий оборачивается сжимающим сердце чернильным васильком — до сих пор помню так хоро-

шо, что смогла бы, наверное, подобрать к ним краски на бумаге. По градации сгущающейся синевы выстраиваю свой рассказ; фразы цепляются к колеру.

Пламя керосиновой лампы отражалось в насыщенной, но еще прозрачной колокольчиковой синеве окна. Убрали со стола все, кроме чая и этой лампы. Была и обычная электрическая лампа, но имелась только одна розетка. Не сразу поняла, для чего нужен магнитофон.

— Профессия, видите ли, — Охотник картавил сильнее, когда говорил быстро и, видимо, волновался, — в этом — не буквально... Можно быть поэтом и провидцем, или не быть поэтом, но быть провидцем ... Герою не обязательно родиться Сизифом, — можно поднимать в гору камни, будучи инженером... мужество и смелость не привязаны к ремеслу. Страннику не безусловно становиться путешественником, возможно, это даже противопоказано. По моему наблюдению, больше всего странников среди писателей, не так часто покидающих дома.

— Вот мой отец много путешествовал, — морщинка над бровью сэра Томаса сложилась треугольником, — подолгу жил в Германии, Норвегии, Италии, Индонезии, руководил экспедициями на Северных морях и кафедрой в Фергане, — а Странником не был. Воевал — по случайности, по молодости... А я бы поехал в Англию, против которой он сражался, — если бы это было возможно и особенно если бы был еще жив Честертон. Отец мой родился между Золотым и Серебряным веком, опередил Блока и пережил его... и даже не заметил этого. Опередил и пережил Сталина, что также прошло мимо него.

— Представьте, — повернулся он лично ко мне, как — видимо — единственной в комнате, кто не был в курсе, но мог заинтересоваться, — жил при Чехове, Льве Толстом, Вячеславе Иванове, Бальмонте, Мережковском, — и ничего о них не знал, погружался умом и душой в морские раковины и простейшие организмы... Но, должно быть, благодаря одной и той же силе я ищу в поэзии то, что он искал в глубинах океана.

— И тут мы, — сэр Томас дотронулся рукой до лица, — обо мне. Художник, зодчий, мастеровой, Человек Создающий не всегда творит именно материальные картины или возводит дома материальные... Но чем бы я не занимался, я — мастеровой по сути... часто подмастерье, нередко — декоратор... Иногда, — сэр Томас поклонился в Галину сторону, — способен на один-два удачных выстрела. Художник, повторяю, всегда охотник...

— Что же общего у океана и поэзии? — спросила Галя тихо, и, может быть, впервые за вечер беззлобно.

— О, многое. Но Вы ведь спрашиваете конкретно, Вы задали трудный вопрос. Проще всего, но и вернее всего назвать это тем, что стоит за красотой и пробуждает желание понимать ее.

— А мама? — спросила я.

— О, мама, — по лицу сэра Томаса словно пробежало быстрое световое пятно, — он снял очки и, протирая их, улыбнулся в стол новую, хорошей улыбкой, посмотрел на меня и снова посмотрел в себя, и снова — на меня, — мама — дом... она биолог, как и отец... очень любит животных, хотя и несколько абстрактно... но много важнее, что нас с отцом она любила не абстрактно, благодаря ей отец имел возможность не заметить все то, чего он не замечал.

— Возможно, она чуть слишком резкая и твердая, — добавил он, — но мы оба выжили благодаря ей.

— Мы одно время жили на Востоке, — продолжил он, — это отчасти оттуда... Там не говорят о дорогом. Не следует, что я люблю ее меньше. Но Вы вызываете у меня желание рассказать Вам о моем отце, не о маме.

Тут женщина из музея нагнулась ко мне и едва слышно попросила дать возможность сэру Томасу попить чаю. И я подумала — вот странно: я отмечала его жесты, заметила, как низко он наклоняется над едой и что его рука чуть-чуть дрожит, и что сидит он, положив одну руку на стол, а другую держит на коленях. Но только теперь увидела, что, действительно, давно уже перед ним не начатая чашка чая.

14. «Приди ко мне, любезный друг, Под сень черемух и акаций»

Когда я вышла на крыльцо, стемнело настолько, что различалось только небо — все еще синее над черными деревьями. Высоко над усадьбой висел тоненький серпик месяца, почти ничего не освещавший; при желании можно было домыслить силуэты кленов на поляне, но барский дом и церковь не угадывались совсем.

К ночи проявился сильный запах йода. Листва шуршала возле крыльца, как прибор невидимой большой воды. Иногда особенно набегал ветер, и листья бились у самого крыльца так, как если бы на удочку клюнула большая рыба.

Не только время — реальность мерцала, пульсировала. Словно ее можно было написать на любой лад, стереть, переписать заново.

Заваленное листвою крыльцо казалось старой лодкой. Листва на нем была черной и плотной, как каменная смола, а дальше — темнота постепенно становилась прозрачной — легкой, чуть обведенной по краю серебром.

Мне давно уже было легко. Казалось — можно оттолкнуться от флигеля и поплыть через парк, а может быть и вместе с флигелем, плавучим домиком. Скорее плавучий дом, чем просто лодка у крыльца. Я ощутила нежность к тем, кто был в нем.

Скрипнула дверь. Хрустнул листик рядом со мной. Мягкое висячее ухо коснулось моей руки. До сих пор помню, какое было оно наощупь: шелковая жесткая шерсть, под нею податливая теплота. Тэди стоял рядом так запросто, словно меня и не было, и неподвижно смотрел вглубь вновь сгущающейся черноты.

Мы вместе вошли в дом. Зашли в комнату с печкой, где уже поднимались на двух противнях сырые ванильные булочки, понюхали их и вернулись в теплую комнату. Там все еще пили чай. Шел разговор о похожих на спираль истории спиралях ДНК, о моде и литературных образах, отражающих философию Цикла.

— Привел? — спросили у Теди.

Оказывается, его послали за мной.

Я тоже попросила чаю и устроилась на прежнем, первом месте — скамеечке у стены, не за столом. Теди вопросительно посмотрел на сэра Томаса.

— Садись, — кивнул тот ему. Тэди сел слева от меня, ближе к лавке, где сидел Охотник, привалился ко мне боком. Он только выглядел легким, а был тяжелый и теплый. Его голова чуть поднималась над моим плечом, глаза в полумраке отсвечивали гранатовым, а шуба все еще пахла озерной водой. Хотелось оттолкнуть его за то, что не сам, а по команде пришел ко мне, но я не находила для этого сил.

Сидящие на скамье перед нами раздвинулись, одна из работниц музея пересела к нам с Тэди — образовалось что-то вроде полукольца. Будто бы сам по себе дрожал в черноте окна рыжий огонек лампы.

Сохранялось ощущение плывущего по озеру домика. Но когда я закрывала глаза, картинка менялась: с Охотником и Тэди мы шли по осеннему лугу; слова Охотника звучали так привычно, словно уже много раз так ходили. Иногда кто-то еще появлялся рядом, добавлялся в разговор. Говорили сразу о нескольких вещах: о застенчивости русской природы и русской архитектуры, об

образовании, о призвании художника, о живом слове. Пробую нащупать слова сквозь переливающийся всполохами полумрак — красновато-рыжий, темно-золотой, коричневый.

Должно быть, речь шла о русском человеке и созданной им неповторимой и уже неповторяемой красоте — но запомнилась застенчивость. Ни русскую природу, ни, особенно, русскую архитектуру я тогда еще не считала застенчивыми. Охотник возразил горячо: не европейская сдержанность, холодноватая и продуманная, не скрывающая восточная чувственность: прекрасная скромностью...

Так сказал он о допетровской архитектуре — о старых русских городах, о том, что ненавязчивая русская красота — приветливая и целомудренная — неосмысленно и безжалостно стирается временем, в котором мне предстоит жить, что небрежное отношение к старине хуже атомной бомбы, направленной на себя. Я к тому времени уже немного знала Москву и полюбила ее, однако говорил он большей частью о ней, разрушаемой не имеющими лиц новостройками.

Он говорил, что деревянная и каменная вязь русских домов и дворцов много сложнее и тоньше западной, и без восточной замысловато-приторной, жесткой сладости — особенно деревянные русские дома и башенки нежны и облачны... дымятся, вот-вот и поднимутся в небо... И в русской природе есть это — робость, дикость... нежность. Ласковая замкнутость на себя. Достоинство без угодливости, без европейской благопристойности... другого рода, не мещанское... Ограниченность в хорошем смысле.

— Не бывает ограниченности в хорошем смысле, — раздалось из Галиного угла.

— Бывает, — ответил сэр Томас, как даже мне показалось, излишне резко — и добавил, смягчая интонацию, — ограниченность — синоним чистоты... Круг, в который не впускается лишнее.

— Русская архитектура, — повернулся он ко мне и той музейной женщине, что сидела теперь возле нас с Тэди, — вежлива. Две ее обязательные особенности: то, что обозначим как такт и ненавязчивость и — облачность... И великая внутренняя свобода, непонятная западу. Запад — ум, соединенный с математикой дух... В культуре русской дух соединяется с душой, не выставяющей себя напоказ.

— Важное в русской архитектуре, — добавил он, — а для архитектуры в итоге это наиболее важное, — ее абсолютная пристойность, повторюсь ... новые здания — на Арбате, например, — непристойны...

— И образование тут не в помощь — оно, случается, подсказывает тебе твою настоящую дорогу, когда несколько поздно что-то менять, — сэр Томас вернулся к теме поколений, отзываясь на чью-то реплику. — Можно не иметь образования, например, быть плотником... или сыном плотника...

— Он был биологом, — снова говорил он о своем отце, взглядывая в мою сторону, — Вы только планируете им стать — Вы можете стать кем угодно, дело не в этом: вы по сути Пророки, а я Художник, зодчий... вы видите, я создаю... так мы распределены.

— Суть в передаче, отражении, — говорил он о Художниках, — а также в том, что Отражающий не знает, не может знать, каким будет результат и сколько в конкретном случае отразится от объекта и от него самого. Но наиглавнейшее — держаться фарватера, не берегов... А это и трудно, и губельно, и единственно легко.

Он говорил эти вещи немного иначе. Мое собственное сегодняшнее отражение рождается из тогдашнего понимания; в то время и в тот вечер особенно я в большей степени ощущала некоторые вещи, чем понимала их. Так, ощущала: одною фразой говорил он разное для меня и для сотрудниц музея.

Последнее не обижало. Также чувствовала: он видит и мою досаду на Тэди, и что я глажу его украдкой. Чувствовала — ему почему-то нравилось, что от разговора отвлекаюсь на собаку. Под его взглядом сквозь большие стекла очков я словно одновременно была и его ровесником, и ребенком (пусть большим, красивым и умным) — что почему-то тоже не было обидно.

— А Лермонтов, — спросила я, тоже все еще думая о Пророках, Странниках, Героях и Художниках, — кто он?

— Поколение Пробуждения, разумеется, — отозвался сэр Томас. — У него много названий: Поколение Реформаторов, Трансцендентное, Эра добрых чувств — оттенок немного разнится в каждом круге... Лермонтов, как мой отец и Вы — Пророк.

— Впрочем, — добавил он тут же, — теория эта очень условна, не придавайте ей фундаментального значения. И простите меня: я люблю такого рода игрушки, имею слабость к классификациям... Но это всего лишь тема для беседы за ужином. Временные границы циклов, к тому же, размыты для разных культур. Если же о серьезном серьезно, почитайте Шпенглера про души культур... Однако и Шпенглер небезупречен: хотим мы или не хотим, энергетика старых культур захватывает всю планету.

Говорилось также — трудно разделить темы на говорящих, но тон, конечно, задавал сэр Томас — о том, что цивилизация по Шпенглеру не расцвет, но итог культуры, ее конец; об искусстве

как о познании, догадке... не доказательстве, но свидетельстве. О противоположном науке шифре, часто неузнаваемом самим отражающим, о заключенной в символ, букву стихии... Об осторожности к слову, которое может стать судьбой... О чудесной незавершенности жизни. О том, что невозможно познать Бога и не ослепнуть, а жить дальше, здесь и сейчас.

И снова о слове, живом слове — «вначале было Слово» — которое и Слово, и Огонь, и Глина.

— Однажды Миша Лермонтов вылепил из воска охотника с собакой, — как бы между делом обронил Охотник, — и вот мы здесь... мы не могли не появиться.

— А Вы спускались к пруду по акациевой аллее? — тут же обратился он ко мне. — Старые черные акации... им больше ста лет — хотя, должно быть, это уже состарившаяся поросль прежних кустов... весной они цветут желтым, пчел там весной едва ли не больше, чем цветов... кое-где и древние черемухи сохранились... При жизни Лермонтова в конце аллеи у пруда была беседка. Помните «Пир»?

Приди ко мне, любезный друг,
Под сень черемух и акаций,
Чтоб разделить святой досуг
В объятьях мира, муз и граций.
Не мясо тучного тельца,
Не фрукты Греции счастливой
Увидишь ты; не мед, не пиво
Блеснут в стакане пришлеца;
Но за столом любимца Феба
Пирует дружба...

Не Вас ли позвал 15-летний Лермонтов? И Вы тоже здесь, — засмеялся.

— А Феб?

— Феб сияющий, или Аполлон — сын Зевса, бог света и поэзии, покровитель искусств и науки, хранитель законов и стад... прорицатель и врачеватель, приносящий радость и возвращающий гармонию... Ревнивый, как все греческие боги... терпящий и тем более любящий немногих. Без ложной скромности юный Лермонтов сказал Вам о своем таланте и одиночестве...

— Будто сватаете ее, — проворчала Галя, — не поздно ли.

— Отнюдь, — сверкнув глазами, но уже учтиво отозвался сэр Томас.

Вдруг все замолчали. В наступившей тишине потрескивала внутри себя лампа. Мягко шуршала магнитофонная лента в большом двухкассетном магнитофоне. Тяжело прокричала за окном ночная птица.

У порога стояли огромные валенки — они, когда я села на скамеечку, достали мне до середины плеча. По одну сторону от меня устроился Тэди, по другую громоздились эти валенки. Они прикрывали мышиную нору. В свое время мышь вылезла из норы, обошла валенки, села, обвела всех нас быстрым взглядом, и, приносиваясь, уставилась на сидевших за столом.

— Кыш, — сказала ей Галя.

Мышь повела носом, передернула плечами, но не ушла.

— Непуганая, — одобрительно заметили с половины стола охотников.

— На что у вас собака, — буркнула Галя. Охотники засмеялись.

— Собака у нас на мышей не натаскана, — пояснил Григорий.

Тэди понял, что говорят о нем. Он посмотрел на мышь, потом на Галю.

Галя стала озираться в поисках метательного оружия.

— Уйди от греха подальше, — шепнула мышке женщина из музея, сидевшая на чем-то тоже невысоком по другую сторону от валенок. Но мышь не уходила, а Галя не унималась, и тогда женщина передвинула валенок так, чтобы загородить ее. Галя и тогда не сразу успокоилась, перечисляя методы, которыми мышь можно поймать и притом немедленно.

— Бесперспективное дело, — примирительно сказал Григорий, — их здесь тысячи.

— Две тысячи на одном гектаре, если условия благоприятствуют, — уточнил сэр Томас.

— Абсолютно благоприятствуют, — заверил Григорий.

Из-за умоляющих взглядов наших хозяек диалог свернули, и только сэр Томас добавил уже бесстрастно, что мышь и собака — древнейшие проводники души в загробный мир. Но их назначения различны: мышь обозначает путь, собака сопровождает душу и охраняет границу миров и сокровища потустороннего мира. И древние египтяне, и греки, и зароастрийцы, и кельты, и славяне были едины в отношении к собаке как к существу, приближенному к богу.

Заговорили о божествах Древнего Египта и Греции, о мертвых реках, лодках и лодочниках, перевозящих души, об Анубисе, присутствующем при взвешивании сердец... о собаках, сопровождающих богов охоты у греков и кельтов, о солнечном боге древних

славян, превращающемся в крылатого пса; о текстах священных зароастрийских книг, о главах «Авесты» в переводе Бальмонта... о том, что согласно «Авесте», сам Господь входит в дом вместе с собакой и нельзя отказывать собаке в крове и пище. Кормя собаку, живые насыщают души умерших. Так, будто бы, происходит сразу после заката, но тяжкий грех — не кормить собаку и ради нее самой или кормить плохо и небрежно.

— Обратите внимание, — негромко продолжил сэр Томас, — в любом мифе роль собаки совершенно ясна... о мыши мы не можем сказать того же. Собака пристрастна: она не умеет быть объективной, она всегда на чьей-то стороне... о чем думает мышь, не знает никто. Собака остается собой, мышь способна обернуться человеческой душой, и, видимо, не только ею... душа может вернуться на землю в образе мыши — для мыши нет преград между царствами. А знаете? Восточные славяне называли Млечный путь «мышинной тропкой» — по нему души уходили на небо.

Сэр Томас помолчал.

— Хорошо здесь — время отстоялось и стало прозрачным.

15. «Тебе принес я в умиление...»

Хотя больше всего в тот вечер говорили о Лермонтовском Демоне, обойду здесь значительную часть этого предмета.

Не только потому, что мотив Демона выбивается из настоящей повести объемом и стилем; не только потому, что чем дальше, тем необратимее первая половина 19-го века, биография Михаила Юрьевича, история «Демона» и Тарханы 80-х обрастают современностью, требующей новых ремарок. Тема не была простой лично для меня и в те нежные годы, когда Демон Лермонтова уже существовал, а Врубелевский, сидящий, еще не различался в наборе мазков, и позднее, за пару лет до Тархан, когда появился Блоковский Демон.

Теперь Демон Блока побледнел, Лермонтовский по-прежнему ясен, но Блоковский такая же неизменяемая часть моих собственных души и разума, как и пришедшее в Тарханах. Тут для подробностей больше подошли бы психоанализ и религия, но ограничимся стилем.

Я долго откладывала повесть, снова и снова переживая золотую зыбь тарханских парков, собственное совпадение с 19-м веком, запахи старого дерева, дыма и хлеба, тембр голоса Охотника,

ритм его речи, густеющую синеву за стенами флигеля, шелканье о лампу неспешных октябрьских мотыльков и все другое, и Тэди, конечно.

Тэди, независимый, нежный, прекрасный; ни одно из его качеств не перевешивало, но существовало в гармонии. Уже прозвучало про шерсть цвета горячей листвы, легко, должно быть, теряющуюся в октябрьских лесах; это так, но октябрьская листва имеет множество оттенков: Тэди был то, что ближе всего к цвету красного дерева, наиболее яркой и дорогой его разновидности. Его тугая кожа не образовывала складок, обязательных даже для молодого подтянутого лабрадора: шерсть, кожа, под нею горячие мышцы, ни грамма жира.

Обняв его сверху, я просунула ладонь туда, где билось его сердце, ощущая ритмичные, быстрые, спокойные удары. Он сидел, вдавившись в меня, но все будто меня не замечая. И слова сэра Томаса — а может быть, это сказал Григорий — о том, что мы с Тэди образуем треугольник с наклонной гипотенузой в виде Тэди, не утоляли горьковатого чувства ревности.

Знаю: поставишь точку — закроется дорога. Можно создавать литературу иначе, но другими секретами мастерства я не владею энергетически. Вообще или теперь? Будто бы прежде бывало иначе: накануне юности сочиняла долгую фантастическую повесть о девушке, сконструировавшей звездолет и улетевшей на нем с земли. В отличие от поздних, рожденных реальностью вещей, могу вернуться в то пространство — в несовершенное устройство звездолета, к разноцветным меняющимся звездам за иллюминатором, в шум механизма, похожий на шум дождя, к автопилоту, появившемуся после посещения одной из планет, — его природа до сих пор неясна мне самой.

Как бы то ни было, оставляю за собой сладкую возможность чистого белого листа, продолжения.

Но пренебречь Демоном и на этих страницах возможно лишь до некоторой степени. Вызванный к жизни упоминанием, он пролетал над темными парками, шелест его крыльев сливался с криком ночной птицы; он заглядывал в окно поверх отражения лампы, его беспокойный взгляд то и дело касался кого-то из нас. И, безусловно, он был с нами в раскачиваемой дрожащими тенями бревенчатой комнате, когда говорили о свободе и о том, что одна жестокость рождает другую, и о девочке, в которую был влюблен Лермонтов на десятом году жизни.

— Возможно, только ее он и любил по-настоящему, — негромко и неожиданно произнес сэр Томас.

Когда Галя, припоминая других адресатов, бросилась ему возражать, не споря с нею, сэр Томас прикрыл глаза и прочитал — наизусть:

— «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?... Это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так».

Приоткрыл глаза, продолжил:

— «И так рано!.. эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум...»

Пояснил:

— 1830-й, запись в ночь на 8 июля.

— На 16-м году, — ответил на Галин вопрос.

— Ну, знаете ли, на 16-м году...

— Больше шести десятых его жизни. Годом раньше он начал «Демона» — действие развернулось там, где шестью годами раньше состоялась встреча... «Горы кавказские для меня священны...»

Он повернулся в нашу сторону.

— Тебе принес я в умиление

Молитву тихую любви,

Земное первое мученье

И слезы первые мои.

— Помните? — спросил.

— Я тот, которому внимала

Ты в полуночной тишине,

Чья мысль душе твоей шептала,

Чью грусть ты смутно отгадала,

Чей образ видела во сне.

Я тот, чей взор надежду губит;

Я тот, кого никто не любит;

Я бич рабов моих земных,

Я царь познания и свободы,

Я враг небес, я зло природы,

И, видишь, — я у ног твоих!

Тебе принес я в умиление...

— Вы знаете много стихотворений, — сказала Галя с новой, уважительной интонацией, не без зависти, — Вы, должно быть, действительно много читаете.

— Нет, — отозвался сэр Томас, — читаю я мало, если Вы о художественном... Видите ли, мне трудно читать то, что мне трудно читать... Но встречаются строки, которые сами собой остаются.

— Однако, — сказал сэр Томас, — я заставляю себя читать современников тех, кого мне читать легко. Чаще всего не без труда.

Я видела: чем дальше, тем больше, разговаривая с ней, он старается быть понятным. Он принял нас обеих в свою компанию, в их компанию и не собирался осложнять ей удовольствие, которое она могла бы получить от этого места, от осени, от близости Лермонтова.

Галя поджала губы — ей показалось, что он смеется над нею. Но он не смеялся.

— Вот завтра поедем в Апалиху., — сказал он для нее и для меня тоже. Не помню, при чем была Апалиха, да это и не важно.

Возможно, все сложилось бы иначе, если бы я вмешалась — но жаль было тратить время на глупости. Мир чудесно сузился и в то же стал огромным и бесконечным, и все шло как нужно, все было надежно и крепко, и я была частью этого мира — голосом Охотника, трепетом керосиновой лампы, деревьями, смыкающимися высоко в небе над старым флигелем, теплым собачьим боком, вечностью и тишиной. Собственно, по отдельности меня уже и не существовало.

Голоса сливались с негромкими домашними звуками, с законными шорохами. Музейная служительница, сидевшая рядом с Галей, напомнила: в 16 лет, в том же 1830-м, Лермонтов написал «Предсказание»: «Настанет год, России черный год...». Кто-то добавил, что «Демона» Лермонтов писал 10 лет — с 1829 по 1839 года: больше трети своей жизни, и Демон вырослел вместе с ним.

Заговорили о том, что впервые поэму напечатали в Германии, не в России, что версии «Демона» перепутались, и никто не знает, какая последняя, «правильная». Об иллюстрациях к «Герою нашего времени» и «Демонах» Врубеля — и о том сидящем, написанном мастихином, который в детстве казался мне неоконченной мозаикой. Когда же он проступил из мазков, я не сразу впустила его в свою душу, хотя позднее приняла в нем все: и розовое, и синее, и меня перестали пугать его мускулы и похожее на кристаллы цветы. Я как раз представляла себе его и думала о его детских — их детскость мне открылась за пределами собственного детства — губах, усталости и взгляде, обращенном в прошлое, когда Охотник спросил, как я ощущаю Демона.

— Как притяжение, — выплывая на поверхность, подбирала слова. — Сила, с которой трудно бороться... и я, кажется, и не хочу борьбы.

— Даешь себя сломать, — прокомментировала Галя.

— Не так, — ответила я ей. — Дотронуться...

— Понимаю Вас, — сказал Охотник, — понять через ощущение. И энергия, конечно... а какая энергия, какая сила.

Говорили о Демоне и Тамаре, и кто-то пристрастно спрашивал меня, что я стала бы делать на месте Тамары. Даже приблизительно не смогу передать своего ответа. Помню то свое переживание Демона, как это вылилось в слова — не помню. Меня остановил Охотник:

— Но неужели Вам совсем не жалко жениха?

— О, — смутилась я, — о нем я как-то не подумала.

Все, кроме Гали, засмеялись — и музейные женщины, и Григорий, и зашедший погреться Иван Иванович, и Охотник. Тут же он сказал мне ободряюще:

— Это ничего. Вы начали Вашу историю сразу с демона, но был еще жених... впрочем, пройдет время, и Вам разонравится жестокость... А вот скажите — Печорин нравится Вам?

Мне, конечно, нравился Печорин.

— А Грушницкий?

Грушницкий не нравился.

Дальше разговор принял странноватый характер — сидевшая возле Гали женщина из музея, бросив на меня взгляд, значения которого я не вполне поняла, заступилась за Грушницкого, а Печорина назвала соблазнителем и подлецом. Она строила фразы в форме вопросов. «Безобидный, в общем, человек, убили — не жалко?»

Какое-то время рассуждали о том, что есть соблазн; затем она произнесла:

— А Вы в принципе способны испытывать жалость?

К тому времени я начала различать их — первую, со светлыми, собранными в пучок волосами (светловолосая суежилась с магнитофоном и просила дать возможность Охотнику вышить чаю) и вторую, спрашивающую теперь. У второй волосы были темнее, она распустила их вечером, опустив на плечи, и подкрасила губы. Когда она говорила, возле уголков ее рта собирались тонкие складки.

Я считала, что в принципе способна — мне жалко и Печорина, и Беллу, и Мэри, и старика, которого Печорин не обнял, и Веру, и мужа Веры...

— А кого больше? — спросил кто-то, не она.

— Меньше всего Грушницкого, — сказала я. И снова засмеялись музейные, но Охотник не смеялся, и не засмеялась та, которая спрашивала. Она сказала мне, уже не вопросом, что я далека от реальности.

— В реальности, — сказала я, — убили Печорина.

— Пытаюсь понять, — продолжила женщина с морщинками у рта, — Ваше поколение. Вашу мораль... Вы довольно оригинальные вещи говорили о Демоне... А что Вы думаете о диалоге бога и павшего ангела? В чем, по-вашему, трагедия Демона?

— В любви бессмертного к смертной, — ответила я ей, опуская первый вопрос. Я не люблю такие разговоры, но мне показалось, что я должна что-то сказать.

— Это было бы слишком просто.

— Это совсем не просто, — мягко возразил Охотник.

— Действительно, — добавил он, — для нее это окончилось лучше, чем для него.

— Для нее, — добавил, — окончилось. Для него не конец — как и для нас...

Зажгли электрический свет, но еще говорили о поэзии: что она в большей степени форма познания, чем форма выражения — в первую очередь для автора; что написать хорошее стихотворение не так трудно, как собственно быть поэтом, что сама поэзия — особенное бытие, одиночество... Читатель, знаю: все это не ново... наверное, тогда это звучало как-то иначе — отзвуком Демона, полета, неуспокоенности и бесконечного, неизмеримого одиночества.

Григорий достал сигареты и встал, и поднялся Охотник «заодно подышать свежим воздухом». Его просили одеться — вдруг оказалось, что он в одной рубашке, а когда он встал, снова стало заметно, что он сутулится и чуть наклоняет голову. Он взялся рукой за грудь, и музейная светловолосая женщина, оказавшая рядом, всполошилась:

— Сергей Сергеевич! Ваше лекарство, в прошлый раз оставили.

— Не волнуйтесь, — ответил он, заулыбавшись заботе, — я просто засиделся...

— Заодно посмотрим, как устроиться, — добавил.

В дверях весело обсуждали: Григорий любит спать на полотах, сэр Томас — на мешках-матрасах, набитых сухой травой, прямо на полу — как в тот раз, когда комната еще была пустой, только матрасы поверх брошенного на пол брезента; скошенное с клевером и донником сено сквозь мешковину пахло солнцем. На чердаке флигеля и теперь лежали мешки с травами уже этого года — сейчас их снимут. А немного раньше можно было спать прямо на чердаке.

Захар склонился к полатам, а я сразу решила, что мне тоже понравится спать на травяных матрасах, на полу. Нет, — засмея-

лись, — для вас составим вместе лавки, и вот кровать сейчас принесут... уже пошли за кроватью.

Мужчины вышли, прихватив с собой Ивана Ивановича, а музейные женщины обе — и светленькая, и темноволосая — заулыбались и словно бы снова стали одинаковыми.

— Как хорошо, — радовались, — собирались ведь в село... неизвестно, когда бы еще...

Пришла тетя Паша и тоже обрадовалась, и уже планировали, какие лакомства будут завтра и где их готовить.

— Мы, вижу, тут лишние, — хмуро сказала Галя.

— Не говорите так! — воскликнула светленькая.

— Не лишние, — поддержала темноволосая. — Вот и они остаются ради вас... у них были другие планы.

Светловолосая все еще возилась у магнитофона — перебирала кассеты, подписывала их. Не меняя интонации и лица, Галя спросила:

— Что Вы записываете? Неужели это все?

Светловолосая смутилась. Ей, видимо, ничего не хотелось объяснять. Галя, свирепо пробурчав о нашем безразличии к тому, какие планы бывают у некоторых людей, объявила, что мы не останемся.

— Бросьте, — сказала темноволосая.

— Утро вечера мудренее, — по-доброму добавила тетя Паша, — устали... шутка ли: дорога, весь день без отдыха... завтра на все посмотрите другими глазами. Вам Апалиху покажут...

Больше всех забеспокоилась светловолосая. Стала объяснять: с великим человеком столкнула нас судьба, редкая удача — такая встреча.

— Чем же так он знаменит, если даже имени своего не сообщает? — буркнула Галя.

— О, — воскликнула светловолосая, не замечая — или будто не замечая — Галиного тона. — Он многое: философ, филолог, литературовед, историк культуры...

— Какой же он филолог, если не читает, — вставила Галина.

— Нет-нет, он очень начитанный человек, глубочайшей эрудиции, — начала светловолосая; Галя перебила ее:

— Когда так много, это ни о чем. Вот если, например, человек поэт... — она выдержала красноречивую паузу («как мы», — вставлялось в нее невольное).

— Он и поэт, — сказала светленькая, — это, возможно, главное в нем, он поэт и переводчик, читает и говорит на многих языках... Он большой человек...

– Больше Лермонтова? – отозвалась Галя в том смысле, что здесь, в усадьбе, как-то неприлично говорить о других, а особенно – о несерьезных поэтах.

– Кто знает, – сказала светленькая, – быть может, больше. Вы еще услышите о нем, – он наверняка станет академиком... ..

– Он уже мог им быть, – заметила вторая.

Перепапка не произвела на меня ровно никакого впечатления – кроме имени: я запомнила его. Что же до остального, Охотник был таким, что действительно мог оказаться кем угодно. Но мне не было важно, кто он где-то еще. Вообще говоря, сильнее меня тронуло, что Тэди не пошел на крыльцо с Охотником, оставшись возле меня. Он следил взглядом за говорящими и не мешал мне трепать его уши. Галина не унималась:

– Больше Пушкина?

– Это, простите, не корректно, – взволнованно сказал кто-то из них, музейных, – но кто знает... кто знает, сколько кто успеет... не современникам сравнивать. Возможно, Вы будете гордиться только тем, что однажды Вам так невозможно повезло.

– Именно некорректно! – вспыхнула Галя. Она буквально загорелась, пошла алыми пятнами по лицу, горячими даже в свете лампы. Она вспомнила, что сегодня у нас в гостинице запланирована встреча со школьниками, приглашенными на восемь вечера.

– Уже девять, – сказали ей.

– Но нужно позвонить, – не согласилась Галина. – Извиниться.

Дальше все произошло как в сюрреалистическом фильме или плохом сне. Во флигеле, рядом с комнатой, где пили чай, обнаружился прямой областной телефон. Галя набрала пензенскую гостиницу: школьники действительно собрались к восьми и все еще ждут.

Все это по-прежнему меня не задевало, – долгая дорога и черные ночные леса защищали нас от Пензы. Ночь увеличивала расстояние, делала его беспредельным, невозможным.

Между тем вызвали Ивана Ивановича. Наш автобус к этому часу хотя и был «в принципе не до конца на ходу», но в состоянии «не худшем, чем обычно». И, кстати (некстати), прямую дорогу почти открыли – завтра к обеду, должно быть, дойдут до поворота на Тарханы.

– Можем, – задумался Иван Иванович, – поехать послезавтра.

Галя не утихала и снова звонила в Пензу, и вот уже в заповедник позвонили из Пензы, и – один раз я сама взяла трубку – просили не волноваться: какую-то записку кому-то не передали, но

старшеклассники согласны и дальше ждать, и прийти в другой день. Словом, лишняя суета.

В облаке холодного воздуха в комнату зашли охотники. Увлеченные завтрашним походом в Апалиху (уже и договорились с кем-то об этом), не тотчас прониклись обстановкой; Галина и для них произнесла спич об отъезде.

— Не умно, — сказал Григорий, — ехать в ночь.

— Вы тоже поэт? — спросила его Галя.

Григорий посмотрел на нее внимательно, проговорил тихо:

— Если мы вас стесняем, уйдем. Поможем устроиться и уйдем.

Оставайтесь.

Сэр Томас молчал.

Галя снова позвонила в Пензу:

— Мы тут застряли. Не пришлете машину за нами?

— Отвезу я вас, — крикнул Иван Иванович. — Не срамите.

Галя сказала, что подождет на улице.

Знаете: так дети играют с огнем. Все будто понарошку, а спички неожиданно настоящие. Галина вышла. Музейные женщины выбежали вслед за ней. Иван Иванович еще мешкался, собирался, сморкался. Посмотрел на меня и сказал, что, может быть, автобус и не заведется.

Облаком опустилось на меня чувство нереальности. Казалось — что-то должно произойти, не можем мы просто так уехать отсюда. Ощущение нереальности мешало сосредоточиться, что-то сделать.

За столом охотник что-то рассовывал по карманам. Я тоже опустила руки в карманы и нашла там ластик, украденный для меня Захаром. Достала его, посмотрела на Захара. Захар сделал вид, что не замечает ничего особенного. Я выложила ластик на стол рядом с Охотником, объяснив его происхождение.

— Не обижайте молодого человека, — негромко возмутился Охотник, — заберите. И, кстати, вот еще.

Он приподнялся и достал из кармана такой же ластик, только не новый, а косо стертый с одного края, положил рядом с первым.

— Прекрасные ластики здесь, — объяснил. — Они вымачивают их сначала в авиационном керосине, потом в чем-то еще, чтобы убрать запах — а в чем, не говорят. Давно уже сам собирался совершить набег на эту усадьбу, запастись такими ластиками.

Я стояла у стола и тупо смотрела на ластики, и тогда он положил мне их в карман, оба.

— Пойдёмте, — сказал. — Вдруг и правда этот автобус не заведется. Он на самом деле иногда не заводится. Но холодно там, — добавил.

Замешкался возле вешалки, проводя руками вдоль висящей на ней одежды: чья-то куртка, дождевик, ватные телогрейки, большое черное мужское пальто. Взял пальто.

Мы вышли на улицу, и там, не сразу — успела ощутить холод так резко, как если бы голышом вошла в ледяную воду — набросил пальто мне на плечи поверх плаща. Оно было шерстяное, длинное до щиколоток, и пахло травой, высохшей на солнце. Травинки торчали из него и кололись.

16. Хруст звезд

Не сразу понимаю, где ожидали мы Ивана Ивановича — хотя довольно хорошо помню план усадьбы. Полагаю, обошли дом ключника и остановились с противоположной парку стороны, ближе к озеру. К озеру же выходила из флигеля и еще одна неприметная дверь, откуда позднее вынесли теплую одежду и булочки. Это была самая близкая точка, чтобы пройти к автобусу, если он заведется, но нашли нас не сразу. Охотник, видимо, к последнему и не стремился.

То место — при том, что уже представляю его географически — странным образом осталось в памяти садом: сознание наделило его скрытыми темной древесиной, плоды с которых, должно быть, уже собрали, но еще цвели цветы, среди упавшей листвы вилась тропинка, таились укромные уголки. Возможно, луч фонарика выхватил какую-нибудь случайную яблоню или вишню, или куст смородины. Неровно лежала на склоне клумба, бегло запомнившаяся с раннего вечера и более подходящая частным владениям, чем музею — островки крокусов, разноцветные астры, хризантемы, гелениум, золотые шары и, наверное, георгины, которые не поспешили выкопать до холодов. Может быть, спуск к воде тогда ограничивал штaketник, или скрип какого-нибудь старого дерева прозвучал калиткой, приоткрывшейся вниз, откуда слышался нерешительный плеск.

Еще более вероятно, к образу добавился сад, о котором рассказывал Охотник. Нарисованное его словом впоследствии приобрело привычку материализовываться, и когда я вспоминала тот вечер, сам по себе длинный, как несколько недель, к нему добавлялись и представленные картинки, и сад, которого там не было.

Но все же где-то он был, он мог существовать в любом месте, на любой широте, где воздух способен опуститься до нуля или чуть ниже. Ибо было холодно. Пока мы шли, трава хрустела под нашими ногами, в свете фонарика вспыхивал ломкий иней, а наши рты окружали облака пара.

Но вот мы пришли, Охотник погасил фонарик; темнота и звезды окружили нас. Бесконечные, они словно сети опоясывали небо, над сетью сеть, и еще, и еще. Они опускались до горизонта, смешивались с неяркими огоньками сельских изб в тех немногих местах, где между деревьями проступало село.

Читатель, казалось ли тебе хотя бы иногда, что звезды иначе светят над разными мирами? Одни и те же созвездия неодинаковы в горах и над морем, разнятся над разными городами. Впервые я ощутила это в шесть лет, в летних Саках: сияющие низкие крымские светила отражали не только теплые, пахнущие туями южные ночи, но и глубины моря, которого я еще не видела — с дельфинами, рыбами, медузами и раковинами, и утренние розы, которыми был богат небольшой городок. А будто бы тоже южные звезды над Винницей были другие — ласковые, печальные, шепчущие о почти угадываемом и все-таки неуловимом... Не существует общих южных звезд, или северных, или западных, или восточных. Зеленоватые, вздрагивающие звезды Каспия не похожи на золотые, пряные, тяжелые и очень спокойные средиземноморские, а прозрачные, как колотый хрусталь, прибалтийские — на чуть слишком городские, чуть слишком академические ленинградские. Самые отстраненные и строгие звезды — над Восточной зимней Сибирью... самые космические — когда сам Космос спускается к тебе, и что-то в тебе поворачивается навстречу ему и становится иным — серебряные звезды Хакасии; самые яркие и тревожные, кричащие, буквально сводящие с ума — над Чимганом.

Не продолжаю списка, читатель; лишь хотела сказать, что у каждой местности — свое звездное лицо. Но никогда небо не открывалось так, как в Тарханах.

Усадьба стояла совсем темная (в музее имелся прожектор, но без необходимости его не включали), луна ушла. Ничто не мешало звездному свету. Хорошо был виден Млечный Путь, различалось, что звезды белые, желтые, голубые, золотисто-алые и темно-красные. Они блестели глубоко и одновременно туманно, и небо казалось дымящимся и очень высоким.

С каждой минутой оно сгущалось, а звезды лепились так плотно, так много их было, что небу было тесно, и взгляду было тесно; а звезды все прибывали, как искры среди разгорающегося

пожара. Слезились глаза, как от дыма, лучи вытягивались в нити. Метеориты то чертили длинные тонкие линии, то стекали каплями, рождаясь из невидимой точки, утолщаясь и замирая перед тем как погаснуть.

В Тарханах особенно сильно вернулось ко мне обретенное в шесть лет у Черного моря: звезды не просто отражают — подобно облакам — мир, над которым горят, но впитывают его в себя и отвечают ему. И знают о нас больше, чем мы сами о себе.

Не думала о Лермонтове, не вспомнила короткое, великое — «И звезда с звездой говорит» — но будто сами далекие солнца, миллиарды лет назад коснувшиеся лучами нашей Земли, дотянулись до меня, случаем попавшую под лучи, ответом. Многие из них, наверное, погасли в древности или недавно, а сияние лилось и звучало надеждой и печалью.

— Чувствуете, как Земля откликается на звездный свет? — негромко сказал Охотник, и я тотчас ощутила, как из недр темной земли, из ее глубин словно поднимается гул.

До того он молчал, и, наверное, смотрел на меня, — чуть поблескивали его очки. Неподалеку от нас неярко алело окно флигеля.

— Такое небо, — сказал он, — можно увидеть только осенью и в центральной России.

— В детстве, — его голос улыбался светло и немного печально, в тон звездному свету, — отец взял меня осенью в подмосковную деревню. Должно быть, тоже стоял октябрь, с дневным теплом и ночными заморозками. Как-то поздно вечером или, скорее, ночью мы вышли в сад — изморозь покрывала землю, травинки ломались под ногами, шелестели и позвякивали, ломались льдинки в дождевой бочке — а мне казалось, что это звезды так звенят и хрустят.

Он помолчал.

— До сих пор так иногда кажется.

Отворилась дверь с изнанки флигеля, выбежала к нам светловолосая служительница.

— Вот где вы спрятались, — произнесла она, задыхаясь. В руках у нее был целый ворох одежды: ватник, дождевик, одеяло.

— Что же Вы делаете! — говорила она Охотнику и неловко пыталась укутать его чем-то из той кучи, которую держала в руках. Обратилась ко мне, извиняясь голосом:

— Он недавно болел... он как ребенок.

Только тогда, как прежде, с чашкой чая, я увидела, что Охотника бьет крупная дрожь. В остальном он не вел себя как человек, которому холодно.

— Не волнуйтесь, — сказал он светловолосой, — осенний холод полезен.

Однако взял из ее рук одеяло, завернулся в него.

— Спасибо, Наташа, — сказал чуть дрогнувшим голосом.

Когда она ушла, продолжил:

— Мне пришлось прожить в Питере несколько месяцев в самом начале моего отрочества. Я влюбился в город, в его архитектуру со всей силой страсти, на которую оказался способен. Когда стало должно его покинуть, это было трагедией, которую я едва пережил... Хрустящие звезды — они случились уже после — примирили меня с Подмосковьем и Москвой. Я вдруг понял, что они — и есть моя родина.

И, без перехода, положил руку на плечо Захара, который — затрудняюсь сказать с какого момента — стоял рядом с нами, запрокинув голову:

— Смотрите: Млечный путь сегодня — как река. А Кассиопея прямо над нами... Вот: в Млечном Пути различается английская «дубль В» — наша перевернутая «М». Незаходящая звезда Северного Полушария. Обречена кружиться вокруг Северного Полюса, привязанная к креслу... переворачиваясь вниз головой.

— За что с ней так? — спросил Захар.

— Похвасталась не ко времени, а боги, как уже было замечено, ревнивы... греческие особенно. А вот Полярная Звезда между Кассиопеей и Большой Медведицей.

— Полярную знаю, — живо отозвался Захар, — нужно продлить заднюю стенку ковша и умножить расстояние стенки на пять.

Прошел мимо с фонариком Иван Иванович, известив немного чересчур бесстрастным голосом, что автобус на ходу и что из Пензы звонили в местную автоинспекцию, обещали содействие на дороге. Галя появилась и тоже говорила о какой-то ерунде. Пришла тетя Паша, вздыхала огорченно: булочки готовы. Кажется, в ее глазах стояли слезы. Зажгли во всех окнах свет, вынесли целый поднос дымящихся булочек, завернутых, чтобы не остыли, в полотенца — они и сквозь полотенца пахли ванилью. Галя, отнекиваясь — «ой, неудобно» — подставляла свои сумки и держала раскрытым какой-то местный матерчатый мешок с ручками, пото-

му что все булочки в ее сумки не поместились; потом оказалось, что мешок еще можно дополнить и второй поднос выносили. Галя обещала вернуть и полотенца, и местные сумки. Грели чай в дорожку, заливали в термос; понесли термос и булочки к автобусу. Когда снова стало тихо, я ощутила в своей руке влажный собачий нос.

Тэди, неотчетливый в темноте, сидел возле меня.

— Он все время был рядом, — сказал Охотник. — Вы ему понравились, но он стесняется.

— Не верится, что уезжаем, — словно со стороны, услышала я свой голос. — Мне кажется, что здесь я дома.

— Вы здесь дома, — подтвердил Охотник.

— И у меня это место рождает чувство дома, — добавил.

— И у меня, — Захар снова оказался рядом.

— Может показаться странным, — чуть слышно произнес Охотник, — что говорю такое в наш век нарастающей потери здравомыслия... впрочем, человечество никогда не страдало его избытком, а Вы поймете в итоге... Не полагайтесь на разум.

Он помолчал.

— Не слишком полагайтесь на разум, он — не все.

— И еще, — добавил совсем тихо, — не примеряйте красные башмачки.

— Сказка Андерсена, — пояснил Захару уже обычно, — Вам, мой юный друг, она пока ни к чему... Собственно, сказка очень старая, еще ранее записанная братьями Гримм, — продолжал уже для меня, — но мы только о ее интерпретации Хансом Андерсеном... Вот интересно: впервые Андерсен ее записал примерно тогда же, когда Лермонтов заканчивал Демона. Должно быть, в воздухе тогда витало что-то такое.

— Будто бы о том же, и все же о другом, — он замолчал и снова звучал его негромкий голос, спокойный, с характерным ритмом — поднимающийся вверх и снижающийся до глухоты, — Демон Лермонтова о вечной женственности, о неслучившемся утешении... как знать — немного больше любви — и он мог бы спастись... но я об инстинкте самосохранения. В Вас есть то же, что в андерсеновской девочке — я, простите, собаку съел на таких вещах... кожей чувствую.

Звали к автобусу, Иван Иванович прибежал за нами, и я стала вспоминать, где моя сумка — а Иван Иванович сказал, что вещи мои уже за протокой. Шли по каким-то прерывающимся тропкам,

фонарики Ивана Ивановича и Охотника выхватывали из черноты листья, тончайшие, ломкие паутинные нити, утиные перья. Еще чего-то ждали у мостков.

— Жалко: замечательные туманы по утрам теперь, не увидите — сказал Охотник — иначе, чем о красных башмачках. — А раньше здесь утром пели птицы... когда придут настоящие заморозки, они вернуться.

Он заговорил о синицах и других, осенних птицах, которые прилетят в усадьбу в конце октября взамен улетевшим на юг. Дальше, не останавливаясь, — о свойствах света, энергии, о том, что ее невозможно подделать, о материальности электромагнитного излучения ... о необходимости защищать духовный мир, о том, что прежде существовало понятие своего круга... о том, что для всего свой час. Напоследок успел сказать Захару, что Кассиопея будет кружиться над нами всю дорогу.

Потом мы перебирались через протоку, а Сергей Сергеевич светил нам под ноги, на мостки. Мы перешли, и я обернулась, и он помахал нам фонариком, а потом опустил его вниз, на Тэди, а Тэди зажмурился от света.

Сумка моя действительно стояла за протокой, в заледенелой траве, возле других, матерчатых сумок, набитых гостинцами — из них выпирали большая банка с рыжиками, мешок сушеных подберезовиков, варенье из лесных ягод, какая-то книга или рукопись. Нас проводили так, как если бы мы уезжали из деревни от родственников. Все это, кроме моей сумки, Галя потащила к дороге, к автобусу с включенными фарами, отдуваясь и отчитывая меня:

— Я бы еще поняла тебя, если бы молодой, но старик, зачем тебе старик? Я все видела, если бы молодой, — говорила она, — как ты подлаживалась к нему через собаку, и как он тебя одевал.

В те годы я обладала утраченной впоследствии особенностью не слышать лишнее, а в тот вечер мне было наиболее все равно. Все же мы как-то слишком долго шли к автобусу, и что-то из свирепого Галиного тарыхтеня пробилось ко мне.

— Какую цель ты ставишь, — вопрошала она, — зачем ты гладишь эту собаку? Зачем хочешь понравиться этому... сумасшедшему Томасу? Зачем тебе был нужен этот конкурс? Зачем ты сюда поехала?

И подводила итоги:

— Ты не стремишься оказаться впереди. В тебе нет спортивного духа. Ты никуда не стремишься, тебе просто везет...

Сам понимаешь, читатель, я не спрашивала, зачем она поехала в Тарханы. Но, должно быть, что-то сказала в ответ, — скорее

всего, что никакой цели у меня действительно нет, или что поэзия не спорт, и Галина совершенно уже завелась и не могла остановиться даже когда Иван Иванович, разглядев очередное количество сумок, прибежал на помощь.

Она не умолкала и в автобусе, изрыгая что-то уже в адрес Охотника — так неприязненно и горько, словно он тяжело ее обидел.

— Ладно Вам, — не выдержал Иван Иванович, — сами не знаете, что говорите.

Перед тем, как завести двигатель, вздохнул:

— Сказочный человек.

ПОЭЗИЯ

ВЛАДИМИР КИРЮХИН

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКОВ

А. С. ПУШКИНА

Нельзя судить по зову сердца
О людях и делах друзей.
В их мысли нам закрыта дверца,
И не найти окошка в ней.
О людях думай всё плохое,
А ошибёшься – радость втрое.
Не верь словам, всё презирай
И никому не доверяй.
От неприятностей ты будешь
И ограждён, и уведён,
Да от страстей дурных спасён.
Наветы злые не забудешь.
На всё взглянёшь со стороны.
Сочтёшь все правды и вины.

Будь холоден всегда, со всеми.
Как фамильярность нам вредит –
С начальством будешь ты не в теме,
Директор дерзость не простит.
Не панибратствуй с тем, кто выше,
Подвал всегда далёк от крыши.
Унизят, сбросят, так и знай.
Не лебези, не угождай.
Не жди от высших одолжений.
Всего достигнешь в нужный срок.
От руководства будь далёк
И не протри своих коленей.
Поможет вряд ли кто тебе –
Все люди мыслят о себе.

Все покровителей желают,
Но ты подачек избегай.
Кто сверху, те порабощают
И унижают. Не зевай.
Живи, обиды не прощая,

Больных и старых навещая.
Слова – враги и палачи.
Поменьше говори. Молчи.
Не отвечай на оскорбленье,
А всё продумай, осознай
И оскорбившему воздай.
А позже выпей в утешенье.
Учись лишений не скрывать –
И так всё люди будут знать.

И. А. ГОНЧАРОВА

В мыслях заплетаюсь
И в делах не первый.
Совершу и каюсь.
Дамы – чаще стервы.

Жизнь нас вынуждает
Плакать и смеяться.
Так и подмывает
Одному остаться.

Сам с собой бы ладил,
Думал, отдыхая.
Чтоб никто не гадил
Сверху, пролетая.

Чтоб комар не пикнул,
Пёс не лаял где-то.
Чтоб никто не шикнул
Ни зимой, ни летом.

Вот бы я валялся,
Выпивал и кушал,
Ленью наслаждался,
Не тираня душу.

Не спешил на службу,
Землю не засеял.
Не водил бы дружбу,
Ссору не затеял.

Пролетит неделька,
А за ней – другая.
Вылезет петелька
Из такого рая.

Обовьёт змеёю
Шею та верёвка.
Без людей что стою?
И сказать неловко.

Может быть, не поздно
Возвратиться к людям?
Смотрит небо грозно –
Все там, точно, будем.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

В саду несложно заблудиться –
Кусты, кусты, различий нет.
Вот так же молодёжь кустится,
Тогда и ныне, много лет.
Не угадать, что завтра станет –
Война и служба, слёзы дам...
Кого тщеславие обманет
И мысль: «Кто лучше всех? Я – сам».
И пусть она твердит, что любит.
Я вру, что верю и смеюсь.
Излечит время, страсть остудит.
А я уйду, не оглянусь.

Жизнь для души от мук свободна,
Что редкость, как алмаз в меже.
Насмешки сею всенародно, –
Сам надоел себе уже.
Лишь стоит мне в любви признаться,
Так тут же дерзость отпущу.
И не желаю оправдаться.
Гоните прочь. Я не ропщу.

Горяч лишь внешне. В сердце льдина.
Тщеславен, создан для забав.
Так что ж не гонят? Дерзость мимо?
Прощают, ждут. Хоть я не прав.

Нас молодость порой бросает
От лучшей женщины к другой.
Кто, что искать в них заставляет?
Нашёл? Опять кумир не твой.
Насытить гордость – это счастье,
Та цель, которой не достичь.
Жаль, в постоянстве мало страсти.
Приелась каша. Дайте дичь.

Добро и зло. Их всюду пятна.
Похвалят, то оговорят.
Но я не мщу, хоть мог приватно.
В поступках я аристократ.

Устроил чувствам похороны.
Спит зависть где-то в стороне.
В карьере – мелкие препоны.
Мечты болеют в глубине.
То вру, то лъцу, грущу без веры,
Ошибок глупых череда...
Как дальше жить? Ищу примеры
В библейских строках иногда.
Сошлись века, как в перекличке.
Меж нами – долгих двести лет.
Шумит метро. Там мчатся брочки.
Жаль, был дуэльный пистолет.

Л. Н. ТОЛСТОГО

Есть у таланта два плеча, с собой он их несёт, –
Эстетика и этика. Кто пишет, – знает.
Одно плечо чуть выше, так другое вниз ведёт,
И кривобокость сразу явно проступает.

Любовь душе нужнее политических свобод.
И важно, непременно, совершенство нрава.
Всполохов вдохновенья, кропотливости работ
И чувства меры, знаний, веры, силы права.

Бездуховность в европах и гадость,
Однобокость и волчий оскал.
На Руси ждёт последняя радость –
В пьяном виде затеять скандал.

Молчаливым бы стать и корректным, –
Пусть тогда они выкусят все.
Закопаться в стогу неприметном
И умыться в холодной росе.

Избежать бы всех клятв, обещаний,
Про построчный успех позабыть.
И берёзовый лист, самый ранний,
Как невесту свою полюбить.

Лист затерян в берёзовом море.
Синий вечер да пруд в голубом.
Счастья мало. Доступнее горе.
Здесь Россия, и это наш дом.

Утопая в сиреневой дали,
Взбаламошная вышла луна.
Вот последние дни побежали...
А Россия всё та же. Одна.

М. И. ЦВЕТАЕВУ

Девушка нежная, прилюдно
Судьбу мечтала целовать.
Пришлось дерзить и безрассудно
Конфликтовать.

Жить в окружении спесивом.
Любить так страстно, чтоб сгореть.
Всех бередить своим мотивом.
Всё не иметь.

Печально, что друзья средь мёртвых,
Что белый с красным не дружны.
Течений уйма разноразных.
Все не нужны.

Жаль, в мир ворвалась преисподня.
Со счастьем смешана печаль.
Не жалко божьих душ сегодня.
Себя не жаль.

Любовь по крохам. Вера тает.
Как ни шагни – пустой роман.
В парижских модах утопает
Сплошной обман.

Так кто же прав? Тот, кто обижен.
Когда кувшин был перелит?
Под всех поручик стал подстрижен,
И мозг болит.

Шинель сера до безразличий.
Прими, как есть и не злословь.
Смешны все правила приличий.
Права любовь.

Любовь – бессмертная громада.
Блеск, забытьё, большой нарыв.
Ну, а в конце, так небу надо, –
Всегда разрыв.

Люби под маскою из плюша.
Любовь – награда, а не грех.
Излечит и загубит душу.
Люби за всех.

Поэт, порой, в мечтах витает.
Сам впереди, а взгляд – назад.
Отвоевать любовь мечтает
Под листопад.

Стихи не кормят, это поза.
Русь – для детей, не для отцов.
Мы из вчерашнего обоза, –
Не из борцов...



ГОСТЬ "ГОРОДА"

АНДРЕЙ ПЕСТОВ

СЕДЬМОЕ НЕБО

Кое-что случилось тогда со мной. Да, кое-что случилось — полвека назад, в 1968 году.

С ума сойти, с того дня прошло более полвека! Это ведь я сейчас такой старый, потерянный и никчёмный, но вы же понимаете, что так было не всегда. В течение жизни на моё тело и душу налипло с полтонны всякой скверны. На мне висит столько всевозможных грехов, что мне во веки веков не искупить и не отмолить даже малую часть из них. И, разумеется, я давно уже боюсь зеркал, «одиначества в раме говорящего правду стекла», — как их боялся истаскавшийся Дориан Грей.

«...Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?»

А тогда мне было 6 лет, и я был мудр, чист и светел, ибо от Неведомого, из которого мы все вышли и в которое все мы в свой час вернёмся, меня отделяло ещё не так много времени: всего 6 лет с небольшим, плюс те самые 9 месяцев. Как многие малые дети, а также умирающие старики, я определённо ощущал эту хронологическую близость к Сокровенному, как бы мы его не называли: Небытием, Богом, Ничем, Пустотой... Оно ещё было где-то совсем рядом: под, над, слева-справа, где-то неподалёку и позади, и вместе с тем далеко впереди, — так далеко-далеко, что голова шла кругом.

Должно быть, я говорю сейчас весьма странные и малопонятные вещи — непонятные вам, молодым, уткнувшимся в свои гаджеты, отвернувшимся от реальности в тот самый момент, когда был впервые взят в руки смартфон, а в уши плотно вставлены пластмассовые беспроводные беруши. Я не знаю, слышен ли я сейчас сквозь эти ваши преграды, или нет? Мне без разницы. Я всё равно буду говорить то, что должен сказать, независимо от того, услышит ли меня кто-либо, кроме косматого домового за нетопленной печкой моего пустого и гулкого дома.

В общем, тем утром меня разбудил мамин поцелуй:

– Вставай, Дюдя, вставай! Ты не забыл? Сегодня мы с тобой идём на «Седьмое Небо».

Псевдоним «Дюдя» – это был мой собственный, ещё младенческий креатив, призванный фонетически упростить труднопроизносимое для младенца имя «Андрей», где целых три согласных стоят рядом. Кажется, после «мамы», это было второе произнесённое мной слово.

День обещал быть очень тёплым, но дождливым, поэтому на мне были кожаные сандалии на босу ногу: мама знала, что дождевые лужи на меня действуют, как магнит на железо, и я ни за что не обойду на своём пути ни одной из этих восхитительных преград.

Мы вышли на улицу, и я всей грудью втянул в себя волнующий запах лета, дождя и грядущих приключений. Я обожал куда-то ходить вместе с мамой: неважно, куда, надолго ли, и как далеко. Да хоть на край света! Главное, чтобы она была рядом.

На «Седьмое небо» я отправлялся впервые. Это было такое специальное помещение для местных художников, которым надо поработать над большими плакатами, транспарантами или панно. Внешне это место выглядело как односкатный пристрой с огромными панорамными окнами, воздвигнутый на крыше самой обыкновенной кирпичной «хрущёбы». Все знают, что в обычной хрущёвке 5 этажей, но конкретно этот дом, упираясь одним боком в подъём холма, с другой стороны был вынужден отрастить дополнительный нижний этаж. Таким образом, всё сооружение насчитывало семь этажей, – если логово художников на крыше считать за отдельный этаж (и если не принимать во внимание второй подъезд, упиравшийся в холм и имевший поэтому на один этаж меньше). Вероятно, отсюда и название этого богемного бедлама: «Седьмое небо».

На мамино плече болталась холщовая сумка. В ней были свёртки с бутербродами, термос с чаем и кисти. Любой художник знает, что отправляясь работать в чужую мастерскую, обязательно надо брать с собой свои кисти. В чужом творческом вертепе вы найдёте всё, что нужно для работы: любые краски, масляные, гуаши и акварельные, китайскую тушь, растворители, мольберты, подрамники, рулоны ватманской бумаги, замызганные окаменевшими разводами палитры, тупые ножницы и даже мастихины (которые чаще используются художниками не по назначению, а для вскрытия пивных бутылок). Но вы никогда не найдёте там нормальных рабочих кистей. Никогда! В лучшем случае это будут напрочь убитые кисти с облезлыми или окаменевшими от засохшей краски концами. Зная это, мама предусмотрительно прихватила с собой весомый пучок своих кистей: дорогие колонковые и грошковые

беличьи, с большими и малыми перьями, плоские и округлые, «веником» и острые, а также плакатные «лопатки», от самых широких до самых узеньких. И для клея свои особые: малярные из желтой щетины и несколько самоделок с рабочей поверхностью из поролона.

Я взял маму за руку, и мы отправились в путь. Стараясь шагать в ногу с мамой, я время от времени косился на её белые босоножки, но то и дело сбивался с ритма, что заставляло меня то прыгать галопом вперёд, то мелко семенить, как неуклюжая японская гейша.

Спустя недолгое время нам повстречалась какая-то мамина знакомая. К сожалению, женщины любят поболтать, и это всегда большое испытание для любого ребёнка, если он вынужден находиться рядом. Какое-то время я терпеливо ждал завершения их случайного randevu, но потом всё-таки не выдержал и принялся неприметно поддёргивать маму за руку. Мама отвечала мне тем же, а это на нашем языке жестов означало: «потерпи, у нас важный разговор». Как по мне, так их разговор отнюдь не был хоть сколько-нибудь важным: «муж», «дети», «работа», «отпуск» и прочая скучнейшая чепуха. Ни один мальчик в мире не стал бы обсуждать подобный вздор дольше десяти секунд, но взрослые тётки, похоже, устроены иначе. И, похоже, этот их недостаток неискореним во веки веков.

От скуки я принялся бесцельно озираться по сторонам, и внезапно в двух шагах от себя заметил в траве мёртвую мышь, видимо, придушенную кошкой. Я инстинктивно отпрыгнул от неё в сторону, как ошпаренный, хотя я отлично понимал, что эта маленькая покойница не может причинить мне никакого вреда.

Впоследствии меня самого не раз приводило в изумление моё совершенно необъяснимое и иррациональное отношение в детские годы к смерти и мертвецам.

Как-то раз, в палисаднике, под окнами бабушкиного дома, я увидел маленький холмик с воткнутым в него крохотным крестиком из двух веточек. Я спросил у двоюродной сестры, что это такое, и она ответила, что это могилка воробья, которого она нашла мёртвым и со всеми подобающими почестями похоронила накануне. С этой минуты холмик в палисаднике приводил меня в неопишуемый ужас, так что я ещё очень долго обходил это место стороной. Но пережитый мистический ужас ничуть не помешал мне в тот же самый день, за ужином, ковыряться вилкой в жареной курице. Там и там, и на тарелке, и в земле — мёртвая плоть мёртвой птицы. Но тогда почему один мертвец спровоцировал во мне такой животный страх и трепет, а другой покойник, тот, что

был умерщвлён, выпотрошен, изжарен и затем частично оказался на моей тарелке, не вызвал во мне и тени подобных чувств? Вот этого я до сих пор не понимаю! И эта загадка и поныне не даёт мне покоя, поскольку, как мне кажется, за ней могут скрываться ответы на, скажем так, более общие вопросы, относящиеся к смерти и посмертию, а точнее сказать, к нашему восприятию того и другого. Похоже на то, что наше понимание «смерти» изначально деформировано какими-то невообразимо древними, архаичными и едва ли не врождёнными ментальными матрицами, которые не позволяют нам видеть и понимать так называемую «смерть» такой, какая она есть на самом деле. И как же это забавно, что я, будучи тогда ребёнком, в течение одного лишь дня проявившим столь противоречивую двойственность в отношении к этой теме, конечно же, ничуть не уловил никаких взаимоисключающих противоречий, превращающих все наши неизжитые детские страхи в нелепые и смехотворные пережитки, довлеющие над нами всю последующую жизнь.

Наконец мама распрошталась со своей болтливой знакомой, и на этом моя попытка закончилась. Но не успели мы отойти от назойливой тётки и сотни шагов, как на небо надвинулись тяжёлые тучи, грянул гром, и на землю сплошной стеной обрушился дождь — тёплый, как парное молоко.

Мама сбросила с ног босоножки и весело крикнула мне: «Бежим!»

Я стянул с лодыжек, не расстёгивая, свои сандалии, прижал их к груди, и мы побежали вперёд, к спасительной кровле автобусной остановки. Мы бежали во весь дух, босые, насквозь промокшие, визжа от беспричинной радости, перепрыгивая пузырящиеся лужи, с необъяснимо счастливой улыбкой до ушей. (Необъяснимо также и то, почему при воспоминании об ослепительно светлых мгновениях, которых так мало в жизни у каждого, по лицу текут слёзы? Вот как сейчас у меня, например. Кто-нибудь может мне объяснить, почему воспоминание о чём-то хорошем причиняет ровно столько же душевной боли, сколько и память о чём-то плохом?)

Ливень закончился так же неожиданно, как и начался. Мы даже не успели добежать до остановки. На небо вернулось солнце, мокрые листья деревьев вспыхнули алмазными россыпями, и над городом сама собой воздвиглась величественная разноцветная арка.

— Смотри, сынок, радуга! — сказала мама, прижимая меня к себе. Я обнял её, и мы оба замерли, созерцая это небесное знамение, счастливейшее из всех возможных.

Затем мама склонилась надо мной и пригладила, как смогла, мои мокрые волосы.

— Люблю грозу в начале мая, — приговаривала она при этом, — когда весенний, первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом.

Мама знала много стихов наизусть, но вслух читала их редко и лишь тогда, когда они событийно совпадали с происходящим.

— Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит...

Вскоре у остановки притормозил наш автобус. Дверные створки со скрипом раздвинулись, мы вошли и уселись на свободные места. Я оказался зажатым между двух толстых бабок, а мама устроилась напротив меня, рядом с тёткой с огромными котомками. Будучи от природы ребёнком чрезвычайно закрытым и едва ли не аутичным, в присутствии чужих и незнакомых людей я мгновенно окупился, окаменел, замер и молча уставился в окно с самым серьёзным и мрачным видом, какой только можно себе вообразить. Мама, конечно, знала об этих моих психических особенностях или, скажем прямо, «отклонениях», и не упускала случая подразнить меня, маленького «аспергера», и растормошить до состояния обычного нормального ребёнка. Молча глядя прямо на меня, она принялась корчить смешные гримасы — одна скандальнее другой. Я вжал голову в плечи и вперился в окно ещё более напряжённо, всем своим видом показывая, что не имею ровным счётом никакого отношения к происходящему. Между тем соседние тётки с интересом наблюдали за развитием этого представления. И вскоре случилось неизбежное: я схватился ладошками за лицо, в тщётной попытке предотвратить расползание улыбки, — и наконец не выдержал и рассмеялся. Автобусные тётки заулыбались, и одна из них сунула мне в руку карамельку.

Выйдя из автобуса, мы прошли ещё немного пешком, и вскоре перед нами предстал тот самый дом из серого и унылого силикатного кирпича: «Седьмое небо».

Этаж 1

Обшарпанная дверь первого подъезда, того, что был слева, соседствовала с железной дверью в полуподвал, над которым висела облезлая белая вывеска: «ПУНКТ ПРИЁМА СТЕКЛОПОСУДЫ». Возле неё толпились какие-то доходяги с авоськами, полными пустых бутылок. Они обменивали их здесь на мелочь, которая тотчас же пропивалась неподалёку, в неопрятной и вонючей распивочной с неофициальным названием «Бабе горе».

Миновав серую толпу угрюмых алкашей, мы поспешили зайти в тёмный подъезд.

Этаж 2

Нам потребовалось какое-то время, чтобы глаза привыкли к полумраку жутковатой клоаки, в которую мы угодили. Острая вонь человеческой мочи смешалась здесь и переплелась с какой-то опрелой гнилью загадочного происхождения, образуя чрезвычайно выразительную, едкую и почти нестерпимую смесь, от которой щипало глаза. Все лампочки были, конечно же, выкручены или разбиты, и нам пришлось преодолеть первый пролёт бетонной лестницы почти наощупь.

Синяя масляная краска стен, испещрённых похабными петроглифами, на высоте человеческого роста обрывалась и переходила в побелку, также густо осквернённую различными корявыми граффити, в коих местная гопота пыталась выразить свой причудливый внутренний мир. Белила потолка были усеяны чёрными закопченными пятнами, всегда с обугленной спичкой посередине. Это была обычная развлекуха у шпаны тех времён: муслякаешь кончик спички, водишь им по побелке, потом чиркаешь о коробок – и подбрасываешь горящую спичку вверх. Спичка прилипает к потолку и сгорает, образуя кружок или овал чёрной копоти диаметром с яйцо.

Откуда-то сверху послышалось шуршание шлёпанцев. Вскоре мы увидели в конце лестничного пролёта помятого жизнью человека в драных домашних тапках, с двумя большими авоськами, до упора загруженными пустыми бутылками. На его груди цепкой обезьянкой висела маленькая девочка. Меня всегда удивляла способность девочек так прилепиться ко взрослому всеми четырьмя лапками, что им совершенно не требуется никакая дополнительная поддержка или подстраховка. Мальчики так не умеют.

Мы с мамой придвинулись к стене, освобождая проход.

– Спасибо! – сказал человек, не нарочно дыхнув на нас ядрёным перегаром, и прошлёпал мимо нас вниз по лестнице, погромыхивая своей стеклотарой. Девочка проводила меня глазами, а затем зажмурилась и с неподдельной нежностью прижалась головой к отцовскому плечу.

– Солнышко, держись крепче! – прошептал ей отец.

Миновав нас с мамой, он обернулся и зачем-то сказал:

– Вы это самое... Вы так не смотрите, это так было не всегда. У меня, это... У меня жена умерла, вот и забухал, мерзавец. И никак не могу... Не притормаживает никак, – сказал он и в удивлении развёл в стороны руки со своими тяжёлыми позорными сетками. Его небритый подбородок дрогнул, и по помятому лицу пробежала мимолётная скорбная гримаса.

Похоже, мама немного растерялась и потому ответила не сразу.
 — Ничего, это пройдёт... Сочувствую вам... Очень...
 Мама вздохнула, взяла меня за руку, и мы продолжили наше восхождение.

Этаж 3

Я с завистью подумал о девочке. Потому что мой отец никогда не брал меня на руки. Никогда не называл, как её, «солнышком» или как-то ещё. Только «Андрей», и никак иначе. Он вообще едва замечал моё существование. Никогда не гулял и не играл со мной, никогда не тискал, не целовал и не возился со мной, и никогда не пытался чему-либо научить. Никогда ни за что не хвалил, ни за что не ругал и никогда не наказывал, даже тогда, когда это было бы нелишним. Он просто игнорировал моё существование. Я был для него обузой и неизбежным злом, которое приходилось смиренно терпеть. Терпеть ради мамы, прежде всего. Он любил маму, а меня — нет. Если бы я умер или куда-то исчез, он бы только вздохнул с облегчением. Ну, что ж поделать! Насильно мил не будешь. Я всегда сознавал свою неизбежную вину перед отцом: за то, что я родился; за то, что вообще существую.

Так-то он по жизни был неплохой человек. Что называется, «порядочный», то есть, если и не слишком эмпатичный ко всем подряд, но и ни в коем случае не жлоб, не жмот и не домашний тиран. Нормальный дядька он был. С нормальными рефлексами и реакциями на окружающее. И, как выяснилось впоследствии, он воистину умел любить, с большой буквы «Л», как немногие могут. Просто любил он не меня, а маму.

Поначалу я очень тянулся к нему, но, уткнувшись в глухую стену его равнодушия, постепенно остыл, а годам к пяти и сам начал его избегать.

У него была одна особенность, по которой я научился определять силу его раздражения на моё присутствие: иногда он начинал непроизвольно моргать, часто-часто, как будто ему в глаз попала соринка. Когда такое случалось, я старался поглубже забиться куда-нибудь в тёмный угол.

Похоже, его всегда удивляло, когда какие-либо его гости или друзья начинали проявлять ко мне искренний интерес: как такое никчёмное существо, как я, могло быть кому-то интересно?

Как-то раз, когда мне было четыре года, он, сидя за стаканом пива с друзьями, сунул мне в руку пачку болгарских сигарет «Сьлнце» и попросил меня прочесть слово «EXPORT» на ярлычке сверху. Коварство его замысла состояло в том, что он был в

курсе моего незнания латиницы, и потеха заключалась в том, как я выкручусь из этой ситуации.

— Е-хро-ят, — прочёл я по слогам. — Ехроят! Только тут буква «Я» почему-то перевёрнута.

Его друзья пришли в бурный восторг от моих способностей, тогда как он сам, поджав губы, на секунду замер в недоумении, как будто впервые осознав, что само по себе умение читать для четырёхлетнего ребёнка — это уже большая редкость и диковина.

Он часто бывал по работе в командировках, и как же я ликовал, когда узнавал о его предстоящем отъезде! Ведь это означало, что на целую неделю, а то и на две, мы останемся с мамой вдвоём, и мне не придётся делить её любовь с отцом.

Когда же он возвращался домой, я смиренно отступал на второй план, становился прозрачным и невидимым, и мысленно забивался под плинтус. Из своего угла я наблюдал, как отец убирает в чулан геодезическую рейку, теодолит и треногу, как он разбирает свой выцветший брезентовый рюкзак (сапоги-болотники, бесформенный ком грязной одежды, самодельные закидушки, кружка, ложка, складной нож, компас, фонарик, спички и тому подобные замечательные предметы). Улучив минуту, я тишком забирался с головой в его опустевший рюкзак, и с наслаждением вдыхал там, в его таинственной темноте, волнительные запахи лесного мха, хвои и речной рыбы. Свернувшись калачиком, я замирал в этом восхитительном убежище и мечтал о том, что когда-нибудь, когда я вырасту, я тоже буду бродить по лесу с рюкзаком, буду ночевать в палатке и варить уху на костре...

Мои мечтания обычно прерывались тем, что отец в коридорном полумраке запинался за моё тельце, упакованное в рюкзак, и ворчал:

— Интересно, чья это там тушка валяется? Оч-чень даже интересно...

— Это, наверное, какой-то зверок туда забрался, а ты и не заметил, — говорила мама.

— Ну, тогда пускай там и сидит, лишь бы только не обгадился. А мы пока пойдём, поужинаем, что ли...

Когда мамы не стало, отцу было уже под семьдесят. Он полностью замкнулся в себе и практически не выходил из дома. Он запилил и опустил, его день начинался со стакана водки, и им же и заканчивался. Он мог часами напролёт сидеть с маминой фотографией и бесшумно рыдать. «Она была святая!» — едва слышно шептал он, глядя на меня красными зарёванными глазами. Да, папа, ты прав: она была святая. Уж мне ли этого не знать! Ведь я её сын.

От неё во всех направлениях исходило некое невидимое излучение, на котором держался весь наш общий мир: тепло, нежность, покой, забота, любовь... И ещё что-то совершенно неуловимое, но бесценное, чему нет названия, о чём, за неимением нужных слов, невозможно говорить, о чём поневоле приходится молчать... Какой-то алхимический *lucet aeternitatis*... Ох, нет, не то, всё это напыщенный вздор! Речь идёт о вещах настолько таинственных и неуловимых, что о них невозможно говорить, не скатившись в полную чушь или кощунство. Поэтому мне тут надо просто заткнуться.

И всё это чувствовали не только мы с отцом. Это явно не было нашей частной особенностью восприятия. Об этом же нам говорили многие из тех, кто её знал: «ой, какая она у вас!», «чудесная женщина!», «сама любовь!». Поэтому, когда её не стало, мы с ним пережили настоящий библейский апокалипсис: небеса обрушились, солнце погасло, из груди вырвано сердце...

Отец не смог, да и не захотел жить в мире без солнца. Он торопил смерть, чтобы вновь соединиться с мамой, но всё как-то не умиралось. Весь этот ужас длился почти шесть лет. Потом я нашёл его у себя дома уже остывшим: уронив седую голову на грудь, он сидел на полу, со шнуром от утюга на шее, тянущимся от ручки оконной рамы. — «Любовь убивает медленно, и губит людей не спеша...»

Он оставил нам с сестрой трогательную посмертную записку, в которой со всей мыслимой деликатностью всячески извинялся за то, что своим добровольным уходом невольно причинит нам немало житейских хлопот. Рядом с запиской лежал конверт с деньгами на похороны...

Я всей душой надеюсь на то, что его план побега из обездушенного мира вполне удался, и они с мамой действительно встретились вновь, в каком-либо из параллельных миров...

Этаж 4

Чем выше мы поднимались, тем человечнее становились подвездные запахи: гнилая вонь первых этажей по мере нашего восхождения постепенно замещалась на уютные композиции из подгоревшего масла, чеснока и жареной картошки. Время от времени из-за обшарпанных дверей — по четыре на каждый этаж — слышались загадочные шорохи, всякое шебуршание и приглушённые человеческие голоса. В каждой обитаемой ячейке незримо протекала чья-то жизнь, и только хлипкая деревянная дверь с номерком отделяла одну замкнутую на себе вселенную от другой.

Мы с мамой неспешно поднимались по лестнице: ступенька за ступенькой, всё выше и выше, и ничто не предвещало того, что спустя всего пару минут мне предстоит пережить одно из самых ужасающих событий моего детства. – Случайная и спонтанная, но максимально болезненная инициация; низвержение в ад и невыразимая боль.

На одной из ступенек моя нога подвернулась на чём-то скользком, и я довольно сильно ударился коленом.

– Андрюша, осторожно, гляди под ноги, – сказала мама. – Не ушибся? Дай посмотрю...

Мама склонилась над моим коленом и только тут заметила причину случившегося со мной конфуза. На светло-серой поверхности бетонной ступени, на которой споткнулась моя нога, был жирно начертан красной помадой знак сердечка, за которым следовали слова: «Дима К.».

– Дима Кэ, – усмехнулась мама и на секунду замерла, как будто что-то вспомнив. Это уж потом я узнал, что, скорее всего, именно благодаря этому красному сердечку, по которому скользнула подошва моей сандалии, вспомнилось ей одно кичеватое стихотворение вполне реального «Димы К.» – Дмитрия Кедрина, ныне позабытого поэта, но в те годы весьма известного.

– Дивчину пытается казак у плетня:
«Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня?
Я саблей добуду для крали своей
И светлых пехинов, и звонких рублей!»

Наверное, я в этот момент посмотрел на маму снизу вверх и, скорее всего, улыбнулся. Мне нравилось, когда она читала какие-нибудь стихи. Это означало, что на душе у неё хорошо, что вообще всё у неё по жизни хорошо, а значит, и у меня тоже, да и у всей вселенной в целом. *Harmonia sphaerarum*, как сказал бы об этом Парацельс. О да, *symphonia magna*, – добавил бы какой-нибудь Сведенборг, согласно кивая седой головой.

– Дивчина в ответ, заплетая косу:
«Про то мне ворожка гадала в лесу.
Пророчит она: мне полюбится тот,
Кто матери сердце мне в дар принесет.»

После этого четверостишия я насторожился, но ещё не вполне осознал весь ужас прозвучавших слов. Предчувствие грандиозной душевной Катастрофы уже проникло в моё сердце, но её масштабы ещё не были, да и не могли быть до конца мной осознаны.

— «Не надо цехинов, не надо рублей,
Дай сердце мне матери старой твоей.
Я пепел его настою на хмелю,
Настоя напьюсь — и тебя полюблю!»

В глазах у меня потемнело. Я обмяк, и ноги мои подкосились. Я остановился и обеими руками судорожно вцепился в перила, чтобы не упасть. Между тем мама, шедшая впереди меня, ничего этого пока не замечала.

— Казак с того дня замолчал, захмурел,
Борща не хлебал, саламаты не ел.
Клинком разрубил он у матери грудь
И с ношей заветной отправился в путь:
Он сердце ее на цветном рушнике
Коханой приносит в косматой руке.

Я закрыл глаза и медленно сполз на ступени. В моей несчастной голове бесшумно взорвалась атомная бомба в сто килотонн. Я понял, что вот-вот умру... если уже не умер...

— В пути у него помутилось в глазах,
Всходя на крылечко, споткнулся казак.
И матери сердце, упав на порог,
Спросило его: «Не ушибся, сынок?»

На последних словах мама обернулась ко мне и вздрогнула. Я сидел на ступенях, судорожно пытаюсь набрать в лёгкие воздух. Наконец я закричал — или взвыл? — да так громко, отчаянно и протяжно, как, наверное, не кричал, рождаясь на свет.

— Не-ет! Не-ет! Никогда! Я так не... Мама!.. Я никогда!..

Очевидно, я пытался донести до неё, что, несмотря на её сыновство и принадлежность к мужскому полу, я не такой, как тот казак, и скорее умру, чем замыслю подобное ради какой-то мерзкой стервы, какой бы прекрасной она ни была снаружи.

Со мной тогда случилась, несомненно, самая страшная истерика моего детства. Я и много лет спустя не мог толком понять, что же это тогда со мной стряслось? Эмоциональный взрыв чудовищной силы, в считанные секунды разнёсший в клочья достаточно устойчивую психику весьма флегматичного ребёнка, был спровоцирован довольно посредственными лубочными стихами... — По неволе задумаешься над тем, что «настоящая Поэзия» — это далеко не то, в чём нас пытаются убедить «люди с хорошим вкусом».

Это было тяжелейшее испытание и максимально болезненная инициация. Я в те минуты навсегда усвоил, что в мире действительно существуют святыни, ценности и табу, игнорирование которых приводит к катастрофам космических масштабов. Но что даже и в этом случае святыни никуда не деваются и не исчезают, ибо они безначальны и бессмертны: агapé, тепло, мать, живое сердце, верность, понимание, всепрощение, любящее присутствие...

Эти вещи неразрушимы и несокрушимы, несмотря на все наши старания, достойные лучшего применения. И как бы ни был ты холоден, крут и самодостаточен, ты тоже в свой час падёшь ниц, как подкошенный, и вдруг всё поймёшь, и взвоешь, и зальёшься слезами...

Поэтому, кстати, рай невозможен по той же причине, по какой невозможен и ад: никто до конца не простит сам себе свою нечистую жизнь, но именно поэтому никто и не будет отвергнут нашей вселенской Матерью и отлучён от Её любви полностью и навсегда. Похоже, что вечность, какой бы она не виделась нам в наших убогих о ней представлениях, всё-таки более-менее однородна и позитивна для всех, но это всегда милость, и никогда – наша заслуга.

Не помню, сколько времени потребовалось маме на то, чтобы меня успокоить. Думаю всё же, что немало. Кажется, мы довольно долго сидели на ступенях, мама обнимала меня, гладила по лицу, утирая мне слёзы, и говорила мне что-то, чтобы утешить. Она выглядела очень растерянной и виноватой передо мной за свою серьёзную педагогическую ошибку – за эти дурацкие стихи, которые, конечно, не следовало читать шестилетнему ребёнку.

Наконец она сказала:

– Вставай, сынок, нам пора!

Мама взяла меня за руку, помогла встать на ещё нетвёрдые ноги, и мы продолжили наше восхождение.

Этаж 5

Держась за перила, я поплёлся за ней, время от времени икая и всхлипывая, – я ещё не до конца отошёл от пережитого потрясения.

Внезапно сверху послышался шум: дважды хлопнула дверь, кто-то невидимый вскрикнул женским голосом, кто-то мужским голосом зычно чеканил слова.

– Ну, вот, опять та же хрень! Да сколько можно тебе говорить!

– Чё опять я-то? Был бы ты мужик, так давно уж всё исправил бы!

— Тварь тупорылая, ты ведь опять нижних затопишь! Да-да, этот кран тоже закручивай! Да влево крути его, не вправо!

Поднявшись выше, мы увидели, что из-под двери одной из квартир пятого этажа сочится тонюсенький ручеёк.

— Собаку выставь за порог! Чё он тут толкается, боров грёбный! — ругался невидимый жилец.

Дверь приоткрылась, и на лестничную площадку, цокая по бетону загнутыми когтями, вышло чёрное взлохмаченное чудовище — огромная кавказская овчарка со злыми прищуренными глазками.

— Симург, посиди пока тут, малыш! — раздался женский голос, и дверь снова захлопнулась.

Чудовище развалилось у двери, преграждая нам путь наверх. Два жёлтых внимательных глаза неподвижно уставились на нас.

— Какой большой пёсик! Прелесть какая! Ты ведь нас не обидишь, правда? — Мама крепко сжала мою руку и загородила меня собой. — Нам бы как-то наверх пройти... если можно...

Чудище запрокинуло морду вверх и беззвучно показало нам ровные передние зубы. К тому времени я уже знал, что молчащая собака опаснее лающей, а скалящая зубы опаснее молчащей.

Мама попыталась было сделать шаг вперёд, но проклятый чербер тут же сморщил грызло и угрожающе зарычал.

Мама достала из сумки один из наших бутербродов и почтиительно протянула его чудовищу. Монстр заинтересованно повёл носом, принюхался — и одним махом слизнул наше подношение. Сразу же после этого он отвернулся — с точно таким же подчёркнутым равнодушием, какое бывает у советского ГАИшника после того, как провинившийся водила неприметно сунет ему в белую крагу смятую трёшницу.

— Хороший пёсик, умница! — мама сделала шаг вперёд и потянула меня за собой. Мы перешагнули тонкий ручеёк, всё ещё сочившийся из-под обшарпанной двери, и благополучно миновали страшного зверя.

Этаж 6

— Сейчас нам надо взять ключ от мастерской, — сказала мама. — Где тут двадцатая квартира?

Квартира № 17... 18... 19... И ещё одна дверь, без номера, но с двумя дырками от шурупов на двери и контрастной тенью в форме ромба. Методом исключения несложно было определить, что это и есть квартира № 20, где нас ждёт ключ от «Седьмого Неба».

Дверного звонка в безымянную квартиру не было. Вместо него из стены торчали два перекрученных электрических провода, воз-

ле которых виднелась корявая надпись, нацарапанная на дверном косяке: «СТУЧИТЕ, И ВАМ ОТКРОЮТ!».

Из-за двери раздавались звуки музыки: чьи-то не очень умелые и не слишком уверенные в себе пальцы стучали по клавишам пианино, но были вдруг остановлены осипшим прокуренным голосом:

– После си-бемоль держи паузу на пол-такта, а за ней – резкое престо... Ну-ка, давай! Да нет, не ларго, а сразу престо! У тебя что, нынче месячные или просто не выспалась? Да что ж ты сегодня за бестолочь такая! Неужели так сложно с анданте сразу перескочить на престо?

Я тогда не понял и половины услышанных слов. И тем более удивительно, что я их всё-таки запомнил! Есть люди с фотографической памятью, а ещё бывает, видимо, память фонографическая, память на речь, звуки и голоса. Похоже, в детстве она у меня была, поскольку никак иначе это объяснить невозможно.

Мама тихонько постучала в дверь и прислушалась. На секунду всё стихло, а затем мы услышали всё тот же сиплый женский голос:

– Кого нелёгкая несёт в час неурочный, в час тревожный?

Перед нами распахнулась дверь и мы увидели высокую сухую старуху с седыми нечёсаными волосами. От неожиданности и страха я замер и окаменел. Старуха как две капли воды походила на Бабу Ягу из старинной книжки с кровожадными русскими сказками. «Покатаюся-повалюся на Жихаркиных косточках! – Ужо покатайся-повалюся, старая ведьма, дитячьего мясца наедючись!»

– Вы кто? – спросила старуха, строго глядя на нас сверху вниз.

– Луиза Христофоровна, здравствуйте! Извините за беспокойство, мы к вам за ключом от мастерской. От Николая Матвеева. Он должен был вас предупредить.

– Художники? Любимцы муз? Я вам всем кто, консьержка? – воскликнула Баба Яга. – Ключ у меня где-то есть, но надо искать... Проходите! Обувь снимать не нужно, у меня тут мать порядка – анархия.

Мы с мамой зашли в тёмную прихожую и сразу проследовали дальше, на кухню. Краем глаза я успел заметить некую девушку, сидящую за фортепьяно – за открытой дверью в единственную комнату.

На ободранной клеёнке в центре низкого кухонного стола стояла пепельница, заполненная папиросными окурками, а рядом с ней – помятая алюминиевая кружка с чёрным-пречёрным зельем, источающим густой запах обычного чая.

— Дурная лагерная привычка, с утра приходилось чифирить, дабы пробудиться для созидательного труда на стройках коммунизма, — пояснила старуха, перехватив удивлённый мамин взгляд, упавший на кружку. — Ну, и «Беломор» вприкуску. Это сейчас цивильные папирсы, а у нас на киче была махорка... если была... Махра ->нулёвка», первоходов продирает до жопы, ежели с не-привычки забить «пяточку». Романтика!.. Да вы присаживайтесь! Свой жидкий «купчик» предлагать не смею, но не желаете ли испить обычного грузинского, пока горячий? Нет? Ну, что ж, как вам будет благоугодно...

Старая ведьма удалилась искать ключ от мастерской, на минуточку оставив нас на кухне одних. Я со страхом глядел на огромную эмалированную кастрюлю, стоявшую на газовой плите. Так вот, значит, где она варит детей! Но я был с мамой, и потому не боялся угодить в эту жуткую кастрюлю. При маме она, конечно, не посмеет причинить мне вред.

Баба Яга вернулась из комнаты и вручила маме ключ:

— Держите! И, пожалуйста, не теряйте, он единственный!

Страшная старуха склонилась надо мной, просветив меня насквозь неожиданно лучистыми глазами цвета синего реликтового льда, и сказала, обернувшись к маме:

— Какой у вас, однако, чудесный малыш! Должно быть, это странное ощущение — родить именно мужчину. Не правда ли? И у меня мог быть такой же забавный карапуз, да только следователь, гнида, со всей дури заехал мне в живот... Сапогом... Ну, случился выкидыш, что ничуть не удивительно. А после, в лагере, так, бывало, намашешься на лесосплаве пудовой пещнёй, да по пояс в ледяной шуге, что прямо матка из нутра вываливается... Какие уж тут дети, не так ли?

Мама с ужасом и сочувствием смотрела на старуху, не зная, что сказать ей в ответ.

— Я прицепом за мужем пошла, но сперва как ЧСИР, это мне уж потом добавки дали, от души. А вот муж сразу по пять-восемь-прим ушёл, высшая мера. Он у меня враг народа был. Метеоролог, вредитель. Из контрреволюционных побуждений испортил погоду над колыбелью революции, как раз перед парадом на Первомой. В тот день ждали в Питере солнце, а он устроил со снегом дождь. Расстреляли, конечно...

Старуха задумчиво пошамкала губами и добавила:

— Ну, что ж тут поделаешь! От судьбы не уйдёшь! Когда я была юной барышней, маэстро Николай Карлович Метнер говорил мне: «Дитя моё, едемте со мной! Меня в Америке ждёт шикарный ангажемент!» А я тогда была влюблена в своего метеоролога,

куда же я поеду? На кой чёрт румяной девчонке престарелый греховодник? Пускай даже гений? И даже с ангажементом? Ну, вот результат... Справка о реабилитации, две кошки и репетиторство в убогом городишке, за полтора рубля в час...

Едва мы с мамой вышли из старухиной квартиры, как игра возобновилась, а с ней и многословное ворчание старой пианистки:

– Милочка, ну кто же так спондирует на низах? Ты этими протяжными до-минорами сама себе сбиваешь ритм!.. Та-ак, хорошо... хорошо... ровно веди, разгоняйся плавно... Да что это за понос из тебя льётся, кабацкий лабух? Это же не Яша Ядов, это Чайковский!.. Всё, стоп! Давай-ка, Наденька, всё с самого начала играй, но уже как прожаренная чертями, как бесноватая пифия! А не как овца анемичная, овца никчёмная, безблагодатная... Вспомни, детка, что по твоим жилам течёт ведро горячей крови! Так покажи мне её! Смелее, деточка, ты сможешь, я в тебя верю!..

Этаж 7

Последний пролёт лестницы был уже не бетонным, а железным, и он вёл прямоком к двустворчатой двери, густо и фовистично расписанной всеми цветами палитры, включая и такие цвета и оттенки, которых не существует в природе (подобно собакам и кошкам, художники охотно и бескорыстно метят любую территорию доступными им средствами).

Мама провернула ключ в замочной скважине. Скрипнули ржавые дверные петли, и одна из створок медленно отворилась перед нами. Мы вошли внутрь внушительного пространства с косым потолком и огромными пыльными окнами, выходящими на бескрайние лесные дали, простирающиеся за левым берегом Вятки. В мастерской пахло красками, сольвентом и куревом. Пустые бутылки из-под портвейна и немытые стаканы на подоконнике свидетельствовали о том, что атмосфера тут зачастую была самая что ни на есть богеменная и творческая. Люди искусства, как правило, большие неряхи со всякого рода химическими зависимостями. Но, как говорится, «мы любим их не за это». Ведь и в звёздном небе – тоже сплошной хаос, сроч и бедлам, но именно в этом бардаке и рождаются новые боги и новые планеты. И было бы страшно представить себе светила, аккуратно расставленные на небесах в удушающем геометрическом порядке, как саженцы на полях. Вот где был бы истинный ужас!

Пока мама переодевалась в рабочий халат и раскладывала кисти, я бродил по мастерской и рассматривал стены, сплошь увешанные чьими-то заброшенными холстами, недописанными картонами

и эскизами. В центре помещения был установлен огромный фанерный прямоугольник – фрагмент какого-то гигантского панно, который следовало переделать. В левой части прямоугольника краснел обрезанный лозунг: «...ИРУ – ...ИР!», а с правой стороны взлетал гигантский, с меня ростом, белый голубь мира, небрежно намалёванный чьей-то то ли пьяной, то ли совсем неумелой рукой. Вот в этого-то голубя маме и предстояло вдохнуть жизнь.

Как известно, в профессиональном жаргоне художников существует три основных типа работ: «заказуха», «шабашка» и «нетленка». Например, «Джоконда» - это заказуха, написанная ради денег. «Иоанн Креститель» того же автора, весьма далёкого от церкви – это шабашка на подряде у кардинала. А вот «Витрувианский Человек» — это уже явная нетленка: предезкая и возвышенная попытка Да Винчи через золотое сечение познать «число Бога».

В этой системе координат мамин «голубь мира» являлся однозначной «шабашкой». А за очевидные «заказухи» в виде предпраздничных лозунгов («Народ и партия едины!», «Вперёд, к победе коммунизма!») она из брезгливости и не бралась никогда. Что же касается её «нетленок», то они представляли собой потрясающие своей пронзительной одушевлённостью спонтанные карандашные эскизы и зарисовки на случайных клочках ватманской бумаги (ах, как жаль, что так мало из них сохранилось!). «Да пустяки, это само приходит. Ну, или не приходит», — говорила мама в ответ на восторги её истинных ценителей.

Загрунтовав чужого голубя обратно в небесного цвета фон, мама взяла в руку мелок для разметки и в задумчивости закрыла глаза. Я же тем временем принялся возиться с переносным проигрывателем в виде коричневого чемоданчика на застёжках, стоящим в углу. Его дерматиновая крышка была липкой от когда-то пролитого, но давно уже высохшего пива. Рядом с проигрывателем нашлись также и всякие пластинки. Но моё внимание привлекли не они, а красочная обложка журнала «Кругозор». Это было в те годы такое удивительное издание с голубыми и гибкими маленькими пластинками между глянцевыми бумажными страницами. Их следовало вырезать по кругу и ставить в проигрыватель, как обычные виниловые пластинки. Я нашёл ножницы и вырезал первую попавшуюся: «Пласидо Доминго. Постарайся вспомнить». Затем я включил проигрыватель и поставил на голубой кружок иглу звукоснимателя...

Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow...

Мама прислушалась и обернулась ко мне. В её руке застыла длинная колонковая кисть.

Try to remember the kind of September
When grass was green and grain was yellow...

Мама улыбнулась мне и спросила:

– Знаешь, о чём он поёт? Можешь перевести?

– Что-то про зелёную траву. И про жёлтое зерно, которое надо вспомнить, – ответил я, пожав плечами.

На самом деле я не понимал а и половины слов, которые сейчас слышал. Моя бабушка пыталась учить меня языкам, по всем своим старорежимным гимназическим правилам, но я, сказав по правде, был учеником довольно нерадивым. Кроме того, песня была на английском, а этот язык по непонятным причинам давался мне хуже, чем французский.

Try to remember the kind of September
When you were a tender and callow fellow...

Мама рассмеялась и сказала, указывая на меня длинной кистью:

– Ух ты! Кажется, это он про тебя поёт, Дюдя!

Try to remember and if you remember
Follow...

– Сыночка, сможешь мне? Мне надо, чтобы ты встал, выпрямился и протянул руку раскрытой ладонью вверх. Вот как-то так... – Мама показала мне, как надо вытянуть руку.

– Но ты же рисуешь голубя, а не мальчика! Зачем я тебе? – удивился я.

– Всё верно, только у меня голубь взлетает... ну, или садится... Мне будет понятнее, как рисовать, если он взлетит с твоей руки. Ну, или сядет на неё...

Я встал и вытянул руку, как она сказала.

– Отлично! – сказала мама. – Постой так минутку!

Мама схватила мелок и, то и дело оборачиваясь ко мне, принялась быстро рисовать. Я находился сбоку от фанерного листа, и потому не мог видеть, что у неё получается. Моя вытянутая рука пока не устала, но я всё же изнывал от нетерпения: мне хотелось поскорее увидеть невидимого голубя, взлетевшего с моей руки.

Try to remember when life was so tender
That no one wept except the willow...

«Жизнь была такой чудесной, что никто, кроме ивы, не плакал», — перевёл я про себя и насторожился.

Try to remember when life was so tender
That dreams were kept beside your bellow
Try to remember when life was so tender
When love was an ember about to billow
Try to remember and if you remember
Then follow, follow...

«А любовь была как уголёк, который вот-вот вспыхнет...» — прошептал я одними губами и понял, что сейчас заплачу... — «Сохрани это в памяти, а потом вспомни...»

Я посмотрел на маму, впервые с ужасом осознав, что она у меня не навсегда, что когда-нибудь я её потеряю. С глазами, полными слёз, я бросился к маме, уткнулся носом в её испачканный красками халат и разрыдался, — уже второй раз за весь этот странный день.

— Мама, я тебя очень люблю... Очень! — промычал я в её халат.

— Знаю, сынок! И я тебя тоже, любимый мой! Сильно-сильно! Как ты меня!

Мама утёрла мне слёзы, и сказала:

— Посмотри-ка, что у нас получилось!

Я поднял голову и увидел прекрасного белого голубя, взлетевшего с моей невидимой ладони. Ещё не раскрашенный и полупрозрачный, всего лишь только намеченный несколькими штрихами белого мелка, он всё-таки был уже живой и одушевлённый, рвущийся ввысь над нашими головами...

«Without a hurt the heart is hollow...», — тем временем пел Пласидо Доминго, и это была святая правда. Да, так и есть, без боли сердце пусто...

С тех пор прошло много лет. Все, кого я любил, давно умерли. Все, кто любил меня, умерли тоже. Теперь я старый, немощный и никчёмный. В моей жизни больше нет решительно ничего, что могло бы придать ей смысл. Я всё чаще ощущаю близость Неведомого, которое я так остро чувствовал в раннем детстве, ибо мне скоро предстоит возвращение туда, где было моё и ваше начало.

Мне стали сниться странные сны, и умерших в них всё больше, и всё меньше живых. Не так давно мне впервые приснился отец. Он был в великом смятении, он смотрел на меня растерянными глазами, и его седые волосы трепал таинственный ветер из ниоткуда.

— Я её не нашёл, — тихо сказал он мне. — Я нигде не могу её найти. Что мне делать? Я забыл последние строки...

— Какие строки? Откуда? — спросил я его.

— Из старинного стихотворения тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года. Владимир Сергеевич Соловьёв, «Милый друг». Там три четверостишия, но последнее я не помню. А без него я её не найду...

Я обнял отца и вдруг ощутил острый запах земли и корней, совсем как в детстве, когда я забирался в его походный рюкзак. Я чувствовал, как он дрожит от холода и страха, и всё никак не может унять эту дрожь.

— Я помню, — сказал я ему. — Я помню последние строки.

Отец с недоверием и надеждой посмотрел на меня, и в эту секунду мы оба поняли, что в непроглядной тьме вокруг нас как будто что-то меняется. Как будто возвращается свет и тепло. Медленно и неприметно, но возвращается. Мы обернулись в ту сторону, откуда к нам шли эти перемены. Да, действительно, оттуда, издалека, к нам как будто шёл свет. Тихий-тихий, тёплый и нежный свет. И он приближался. Приближался к нам. И мы оба тотчас поняли, кто это...

Я обернулся к отцу и сказал:

— Эти последние строки, самые последние, вот они:

Смерть и Время царят на земле,
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

ГОСТЬ "ГОРОДА"

АЛЕКСАНДР ТРУНИН

ВЫСОКИЕ СКВОРЕШНИ

* * *

Мы вернулись на старое место,
где когда-то, за тридевять лет,
жили бережно, просто, безвестно
среди радостей общих и бед.

Подрастают сирень и шиповник,
а черёмухи старой уж нет —
видно, наш беспокойный садовник
потрудился на старости лет.

Затопили осевшую печку —
под не выбит и тяга жива.
И затеплили тонкую свечку.
Слава Богу, успели едва.

* * *

Под дождём, в непогоду осеннюю
кони ржут и деревья шумят.
И дорога — одно нам спасение
от тоски, обживающей сад

под окном. Что ж, пора нам развеяться.
по окрестностям сделаем круг.
Может, снова во что-то поверится,
ну хотя бы покажется вдруг,

что надолго душа прополочется.
И заметим в пути неспроста,
как сквозит придорожная рощица
до последнего в чаще куста.

* * *

Вникая слухом оробелым
в многообразье тишины,
я сам себе кажусь пробелом.
И все вопросы решены.

Но зуд рассветной кофемолки
внезапно оживит шутя
и тень забытой недомолвки,
и слёзы бедного дитя.

Дня рокового не чураясь,
меняя милость на любовь,
живу — непрошенная малость —
как может жить почти любой.

Пора за дверь — и я за дверью.
Пора домой — спешу назад.
А рядом птицы чистят перья
и меж собою говорят.

* * *

Какая грусть! Но впрочем это
уже отмечено у Фета.
И оттого ещё грустней.
В окно синица постучала.
Ау! Не это ли начало...
Чего? Поговорить бы с ней.

Недельный снег лошадка топчет.
Морозец знатный. Бравый кочет
притих, и куры в отпуск.
Собака тычется под ноги,
кто ни прошёл бы по дороге,
и рада каждому куску.

Такая грусть!.. Неслышный ветер
качает куст. Играют дети —
в хоккей, должно быть, на пруду.
О кей! И мне пора на волю,
не то запью или завою.
Пальто надену — и пойду.

* * *

Ветер силен, но можно стоять на ногах,
даже пройти осторожно от дома к дому,
то напирая грудью на воздух, то делая взмах
вместо крыла рукой навстречу порыву тугому;
лучше всего сидеть в четырех стенах,

бить баклуши, не целясь, или играть с котом,
свет погаснет — зажечь запыленный огарок —
как там в Михайловском Пушкин? —
выберу нужный том —
собр. соч. в десяти томах; книга лучший подарок —
так нас учили, да перестали потом;

мудрость, она ведь в чем — отсидеться всласть,
если никто не ждет, и никому нет дела,
если родные, близкие, сослуживцы, начальство, власть
не претендуют на душу твою и тело;
как хорошо исчезнуть для всех, пропасть

где-то на малой родине, в милом своем закутке,
лучше еще, если сошлют в родовое именье,
между прогулкой и сном смотришь — перо в руке,
глянешь — стишок готов между бездельем и ленью,
так живешь безгрешно с музой накоротке;

слушаешь ветер, жмешься поближе к печи,
думаешь: дом ветшает, надо б заняться ремонтом
как-нибудь летом. От чая рту горчит.
Ветер шумит, словно над древним Понтом.
Да ковыляет фонарик чужой в черной ночи.

* * *

Вернуться летом — сладкая морока.
Расслабить галстук, распахнуть жилет.
И сколько зим, спросить, и сколько лет,
вдохнув глубоко.

Родного дома лёгкие пороги.
Скрипучей двери тонкий голосок.
И потолок заметно невысок.
И тишины разреженные слоги

по-прежнему о многом говорят.
Немного помолчу — пора за дело:
мести, трясти, грести — на что рука умела
и всё подряд.

И в жаркий полдень, пренебрегши тенью,
просёлка вдоль пойти и наломать
попынный веничек, чтоб ноги обметать
зимой метельной.

* * *

Весь день собирается дождик.
Хозяева настороже.
А сено досохнуть не может —
часок и досохло б уже.

Но туча чернильно и седо
ползет к оробелым местам.
Три капельки брызнули с неба.
Бросается молод и стар,

забегали вилы и грабли
и копны растут на лугу —
последняя — руки ослабли —
поправить чуть-чуть на бегу.

* * *

Мой старый, старый, старый сад
под этим светлым небосводом.
Всё те же птицы в нём сидят
и не стареют год за годом.

А я старею вместе с ним,
мы вместе празднуем утраты.
И что имеем — не храним,
потрудимся — опять богаты.

Пучок зверобоя над низким окном,
в котором закат догорает неровно.
Я в сумерках замер, как будто тайком.
И вечностью пахнут смолистые брёвна.

Мы трудимся, лечимся, молимся, впрок
готовим запасы, в бирюльки играем,
гостей провожаем, готовим урок...
Обычная осень — а кажется раем.

Осенний закат полыхнул янтарём...
И чтоб ничего не пропало,
мы слушаем душу и краски берём,
но знаем, что этого мало.

И надо добавить сюда тишины,
и музыки зыбкой и слова,
и света, которого мы лишены,
дыханья — и музыки снова.

После долгой вчерашней шумихи
нынче схлынуло и улеглось.
Небеса неподвижны и тихи,
нищий воздух прозрачен насквозь.

Чтобы было на что заглядеться
и о чём опечалиться мне,
не забыл в золотое одеться
березняк на пологом холме.

Облетают покорные ивы,
безответная никнет трава.
Но звучит бессловесное «живы»,
превращаясь в живые слова.

* * *

Кто я? Путник вечно запоздалый...
Вот опять на сборы полчаса,
чтоб надеждой укрепляясь малой,
перебраться в новые места.

Время длится, как всегда, простое.
У пространства предпочтений нет.
И осенним листовым настоем
переполнен поднебесный свет.

Надо мною ветер безутешней
и тревожней облачный закат.
И глядят высокие скворчьи:
не вернётся ль кто-нибудь назад.



Один бой в Мариуполе*

*Посвящается русским воинам,
своим ратным трудом добывшим освобождение Мариуполя.*

Я ломал это время руками, как сталь,
целовал его в черные губы,
напиши про любовь, не пиши про печаль,
напиши, что я взял Мариуполь.
Дмитрий Мельников «Напиши мне потом»

1

Была ночь. В темноте звучал женский голос. Нежная украинская колыбельная разносилась в пространстве, проникая во все комнаты небольшой, скромно обставленной донецкой квартиры. Мария стояла у окна и пела.

Гойда, гойда-гой, ниченька идэ,
Диточок малых спатонькы кладэ.

Она чуть покачивалась из стороны в сторону, словно баюкая младенца, а правой рукой поглаживала свой большой округлый живот. В нем рос новый маленький человек. Малыш толкался в эту ночь особенно сильно. Что-то его беспокоило.

Мария была молода и красива. У нее были густые темные волосы, нежная светлая кожа. Беременность сделала ее вовсе прекрасной, озарив лицо изнутри будущим, еще не созревшим окончательно материнством. Она вглядывалась в неровный городской горизонт. Там сверкали разрывы. Желтое зарево вспыхивало на секунду, но скоро вновь все возвращалось ко тьме. Грохот канонады долетал с запозданием, точно гром после молнии. От особенно мощных ударов слегка дребезжали стекла в окне.

* Рассказ написан благодаря материалам российских военкоров: Александра Сладкова, Семена Пегова, Рината Есеналиева и других.

Мария проснулась недавно. До пробуждения ей снилось что-то... нет, не плохое, но нарушившее покой сердца. Спустя мгновение сон улетучился, а чувство осталось. Тревога за мужа. Быть может, ее и почувствовал сын? Теперь она стояла у окна, смотрела и слушала, как вдалеке неумоимо работали жестокие машины войны. Гадала: «Быть может, сейчас муж в окопе, в тайном укрытии, а сверху над ним рвут землю снаряды-убийцы...» Как это происходит? Упругий грохот бьет по вискам, сжимает черепную коробку, массы грунта вздымаются ввысь, превращаясь на миг в тяжелые темные волны. Кого-то находят снаряды, разрываю на части, мешают со смертным потоком...

Мария хотела успокоить себя и толкавшегося в животе сына. И потому начала петь. Родная украинская колыбельная сама пришла к ней из памяти. Ребенок услышал. Толчки не прекратились, но стали иными. Он словно прислушался. Пение захватило и мать, невольно пробудив образы прошлого. Следуя один за другим, они слагались в воспоминание.

Гойда, гойда-гой, очка заплющи,
В сни щасльвовому зогриєшся ты.

Мария увидела свою добрую бабушку... Летний украинский вечер, теплый и тихий. Старый дом со скрипучим дощатым полом и белыми известковыми стенами. Ухоженный, усеянный грядками двор, полный живых звуков птиц и скотины. стакан сладкого молока перед сном, мягкая перина и добрая, сильная в хозяйстве бабушка, присевшая у кровати на стульчик.

– Спи дитятко, спи малюк...

– Не спиця, бабуль, – хитро улыбаясь, натянув одеяло под подбородок, говорила маленькая Маша.

– Ну спюю тобі зараз, закрывай очи, – и любимая бабушка, живой кладезь сказок, песен и старинных преданий, заводила песню. Девочка, довольная своей удачной уловкой, закрывала глаза, погружаясь во тьму. Она долго лежала так, стараясь не уснуть быстро, и слушала. В темноте перед ней проявлялись картины – следы прошедшего бурного дня и что-то иное, невиданное еще и манящее.

Гойда, гойда-гой нич прыйшла до нас,
Диточкам малым спатонькы вже час.

Бабушка была ее Украиной. Украиной Гоголя, «Вечеров близ Диканьки» из потертой советской книжки с забавными картинками, хранившейся в старом шкафу. Осторогий, худощавый черт,

не страшный, а скорее забавный. Мускулистый кузнец Вакула и толстый щекастый дядька-колдун с галушками, послушно летящими в рот. То была Украина ее детства, родная, своя...

Мария вздохнула. Перед ней в темноте снова вспыхнуло что-то. Быстрое и яркое. Следом пришел упругий удар взрыва – стекла нервно задребезжали в окне, и она вздрогнула. Были в той книжке Гоголя и другие истории, пугавшие робкую детскую душу. Их Маша старалась не замечать, второпях пролистывая страницы.

Бабушки уже не было на земле. Ее убил такой-же сверкавший сейчас за окном жестокий огонь. В голову вслед за детской невольно пришла память иная. Грохот взрывов и кровоточащие людские тела. Растерянность, отчаяние первых месяцев их «новой жизни». В прошлом поселилась смерть. Прошлое было словно жуткий рубец, на который страшно смотреть. Ее добрая детская Украина «с хутора близ Диканьки» сгинула в то кровавое лето, распятая взявшей власть виевской нечистью.

Пред мысленным взором возникли лица погибших. Непрошено наплывали в сознание. Могилы, могилы, могилы – и всё свежие, рыхлые. Сколько их накопили тогда... На сосновых крестах портреты. Женщины, старики, дети. Мужчины – солидные, в годах, и совсем пацаны еще. Горечь комом подступила к горлу. Теперь Мария чуть иначе смотрела в окно и слушала грохот. Она знала – возмездие близится. И в тревоге за мужа рождалось новое чувство.

«Бей их, Сережа!» – прошептала молодая женщина страстным шепотом, и тонкие ноздри ее чуть раздулись от гнева. «Бей их!»

Мария допела песню. Малыш под сердцем успокоился и затих. Она легла и попыталась уснуть. Слегка задремала, зависнув между явью и сном. Ей казалось, не проспала и минуты – но прошло больше часа. Уже начинало светлеть темное небо. Канада утихла. Мария не поняла поначалу, что вновь разбудило ее. Потом ощутила тянущую боль в животе. словно кто-то незримый изнутри сжал его, подержал так недолго, а потом отпустил. Через несколько минут это произошло вновь.

«Господи, неужели сейчас...» – подумала она с легкой паникой и неожиданной радостью. Затаилась в кровати, ждала повторения. И вдруг резко, обостренно вспомнился муж. Его немного угловатое, благородное лицо. Предстал перед ней сосредоточенным, тихим... и окровавленным. Мария испугалась видения, перекрестилась и начала, как умела, молиться – за мужа и сына.

2

В тот предрассветный миг Сергей пробудился. Ему привиделся странный сон. В финале жестокого боя в захваченном после тяже-

лого штурма истерзанном здании он вдруг увидел... ребенка. Весь в грязи и крови, заплаканный, голый по пояс худенький мальчик стоял посреди пустого, гулкого помещения, усеянного рваным железом и гильзами. Сергей бросился к нему, в страхе ища на теле мальчишки увечья и раны. Он не успел еще с облегчением осознать, что ребенок цел, что просто перепачкан чей-то чужой грязью и кровью – как тот весь разом припал к нему, обхватил своими худыми ручонками и затрясся в рыдании. Сергей вздрогнул от неожиданности и проснулся.

Он полежал несколько минут, вспоминая детали странного сна. Затем вылез из спальника и аккуратно поднялся, стараясь не шуметь и не тревожить бойцов. Они лежали тут же, натянув спальники прямо на походную форму, положив под головы сумки. Их размеренное дыхание поднималось вверх белым призрачным паром. В начале апреля был еще холод. Близкое, непрогретое солнцем Азовское море отнимало у воздуха едва народившееся тепло.

Сергей достал флягу с водой, прополоскал рот, бросил взгляд на ручные часы. Полчаса до подъема. Бойцы спали крепко – сопение и легкий храп разносились по комнате. Так спят мужчины после тяжелого рабочего дня, довольные выполненным трудом. И правда, вчера «попахали» на славу. День помнился единым горячим комком – весь он был занят плотным, со скоротечными перестрелками продвижением по частному сектору.

Противник, огрызаясь, отступал, поджимаемый клещами сразу с двух флангов. Он знал: задержишься хоть чуть-чуть для упорного боя – и его обойдут, поймают в ловушку. А потому уходил к Бастиону.

Сергей быстро, осторожно глянул в окно – на фоне еще темно-серого неба высились белые исполины высоток. Выстроенный словно крепость, квартал из четырех девятиэтажек. Бастион – так его прозвали бойцы, и название прижилось, звучало теперь в донесениях и переговорах по рации.

Темные окна зданий молчали. Но Сергей знал – во многих из них ждет движения враг. Коварный, злой и умелый. В доме множество огневых точек, где-то притаились снайпера, терпеливо высматривая цели. Предстоял штурм – он обещал быть нелегким.

Сергей достал из кармана записную командирскую книжку. Пролистал то, что уже отбыло в историю: какие-то приказы и цифры, смысл которых успел подзабыть, наброски и схемы улиц. Остановился на последних страницах. Девятиэтажное здание в профиль. Крестами помечены места, откуда вчера враг вел огонь – когда их батальон занимал окружающий «частник».

Сергей перевернул страницу. Изображение Бастиона сверху, почти идеальный квадрат. В каждом доме по шесть подъездов. Все обращены внутрь. Аккуратными небольшими квадратиками обозначены их собственные позиции – одноэтажные приземистые дома через улицу. Черной жирной стрелкой направление грядущих ударов штурмовых групп. Сергей большим пальцем ощупывал серые карандашные линии. Снова продумывал, шаг за шагом, план, услышанный вчера на скором военном совете, в одном из взятых домишек.

3

Совет проходил при свете походного фонаря. Командир поредевшего в боях батальона, серьезный, немного грузный в теле мужчина солидных лет, когда-то давно до войны работавший заводским инженером, излагал диспозицию на следующий день. Твердой, хорошо знакомой с чертежами рукой он создавал на белом листе ясные, понятные схемы – младшие командиры срисовывали их в свои блокноты и книжки.

– Значит так, мужики... Завтра предстоит работенка. За два дня надо этот Бастион взять. Смотрите, в чем дело, – и комбат набросал на листе позиции, еще оставшиеся за противником.

– Если берем «этажки» здесь и здесь, – он показал места на схеме, – следующим броском мы рассечем котел надвое. Противник этого боится – а потому свалит в промзону. Весь район будет наш. Вот значение боя!

Комбат солидно помолчал, чтобы все прониклись важностью сказанного. Затем возобновил инструктаж.

– План на завтра. Чуть вяжем бой, чтоб проявить огневые. Как увидим, кто где – поработают танки. Всех не подавишь, но плотность убавим. Как только кончат долбить – у вас пять минут на бросок. Мы прикроем хорошим огнем. Далее в доме. Все по науке, зачищаем подъезды по этажам. Тщательно! Чтоб ни одной твари за спиной не оставили! Подъезд зачищен – в окно простыню, чтоб мы по вам не херачили. В квартал не суйтесь, накроют шквальным огнем, не пройдете. Вдоль дома либо через подвал, либо сквозь стены, – комбат усмехнулся, – вопросы?

У «матросов» их не было, и комбат решил сворачивать «совет в Филях», как он называл такие планерки.

– Помните, мужики, главное в нашем деле холодная башка. На рожон не лезте. Но и напор, напор нужен! Гранат не жалейте, закончатся – мы вам подбросим еще. С окнами с внутренней стороны осторожней – мимо них только шмыгом. Главное, два первых дома взять, дальше проще будет.

Комбат поскреб еще колючий подбородок в раздумье.

– Что еще... Все вроде... Ладно, идите поспите, завтра тяжелая смена.

Комбат и его подчиненные не заметили, как в его речь проскочило слово из прошлой, давно оставленной заводской жизни. Все разошлись по своим располагам.

4

Сергей пролистал книжицу дальше – много свежих, девственно чистых листов. В конце, перед коркой – фото жены. Мария смотрела из солнечного донецкого дня. Светилась лучистым внутренним счастьем. Сергей вспомнил – они расписались в тот день, скромно и без торжеств. Однако жизнь с тех пор обрела другое звучание. Муж и жена. Семья. Они всерьез заявили об этом перед собой и их молодой военной республикой.

Вслед за теплом фото принесло и тревогу. У жены близилась дата родов. Она отказалась эвакуироваться, да и врачи не советовали – трястись несколько часов по разбитым дорогам было опасно для малыша. Сергей, человек служивый, ушел вместе с армией в наступление, оставив позади тягостную, мучительную неизвестность. Связи в зоне боев почти не было, лишь иногда он выгадывал время, вылавливал сеть и совершал короткий звонок. «Как дела? Все в порядке? У меня тоже. Живой, целый. Береги себя и ребенка!»

Сергей старался держать свои мысли о семье в строгости, не давать им свободы. Разгулявшись, они травмили душу печалью, когда та должна была быть душой солдата – бодрой и в чем-то даже веселой. С печалью нельзя воевать – можно угробить себя и, что много хуже, погубить подчиненных бойцов.

Однако ощущение семьи за спиной придало старой войне новый смысл. Сергей не был местным. Когда-то давно его привела в Донбасс душевная мука за общее горе, но не призыв почвы или крик родной матери. С годами он врос в эту землю, затем обрел и семью. Он стал коренным. И лишь теперь по-настоящему, не умом, а сердцем, понял донецких и луганских мужчин, пошедших тогда, восемь лет назад, в ополчение. Для них – без всякого пафоса – это была война за Родину и родню.

Он хорошо помнил недавний тяжелый, с боями, поход от Волновахи до Мариуполя. Именно тогда, походив по увешанным свастиками украинским располагам, он окончательно понял, что за сила нависла над ними темной гроздью. Сергей с холодеющим сердцем иногда представлял, что было бы, если бы она сорвалась и упала, не дождавшись их наступления... Как бы развернулась

война? Ему на ум приходило только одно – это было бы их, донецкое 22 июня. Он поделился этой мыслью с бойцами – они были согласны, но ответ одного из них стал неожиданным:

«Все так, командир, но вот еще что. Мы восемь лет ждали этого. Устали стоять под обстрелами, топтаться на месте. Их давно пора гнать. Нам не нужны оправдания, чтоб очищать свою землю от мрази».

5

Наступило заветное время. В комнату вошел помятый от бессонной ночи дневальный и зычно, с протягом крикнул:

– По-о-одъем, мужики!

Лежащие в два ряда бойцы зашевелились, пробуждаясь. Вылезали из спальников, растирали слегка припухшие лица. Мужчины потягивались, позевывали, с едкими присказками искали снарягу и обувь. Захрустели баклажки с водой, зачиркали спички. В комнате, до того тихой и словно пустой, сразу стало шумно, как в хорошем спортзале. Разнесся плотный запах мужского пота и табака.

«Войско проснулось», – довольно думал Сергей, оглядывая своих бойцов. Некоторых из них он успел за время похода узнать особенно близко. Взгляд наткнулся на умное и живое, но суровое в чертах лицо – это был молодой еще мужчина, но уже старый донецкий воин с позывным Лихой – сейчас он заботливо проверял свой АК. Лихой был прирожденным солдатом. Спокойный в общении, неприхотливый в быту, в бою он проявлял одно временно дерзость и холодность. Последнее особенно уважал в нем Сергей – «горячие головы» бьются хорошо, но недолго.

Лихой мог бы стать командиром, но слишком любил саму первичную работу войны, а потому давно определил свое место – солдат он и точка. Его воинский путь начался еще в далеком четырнадцатом, под Саур-Могилей – он тем летом едва успел окончить техникум. На той высоте Лихой, тогда еще просто Семен Лихоносов, побывал в большом переплете, был ранен, едва не убит, но это его не пошатнуло. Подлечившись, Лихой продолжил военную службу – в ней парень, еще толком нигде не работавший, нашел себя, свой труд и призвание. Донбасское войско тогда сидело на месте, вяло отстреливалось, связанное по рукам и ногам советниками из России. Но Лихой использовал паузу не для уныния – он начал стремительно обучаться, превращаясь в профессионального и универсального воина. Саперное дело и фортификация, снайперская и городская война – все было ему интересно, до всего тянулись жадные руки. Как только была возможность, он

«атаковал» минометчиков и артиллеристов, требовал, чтоб те рассказали о своем ремесле и обязательно дали «попробовать». Залезал даже в танк – выпрашивал у механика «порулить» и «пострелять».

К новой фазе войны Лихой пришел тем опытным, рукастым и умным бойцом былинного типа, на которых всегда изнутри держалось русское воинство. Вот он: Добрыня, суворовский богатырь, Теркин Василий. Такого уважает и ценит любой командир – ведь без него самые гениальные планы стоят недорого.

Рядом с Лихим жадно пил воду усатый мужчина почти вдвое старше по возрасту. Он не имел своего позывного, его именовали просто по отчеству – Дмитрич. Он был из мобилизованных, шахтер, хотя небольшой воинский опыт имел. В свое время Дмитрич честно отслужил тогда еще двухлетнюю украинскую «срочку». А когда в Донбассе все только начиналось, тоже был в ополчении – стоял на блокпосте, вместе с такими же, как он, местными мужиками. Первая же скоротечная, сумбурная стычка – и он угодил в плен. Насмотрелся там ужасов, хотя его особо не тронули, лишь поломали несколько ребер и приморили голодной «диетой». Дмитрича обменяли через несколько месяцев, осенью, когда подоспели Иловайск и Изварино. Воевать ему уже не годилось, нужно было лечиться. Теперь, спустя восемь лет, состоялось его второе призывание на эту войну.

Угрюмый немногословный Дмитрич, вообще говоря, не подходил для штурмовой группы – в нее брали опытных, молодых и выносливых. Дмитрич же бегал под пулями тяжело и с привздохами, но был ценен иным. В шахте Дмитрич работал всю жизнь, занимался и взрывами, и укреплением сводов. Он лучше всех знал, где и с какими последствиями что-нибудь можно взорвать и обрушить, где и как сделать подкоп, пролом и проход. В условиях городского боя этот опыт шел на вес золота – и потому старик Дмитрич был с ними, а не в тылу или на подвозе БК.

Третьим Сергей заметил Остапа. Нескладно сложенный боец средних лет вовсе не походил на гоголевского героя, но такой позывной тоже приобрел неслучайно. Он был давним, еще довоенным украинским левым, антифашистом, коренным киевлянином, говорившим на причудливом русском с примесью мовы. Он читал Ленина, Сталина и Че Гевару, печатал и клеил листовки, ходил с колоннами на маршах, рвал глотку против буржуев и капитализма. Остап рассказывал, что левые марши были тогда ужедохлыми – не в пример бандеровским, год от года набиравшим силу и злобу.

«Разумеешь, в чем дело, – делился он опытом, – левые, коммунисты – мы все хорошие, культурные хлопцы, книжные. Шо

мы делали? Статейки печатали, листовочки раздавали, на сборах спорили – интеллигенция! А нацики – у них иная работа с массой. Их главный клич – бей москаля та жида! Главное – бей! Шпана, хулиганье, футбольны ультрас, все у кого кулаки чешутся – от их рекруты. У левых одна против этого сила – поднять мужика, работягу. Мы тогда не смогли, та и не особо пытались, честно скажу. Мужик упертый, тяжелый, сонливый. Он встал тут, в Донбассе – и то, коль снаряды на голову падали. Потому тут шо и сталось».

Остап попал в Донбасс, когда СБУ начала прибираться к рукам всех, кто как-то выделялся в левом движении. Фашистский погром сменился спокойным приглашением на беседу. Остап понял – Бандера прописался теперь не в колонне бритоголовых фанатов, а в государственном кабинете – и уехал в Донецк. Он был внутренне чужд военному делу, но на этой земле пахло свободой. И он остался, влившись в энергичную массу людей, вращавшихся вокруг ополчения.

Остап был одним из немногих в донецком войске, кто мог грамотно изложить идейный и политический расклад полыхавшей войны. Шевченко и Гоголь, Ковпак и Бандера, Россия, Украина и Запад – на эти темы он мог говорить всегда. Остальные бойцы свою правду тоже, конечно же, внутренне знали – но в политике они не смекали и в истории вопроса часто «плавали». А потому им остро нужен был этакий «политрук», осмысливающий и озвучивающий их чувства и судьбы, и украинский говор при этом никого не смущал. Нередко Сергей наблюдал такую картину: на привале, в краткий час отдыха возле Николы, таково было его настоящее имя, собирался небольшой кружок из солдат. Бойцы задавали вопросы, спорили, ругались, чесали затылки, ухмылялись, недоверчиво щурились. Подсаживался иногда к таким кружкам и Сергей – послушать, что там вещает их доморощенный войсковой агитатор? Смешанная русско-украинская речь звучала причудливо, и беседы улетали далече...

Размышления прервал характерный донецкий, немного задиристый говор.

– Здравия желаю, товарищ командир! – это подошел Лихой, уже не помятый от сна, а бодрый и свежий, как огурец. Удивительное сотворила с человеком разгоняющая кровь разминка и горсть ледяной воды, растертая по лицу и плечам. Они общались почти как друзья, на равных, тем более что сходились по возрасту. Но Лихой никогда не переступал грань – панибратство ему претило. Воинскую субординацию – связующий цемент любой армии – он уважал.

– Шо нам предстоит? – спросил он, хотя прекрасно знал ответ. Вопрос был скорее ритуальным.

– Предстоит работенка... – серьезно ответил Сергей, захлопывая записную книжку. Он вновь оглядел пристально всю штурмовую группу, уже почти готовую к выдвигению, и только сейчас окончательно пробудился, вышел из полудремы воспоминаний. Он вдруг осознал, что впереди тяжелый бой, который продлится весь день, и может быть, не один из этих мужчин будет ранен или убит. Внутри развернулось знакомое с детства нервное чувство – тягостное волнение перед чем-то значительным, что предстоит. Свидание, драка, выход на сцену, экзамен – вот что было поводом прежде. Теперь это был штурм.

Сергей встряхнул головой, поднялся на ноги, поправил автомат, перекинутый через плечо. Вслед за волнением в нем зыграло другое: древнее, мужское, могучее. То, что несмотря на опасность, всегда ведет воина в бой. Благородная ярость к врагу и страстная жажда победы.

– Ну что, братья?! – громко и зычно, по-командирски обратился Сергей теперь ко всей группе. Десяток глаз повернулся к нему. Пацаны и мужчины, сыновья, мужья и отцы. Его бойцы, его могучая сила, которой вскоре он будет крушить врага.

– Предстоит работенка! – взгляд командира засверкал, в нем появился жгучий огонь, – Сегодня будем брать Бастион!

6

Сергей давно понял, что воюют на самом деле не люди – воюют машины, собранные из людей. Армия может успешно биться и после огромных потерь – сохраните лишь штаб и дайте живой силы и техники. Замените разбитую деталь новой, другой. И машина продолжит работу.

Механизм не чувствует боли. Но ее чувствуют люди, из которых он состоит. Эта особая боль – сжатых зубов, горького, сухого плача без слез. Она есть, но скрыта и не мешает работе. Напротив, боль становится внутренним связующим компонентом, проникающим во все элементы машины и превращающим ее через время в живой организм. Так необходимая любой армии механистичность и жесткость дополняется человеческим братством. Так рождается настоящее воинство.

С раннего утра батальон провел разведку боем – несколько групп дерзко высывались из частника, словно готовые совершить смелый бросок, вели беглый огонь по верхним этажам высотных домов. Окна оживали ответными выстрелами, и усидчивые люди с биноклями аккуратно наносили огневые на общую схему.

Это было, конечно, далеко не все – враг не дурак, он целиком никогда не покажется. Он сменит позиции. Он припрячет «сюрпризы» для настоящего штурма. Но и разведка боем давало немало.

Главным было другое. Машина включилась. Ей дали координаты, поставили цель. Она заработала.

Сначала артподготовка, увертюра штурмового броска. В городе она – всегда сложность. Слишком близки позиции противника, слишком велик риск угодить по своим. В дело идут танки, самоходки и минометы. Тяжелые пушки, «Ураганы» и «Грады» на отдыхе.

Работали по заранее выявленным точкам в квартирах, по крыше минометным огнем. Однако артиллерия – наука неточная. Попасть «в окно на восьмом этаже в третьем подъезде» получится далеко не всегда. Что-то залетало прямо в гости к «хозяевам», что-то дырявило стены. «Бог войны» грохотал за спиной, из-за потрепанных домишек на передке, в которых сидели готовые к штурму бойцы. Постоянно то тут, то там взрывались облаком пыли и кирпичного крошева окна верхних этажей и балконы. Дыры от снарядов в стенах кричали, словно безумные рты. Лопались во всем доме и осыпались со звоном стекла. Над крышей вставали султаны разрывов. Занимался огонь, поднималась вверх черная копоть. От полученных ран дом быстро принимал вид чуждый и нежилой.

Последние минуты артподготовки. Группы прикрытия уже берут на прицел все участки обстрела, штурмовые – в последний раз проверяют боекомплект, переминаясь с ноги на ногу в нервном томительном ожидании. Вот сейчас, совсем скоро – нырок под канаты и бой. Но пока – гремит «бог войны», бьют по ушам плотные взрывы, тянется, тянется время.

Наконец – команда. «На изготовку!». Вместе с последними залпами, вслед за огневым валом – бросок! Группа из десяти человек, рассредоточившись, бегом устремляется через улицу к белым обшарпанным стенам. Их цель – торец дома, слепая зона. С собой две кувалды и лом, пластид, РПГ, без меры гранат. Бег тяжелый, в современных доспехах: каска, броник, подсумки, разгрузки. Кровь стучит в голове, дыхание частое. Секунды, полные адреналина.

Не дожидаясь противника, прикрытие начинает беглый, плотный огонь. В это же время, ломая хрупкий забор, из частного дворика выезжает на скорости танк. Остановился, прицелился – выстрел! Дуло с грохотом плюнуло огненной сталью, корпус подался назад. Торец одного из домов взорвался облаком пыли. Дыра для прохода. Маловата. Еще выстрел! Разбитый кирпич летит во все стороны. Теперь в самый раз. Танк скрывается вновь во дворах – он легкая цель для тех, кто затаился на крыше. А

группа уже на полпути к цели. Кажется, все пройдет гладко, и ни одна огневая так и не успеет ожить. Но она оживает. Из нижнего этажа, разбивая первыми пулями в щепку деревянные рамы, бьет очередью пулемет. То ли скрытый для штурма секрет, то ли кто-то уже успел сбежать вниз. Враг атакует кинжальным беглым огнем – предельно опасным. Крик «Ложись!» – все разом, словно по групповому рефлексу, упали на землю. Сергей бежал в последнем ряду, успел увидеть – кого-то задело. Двое рухнули неуклюже, боком, словно после удара. Остальные бойцы не теряются, тут же с лежки открывают ответный огонь. Но пулемет бьет из глубины комнаты, достать его тяжело.

Это проблема. У них две-три минуты на то, чтобы пробежать улицу до того, как оклемается враг. Еще короткое промедление, и весь дом ошетинится стрелковым огнем. Их спасает вновь появившийся танк. За спиной у них ухнуло, распластанными по асфальту телами они ощутили, как дрогнула под ними земля. Квартиру, из которой бил пулемет, разносит в кирпичную пыль. На бойцов дохнуло жаркой упругой волной. Через секунду в разбитом жилище занимается пламя, и тянется вверх черный дым.

– Подъем! – хрипло орет во всю глотку Сергей, – раненых под плечи! Пошли! Давай, давай, давай!!!

Он первым встает, словно от своего же призыва, за ним поднимается группа. Одним из раненных был Остап, его зацепили в плечо, но он, сжав зубы, бежит сам. Другого пуля ударила в ногу – его подхватил Лихой, и в три ноги они устремились к проему. Сергей, держа автомат наготове, замыкает группу – он ждет еще сюрпризов, но их, к счастью, не будет. Впереди него красный, запыхавшийся, тяжело бежит Дмитрич.

Через полминуты они оказались у торца здания, в слепой зоне обстрела. В пробитый танком проем полетела граната. Гулкий разрыв, облако пыли и кирпичных осколков – и прямо в поднышающую взвесь – две беглые автоматные очереди. Как только появилась видимость, первые пары, держа оружие наизготовку, заходят в проем, в торцевую квартиру. Через несколько секунд подают знак – все чисто. Группа внутри.

7

Один из секретов удачного штурма – скорость. Нельзя сбавлять темп, давать противнику передышку. Нужно жать, бить, насесть. Потому никаких пауз быть не должно.

Сергей знал это, но у них были раненные. Бледный на лицо Остап присел на компьютерный крутящийся стул, прямо поверх слоя пыли и штукатурки.

– Зацепили, демоны. Шоб им пусто было, мазепины выродки, – бранился боец, пока товарищи туго перевязывали плечо. Ругательства помогали стерпеть боль.

– В строю? – спросил у него Сергей, – огонь вести можешь?

– Як же вы без меня, командир? Кто ж вам политинформацию проведет?

Сергей одобрительно хлопнул товарища по здоровому плечу. Подошел ко второму раненому. Молодой боец, рыжие волосы, светлое лицо, от которого отхлынула кровь, выделив как-то зловеще веснушки. Лихой накладывал ему бинт, туго оборачивая марлю вокруг простреленного бедра. Белая марля тут же пропитывалась алой кровью. Боец, насупившись, закусив губы, наблюдал за медицинской процедурой.

– Что думаешь? – спросил Сергей у Лихого.

– Ковылять будет и на ком-то висеть. В бою – обуза. Надо здесь оставлять, пусть подвал пасет, пока мы наверху будем разбираться.

Сергей кивнул.

– Так и сделаем. Боец, готов послужить сидячим арьергардом?

– Так точно, – парень сквозь боль выдавил из себя улыбку.

– Хорошо. Твое дело – сидеть тут и следить, чтоб из подавала «тараканы» не полезли. Огонь без нас не открывать, связь по рации. Задача ясна?

– Так точно, – повторил боец, улыбаясь чуть шире. Ответственное задание, очевидно, пришлось ему по душе – он уже боялся, что его оставят уныло ждать окончания штурма.

– Ну, разобрались, – выдохнул командир. Бойцы стояли у стен, сидели на корточках, избегая окон, выходящих во двор. Все обратили свои взоры к Сергею.

– Чистим хаты по очереди, входим без стука, не спешим, гранат не жалеем. Смотрите под ноги – могут быть растяжки. Поехали, мужики.

8

Они осторожно открыли дверь квартиры, через которую попали в дом. На лестничной клетке никого не было. С верхних этажей доносился стук автоматов – началась перестрелка с группой прикрытия. Это хорошо – значит противнику есть чем заняться. Сергей подал знаки – двое спустились к подъездной двери, ведущей во двор, еще двое разведали подъем на следующий этаж. И там и там чисто. Вход в подвал трогать пока не стали – может быть заминирован. Оставили раненого с БК, гранатами и ответственным спецзаданием – охранять тылы.

Проверили квартиры первого этажа – двери всюду не заперты. Скорее всего их запретили закрывать хозяевам, когда они покидали жилье, чтоб не создавать проблем для маневра внутри дома. Хочешь сменить позицию – занимаешь любую квартиру.

Они пошли выше. Двигались осторожно, вдоль стен, прикрывая друг друга. Второй, третий этажи – везде пусто. Двери открыты, в квартирах все на местах, если не считать разбитых стекол и кое-где выпотрошенных шкафов – видимо, «захисники» искали что-нибудь ценное.

Четвертый этаж – тоже чисто. Звуки стрельбы стали ближе. У всех внутри медленно нарастало нервное ожидание.

Когда зашли в последнюю квартиру на четвертом, попали под беглый огонь из других домов квартала. Сергей дал знак всем уйти от окон и затаиться. Обстрел прекратился, на несколько секунд стало тихо. Вдруг он услышал что-то странное. Не далекие звуки стрельбы, не щелканье пуль по внешним стенам или звон осыпающегося стекла. Этот звук был иной, и он исходил сверху. Хруст. Такой звук издает кирпичная крошка, когда на нее наступает тяжелый армейский ботинок.

Сергей поймал взгляд Лихого, указал ему на квартиру над ними. Тот коротко кивнул. Боец уже успел обзавестись какой-то щепочкой, которую теперь пожевывал зубами – давняя его привычка. Один за другим, избегая простреливаемых окон, они вышли из квартиры. Не копясь на площадке, распределились по лестнице. Сверху их ждали в гости.

9

Аккуратно и бесшумно первые бойцы группы приблизились к пятому этажу. Возобновившийся стрекот перестрелки помог им скрыть свое приближение. Не выходя на площадку, они взяли все двери на прицел.

Сергей махнул рукой, и бойцы открыли огонь по первым ближним дверям. Одна очередь – по центру, где может стоять человек, наблюдая в глазок. Другая в замковые механизмы – если их действительно ждут, те скорее всего заперты. Следом, не делая паузы ни на секунду, две тройки рванули к квартирам. Приоткрыв двери, бросили в щель по гранате. Два взрыва почти одновременно сотрясли этаж, две двери отбросило горячим ударом воздуха настезь. Не глядя – очередь в коридор, стремительный прорыв в квартиру, еще по гранате в дальние комнаты. Снова взрывы, грохот, потом пальба. Сергей с резервом из двух человек стоял на площадке, внутри все кипело, хотелось тоже рвануть в одну из квартир, ударить из автомата. Но он уже привык жестко владеть

собой – у командира другие задачи. В одной из квартир все стихло, мужики возвращались. В другой, той, в которую зашел Лихой, продолжалась вялая перестрелка. Сергей взял с собой одного бойца, зашел внутрь. Просторное четырехкомнатное жилище. Коридор разворочен взрывом. На кухне в углу, в луже темной крови сидел труп. От увиденного у Сергея внутри остро екнуло, но тут же отпустило – это было тело врага. Шея, прошитая очередью, сочилась багровым, голова в каске, очках и матерчатой маске упала на грудь. На плече шеврон – черный «волчий крюк» на желтом фоне.

Боец, шедший за командиром, спокойно и буднично наклонился к убитому, извлек из автомата и из разгрузки рожки с патронами, похлопал карманы в поисках гранат, нашел несколько, забрал все трофеи.

Они прошли в зал. Лихой с еще парой человек стояли тут же, держа вход в дальнюю комнату на прицеле.

– Огрызается, гад! – как-то обиженно сказал бывалый вояка и пустил короткую очередь.

– А гранатой? – спросил Сергей, тоже взявший уже порядком обгрызенный пулями дверной проем на прицел.

– Умельй там сидит, обратно выбросит.

– Сейчас проверим на ловкость.

Все отошли, Сергей достал две кругленькие лимонки, одновременно сдернул с обеих чеку, швырнул эту «сладкую парочку» в дверной проем и тут же отпрыгнул к своим, укрывшись за стену.

Рядом грохнули почти одновременно два взрыва, но оба не в комнате, а в зале – засевший там враг успел выбросить оба «подарка». «Вот гад...» – удивленно улыбаясь, подумали про себя все: и командир, и бойцы. Подались обратно в зал, но обнаглевший от успеха противник уже пошел в контратаку – напоролись на очередь. Лихой оказался в противоположной комнате: внимательно осмотрел себя, не зацепило ли где – в пылу боя, под адреналином можно не заметить легких ранений.

Сергей и Лихой встретились взглядами, едва заметно кивнули, без слов угадав общую мысль. Лихой снял каску, надел ее на ствол автомата и медленно, словно осторожно выглядывающий человек, выставил в коридор. Короткая очередь в то же мгновение ударила по каске, Сергей, присев, выглянул снизу и плотным огнем накрыл врага. Тот вновь ретировался обратно в комнату, огрызнувшись выброшенной гранатой.

– Ты жонглер что ли? – задорно воскликнул разгоряченный боем Лихой. Он уже снова был в зале, щепочка в углу его рта усиленно пережевывалась

– Иди сюда, мокша! – ответил возбужденный хрипатый голос на чистом русском, – покажу пару трюков!

– На фиг мне твои трюки?! – крикнул Лихой противнику, – я и сам ловкач!

Вдруг он чуть иначе взял автомат, навел его на дверной проем и нажал на спуск. Раздался гулкий хлопок, и Сергей увидел, как небольшая подствольная граната пролетела, едва заметная, по дуге, ударилась о стену и отскочила вглубь комнаты. Раздался короткий, удивленный и возмущенный возглас, который тут же заглушил грохот взрыва. Из проема рванул горячий воздух вперемешку с пылью, а следом потянулась белая дымка.

Лихой быстро пошел вперед, не дожидаясь подмоги. Это была его добыча, его упрямая цель. Оказавшись у входа в злополучную комнату, он перехватил автомат «по-сомалийски» и вслепую пустил за дверь очередь. На нее никто не ответил. Тогда парень достал в одном из многочисленных карманов маленькое зеркальце на тонкой изогнутой ножке. С помощью него заглянул в комнату. Мгновение внимательно и напряженно изучал ее внутренности, словно ожидая, что вот сейчас вражеская пуля разобьет его хитрую приспособу.

Но увидел то, что разом изменило его поведение. Лихой спрятал зеркальце, привычно, без особого напряжения взял автомат наизготовку и шагнул в комнату. Ничего не произошло, никто не выстрелил по нему. Лихой сделал знак Сергею и остальным бойцам – мол, можно входить, безопасно.

В обожженной взрывом комнате, откинувшись на изорванный диван, лежал поверженный враг. Его лицо, изуродованное осколками, сочилось обильной густой кровью. В нем с трудом угадывалось что-то былое, людское, однако распахнутые предсмертным ужасом глаза сохранились. На Сергея в упор смотрел один из ликов войны.

10

Первый бой окончен. Вся группа собралась на площадке этажа. Всем было ясно, что дальше будет только жестче и опасней. Тем не менее, бойцы разогрелись. Произошло главное на войне – внутренний переход в состояние схватки. Переключение. Его ощущает боксер, нырнув под канаты ринга и обменявшись ударами. Солдат – когда вступает в перестрелку с врагом.

Группа действовала решительно, не снижая темпа. Квартира за квартирой, этаж за этажом. Сергей в который уже раз убедился, что война – это работа. Тяжелая, опасная, грязная, но такая же осмысленная и понятная, как и любая другая. Священный или

ужасный трепет перед войной – удел людей, знакомых с ней лишь снаружи. Тот, кто оказался внутри войны, кто сам стал бойцом или командиром, работягой или начальником на поле боя, быстро понимает – это работа.

Из освобожденных квартир вешали в окно белую простыню, привязав ее к батарее. Это было сигналом для группы прикрытия – переносить огонь выше, делая его более плотным, удерживая противника у огневых. Перестрелка на верхних этажах становилась сильнее.

Наконец, восьмой. Противник здесь укрепился особо сильно. Гранат не жалели, один раз ударили даже из РПГ. Солидный усатый Дмитрич, которому доверили это важное дело, выглядел с темным цилиндром как начальник КБ с чертежным тубусом. Нахмутив густые брови, он повозился с прицелом, встал на одно колено, и, проворчав: «Ну-ка, пацаны, в сторонку», – нажал на спуск. «Тубус» полыхнул пламенем, ракета плеснула в воздух горячей струей, и, словно молниеносная смертоносная птица, унеслась вглубь сильно укрепленной квартиры. Раздался оглушительный взрыв, у всех на лестничной клетке зазвенело в ушах. Под музыку этого звона мужики рванули в квартиру. Закипел жестокий и скорый бой. Громыкнула еще пара гранат, застучали очереди автоматов. Двоих штурмующих зацепило, одного легко, второго сильнее. Но квартира была взята. Сергей, зашедший внутрь после окончания штурма, оглядел все комнаты. Всевозможный мусор хрустел под ногами. Обломки шкафов, осколки стекла, куски штукатурки, предметы, выброшенные взрывами с мест обитания. Взгляд упал на лежавшую в пыли книгу. На одноцветной красной обложке скромная надпись – Андрей Платонов, «Смерти нет!». Редкий автор в озверелом бандеровском государстве, уцелел вопреки. Сергею захотелось взять книгу в руки и сразу же прочесть пару строк, но он поборол порыв и прошел дальше.

В зале был оборудован своеобразный мебельный ДОТ. Готовили наспех, когда начался штурм, но со знанием дела. Диван, кровать и наваленные сверху кресла были сложены в оборонительный вал, сейчас развороченный взрывом. За «валом» лежали двое убитых азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сергей перелез через укрепление, перешагнул трупы и оказался в дальней комнате, представлявшей из себя склад. Помимо боеприпасов, еды и воды, в комнате было немало странных неизвестных Сергею препаратов. Аккуратные картонные упаковки таблеток и ампул, некоторые раскрытые и початые, лежали на отдельном журнальном столике.

– Наркотики, – раздался мрачный голос Остапа за спиной, – боевая химия. Обратит тебя в бесстрашного киборга. Я это видел еще на Майдане, – вдруг интонация его изменилась, стала бодрее:

– Ну шо, командир, трошки осталось, и подъезд наш.

– Еще целый этаж впереди. Последний – там будут сидеть еще крепче, чем здесь. А дальше весь дом. Как рука?

– Та нормально! – Остап расплылся в улыбке. Но потом неосторожно двинул раненым плечом, и сквозь улыбку проступила боль, солдат невольно сморщился, – Заживет, як на собаке.

Вместе они пошли к выходу. Минуя коридор, Сергей задержался на мгновение, словно вспомнил что-то. Огляделся, нашел книгу, ту самую, что увидел при входе. Присмотрелся – обложка была пробита осколком гранаты, засела в бумажной толще. Сергей поднял ее, открыл – осколок торчал из слегка желтой поверхности страниц, прямо из строк, как из плоти. Провел по нему подушечкой пальца. Еще теплый. Сергей извлек его и бросил под ноги. Книгу положил в рюкзак за спиной.

– Командир, ну ты шо там? – раздался спереди голос киевлянина.

– Иду, – отозвался Сергей и вышел из квартиры.

11

Последний этаж. Жестокий и бескомпромиссный ближний бой. Снова взрывы гранат, стрельба автоматов, не утихающая ни на миг. Из дверного проема последней квартиры вдруг показался Лихой. Он был, как строитель, весь покрыт кирпичной крошкой и пылью. Однако даже сквозь этот причудливый грим проступала краснота раскаленного схваткой лица. Капли пота катились из-под каски на лоб, смешиваясь с белой штукатурной мукой. Он тяжело дышал.

– Осиное гнездо! – сказал он на выдохе. – Сложно, командир, несем потери. У них там гора гранат и народу человек десять. Встречать нас готовились. Матерые, плотно кладут, в каждой комнате по три ствола. У нас уже двухсотый, Саня – Бек. И трехсотый тяжелый, Слон. Мы троих тоже сняли, но такими темпами... Нужно что-то думать, командир, напролом нельзя лезть.

Сергей внимательно выслушал, молчал, думал, перебирая в голове варианты. Вскоре решение было принято.

– Пусть наши отойдут пока, сейчас мы попросим туда поработать ребят.

Зашумела рация, Сергей вызвал в эфире комбата, попросил разнести к черту все три окна укрепленной квартиры.

– Что, крепко засели?

– Крепко, товарищ майор!
 – Дак ты не стесняйся, проси, требуй, заказывай, эти стволы тут для вас, пацаны. Повтори-ка еще раз, куда?

Сергей повторил.

– Прямо сейчас бить?

Одновременно с этим вопросом из полной гари и пыльной взвеси квартиры вернулись потрепанные схваткой бойцы. Вынесли и «тяжелого» с убитым. Он с трудом узнал искаженное смертной мукой, бледное, окропленной темной кровью лицо. Укололо воспоминание – мельком видел его утром в распологе, затем еще раз, когда готовились к броску. Снова это чувство, к которому никогда не привыкнуть. Тот, кого знал, видел живым, с кем говорил – теперь на другом берегу. А рядом осталась лишь плоть – недавно живая, упругая, сильная. Теперь холодное бледное тело.

«Все?» – одними глазами спросил Сергей вышедших из квартиры.

«Все» – был тяжелый ответ.

– Пусть работают прямо сейчас, товарищ майор!

– Принял, жди.

Командир батальона покинул эфир.

– Сейчас долбанет! – закричал чего-то испугавшийся Дмитрич и рванул вдоль стены к квартире. Сергей хотел остановить мужика, но увидел, что тот просто захлопнул полуоткрытую, пробитую пулями дверь. В тот же миг словно огромная стальная кувалда ударила в дом. Стены его сотряслись, побелка с потолка осыпалась, как мелкий снежок. Работал танк. Методично, не слишком точно. Страшно было находиться рядом с тем местом, куда нацелилось и посылало разрывные снаряды его смертоносное жерло. Четыре выстрела сотрясли здание, четыре оглушительных взрыва. От последнего, самого ближнего к ним, сорвало с петель и бросило на лестницу поведенную от взрывной волны дверь. Бойцы успели отскочить в стороны, никого не задело. Кто-то даже нервно хохотнул.

Снова зашумела рация. Вызывал комбат.

– Нормально, Серега? Или еще насыпать?

– Отлично, товарищ майор!

Рация умолкла. Снова заходили в квартиру. Ее разрушения, и так немалые после яростной перестрелки, многократно усилились. Рамы в окнах не были разбиты – они просто отсутствовали, как и пара стен, отделявших жилище от улицы. В воздухе стояла плотная дымка – смесь едких газов и пыльно-кирпичной взвеси. Мебель везде превратилась в груды обломков. То, что было деревянным или тканевым – обожгло взрывом, местами плясали жадные

языки пламени. Скоро здесь начнется пожар, и черный дым копотью окрасит все стены.

Танки отработали страшно и грамотно, полностью выломав оборону противника. Казалось, никто не может тут выжить. Но бойцы знали – это ощущение обманчиво. Шли медленно вдоль стен коридора, осторожно, с автоматом наизготовку заглядывая в то, что осталось от комнат. В первых двух только трупы. Ужасные, истерзанные осколками, раздутые страшным перепадом давления во время разрывов. В дальних помещениях – еще несколько тел. В двоих едва теплилась жизнь, они хрипели, их корчила предсмертная мука...

12

Подъезд был зачищен. Группа возвращалась вниз. Раненый боец радостно встретил товарищей, доложил обстановку – все тихо. Сергей еще раз оглядел стальную подъездную дверь, и совсем другую, хлипенькую, деревянную, прикрывавшую спуск в подвал. Замка на подвальной двери не было.

– Перекур, братцы, – сказал командир, – Дмитрич, растяни шнур, дернем дверь.

– Будет сделано, – солидно отвечал шахтер и стал доставать из рюкзака длинную крепкую веревку со стальным крюком на конце – незаменимая вещь, если нужно куда-нибудь вскарабкаться, что-либо подтащить или дернуть растяжку.

Пока вся уже порядком прокопченная боем штурмовая братия дымила табаком и лениво переговаривалась, Дмитрич зацепил крюком ручку двери, растянул веревку таким образом, чтобы тянуть можно было из укрытия, и доложил:

– Готово.

– Подожди, – Сергей не курил, сидел на ступенях, понемногу прихлебывал воду из фляги. Он поднялся на ноги, оружие не оставил, захватил с собой. Подошел к двери с краю, не становясь прямо перед ней. Прислушался. Ему показалось, что слух уловил какие-то смутные голоса, шумы, шорохи. Но все они доносились издали – если это гражданские, им ничего не грозит.

Сергей снова прислушался, уверившись в своем наблюдении, а потом отошел к Дмитричу, молча кивнув. Они скрылись за углом, шахтер натянул веревку, выдержал паузу... и резко дернул.

Думали верно – вход был заминирован. Раздался взрыв, и все скрылось в облаке пыли. Старая дряхлая дверь разлетелась на фрагменты. Когда пыль чуть осела, показался темный проход.

Словно поднятая взрывом по тревоге, вскочила на ноги вся группа. Взяли на прицел вход в подвал – во избежание сюрпризов.

Едва воздух стал вновь немного прозрачен, в черный подвальный проем устремились сразу два мощных луча – светили Сергей и Дмитрич. На пути света кружили частицы взбудораженной пыли. Фонари выхватили из тьмы ступени, круто уходящие вниз. Вдруг из глубины, в которую вела лестница, донесся взволнованный голос.

– Мужики! Не стреляйте! Тут мирные, тут свои, мужики!

Дмитрич тронул Сергея за плечо.

– Может засада быть.

– Может... – согласился Сергей, – а что делать...

Он выхватил взглядом нескольких бойцов.

– Остап, ты с нами. Лихой – за старшего, если услышишь пальбу – идите на помощь. Про тыл тоже не забывай.

– Принял, – ответил воин.

Сергей подошел к входу в подвал, громко, во всю мощь легких крикнул.

– Внимание гражданским! Если есть фонари и любой другой свет – включите, зажгите его. Как принято?

Секунду стояла тишина, затем снизу донеслось.

– Принято!

Сергей прокашлялся, снова зычно заорал:

– Еще раз – максимум света! Мы заходим!

Группа из четырех человек, возглавляемая Сергеем, включив фонари, вошла в темноту.

13

Прощупывали дорогу впереди фонарями. Мушки пыли порхали, тревожно носились в конусах света. Под ногами хрустел мусор, разлетевшийся после взрыва. Наконец, воздух стал чище – и одновременно прохладнее, тяжелее. Спустившись по лестнице, они сразу увидели несколько включенных и направленных вверх, в потолок, фонарей и светильников. Лучи высвечивали в бетонных перекрытиях светло-серые круглые пятна, перекрестья труб и проводов. Во многих местах горели теплыми робкими лепестками свечи. Среди всего этого скудного света угадывалась темная, живая людская масса. То тут, то там взгляд выхватывал лица. Мужчины, женщины, старики, дети. На краткий миг Сергею показалось, что один из подростков знаком ему. Точно, это был тот самый мальчишка из недавнего странного сна... Сергей тряхнул головой, и морок улетучился.

Несколько секунд бойцы, еще не опустившие автоматов, напряженно вглядывались в сидевших на сумках и расстеленных покрывалах людей. Глаза искали специфический отблеск ствола,

хорошо знакомые опасные очертания и силуэты противника. Обитатели подземелья тоже вглядывались в вооруженных пришельцев, угадывая в них свою участь.

– Мужики, тут нет этих... укров, – раздался знакомый уже им голос, теперь гораздо более близкий.

Говорил сильно не бритый мужчина средних лет, одетый в дутую зимнюю куртку – в подвале было сыро и холодно. Лицо его слабо различалось в темноте. И тут словно прорвало – заголосоли отовсюду женщины и старухи.

– Роденькие, у нас дети тут!.. Третий день сидим!.. Да когда уже вы выбьете их!.. – и затем едва слышное, – Господи, за что нам все это...

Сергей старался до времени не обращать на гражданских внимания. Видел, что у его соратников оружие уже само опускается, словно тяжелея в руках. Тогда он предупреждающе хлопал товарищей по плечу. Командир знал несколько скверных историй. Когда прикрывшийся мирной толпой противник вдруг выныривал из ее недр и открывал шквальный огонь. Люди сразу не скажут всей правды, не выдадут с ходу тех, кто повязал их жестокими связями, обещал расправу и казнь за предательство. Позже, когда бой отойдет в прошлое, а врага, как клеща, оторвут от тела народа – люди снова станут собой. Но не сейчас. Схватка далека от финала. А потому Сергей вел свою группу по периметру подземелья, вдоль стен, внимательно прочесывая его лучом фонаря. Подвал уходил широким приземистым тоннелем дальше, вдоль дома. Через полчаса они прошли его целиком, все было чисто. Только теперь командир разрешил опустить оружие, пугавшее мирных.

Двигаясь вдоль дома, они обнаружили другие выходы наверх, в остальные подъезды. Дмитрич осмотрел двери – все они были заминированы изнутри.

– Справишься? – спросил Сергей.

Шахтер поскреб небритую шею в раздумьи.

– Справлюсь. Наспех делали, простенько.

– Пока погоди, пообщаемся еще с людьми, расспросим.

Сергей подозвал мужчину, что разговаривал с ними. Тот подошел несколько настороженно, в нем чувствовалось напряжение.

– В подвал есть другие входы, кроме как из подъездов?

Мужик помедлил с ответом секунду, потом промолвил:

– Нет, других нет, – Сергею не понравилась эта пауза.

– О гарнизоне что знаешь? Расскажи.

– Мужики, я обычный житель, спустился сюда как все, когда азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в дом зашли. Я их и не видел толком.

– Кто-то же заминировал двери в подвал, – Сергей смотрел мужчине прямо в глаза, стараясь уловить их тончайшие настроения, – изнутри, а потом вышел отсюда. Верно?

– Я за ними не следил, мне есть чем заняться, у меня жена, ребенок на шее, – мужчина говорил ровно, но смотрел куда-то в сторону, стараясь не пересекаться взглядом с Сергеем.

– Ладно, – промолвил командир, помолчав немного, – пошли к вашим. Двинулись в темноте навстречу человеческой массе. Люди расступались перед ними, давали дорогу в центр толпы.

– Граждане, – начал Сергей, – за ваш дом, за весь квартал сейчас идет бой. Пока он не окончен, мы не можем выпустить вас отсюда, это опасно. Придется ждать. С пополнением пришлем вам воды и медикаментов. Раненые есть?

– Есть... – отозвался чей-то слабый голос, человек, очевидно, лежал.

– У него осколочное. Зацепило еще вчера, во дворе, – пояснил неизвестный из темноты.

– Скажем, чтоб медик к вам забежал.

Сергей отошел от гражданских, но кто-то вдруг нагнал его и полушепотом спросил:

– Служивый, ты, видно, за главного тут... Скажи, миленький, ты Михайла Сирко не знаешь случаем?

Сергей обернулся, взгляделся – говорила пожилая женщина. Ее лицо, чуть освещенное далекой свечой, было испещрено морщинами, особо глубокими в полутьме. Выражение на лице тревожное, озабоченное. Она говорила волнительно и торопливо:

– Это сын мой. У вас служит, уж восемь лет как. Не слыхал о нем? Живой он, целый, или...

– А как позывной его? У нас, знаете, по именам редко.

– Атаман его позывной... по фамилии взял.

Сергей порылся в голове. Атаман, Атаман... Кажется был такой...

– Давайте я разузнаю, и вам передам. Найдется ваш сын, не переживайте. Геройствует где-нибудь.

– Спасибо, я буду ждать!

Сергей молча кивнул, снова повернулся уходить, но женщина робко, торопливо взяла его за руку.

– Служивый, война-то еще долго? Ближе конец?

Сергей не ответил сразу, руку не отнял. Он сам нередко задавал себе это вопрос.

– Для вас все скоро кончится, – сказал командир уклончиво, – а в целом... Как Бог даст. Когда добудем победу – тогда конец.

– Вы только не уходите теперь...

– Не уйдем. Никуда не уйдем, мать, – сказал Сергей и крепко пожал ладонь женщины.

14

К вечеру донецкие полностью заняли фронтальный дом и два примыкающих – один из них брала другая штурмовая группа, работу которой они могли слышать в паузах своих схваток. Все повторялось снова и снова – скоротечные бои на лестничных клетках, броски гранат в полуоткрытые двери и проломы в стенах, стрельба в пространстве тесных для боя квартир. Они выдавливали противника из здания, словно пасту из тюбика. Вечером, все потные от постоянного движения и чумадые от поднимаемой взрывами пыли, они наблюдали итог ратного дня – из крайнего подъезда противник уходил в последний, нетронутый еще штурмом дом Бастиона. Казавшиеся из окон совсем небольшими, игрушечными, фигурки солдат по одной быстро преодолевали двор, стремясь к ближайшему подъезду. Штурмовики открыли огонь, почувствовав себя в недавней шкуре противника, но бегущих начали плотно прикрывать, оттягивая внимание на себя. В итоге лишь двоих удалось перехватить по дороге, а добрый десяток пополнил гарнизон последнего дома.

Дело шло к сумеркам. Солнце едва виднелось из-за плотной застройки, еще давало о себе знать бронзовым свечением над домами. С верхних этажей светлой полосой виднелось отражавшее небеса манящее море. В порту грохотало – там все еще шел бой, который, возможно, продлится и ночью. Распласталась у берега серой мрачной громадой промзона – зловещий комбинат «Азовсталь».

Их дневная страда завершилась, но предстояла другая работа войны. Взятые дома предстояло оборудовать огневыми позициями для поддержки дальнейшего штурма. Старый шахтер Дмитрич взял на себя руководство, весь удивительно оживился, словно и не устал после долгого ратного дня. Исполняли его указания свеженькие бойцы из группы закрепления, заходившие в дом с тяжелыми ящиками БК, гранатами и мешками с землей. Утомленные же за день штурмовики расположились на отдых в одной из квартир. Отряд Сергея за день ополовинился – двое «двухсотых» и трое с серьезным ранением. Сейчас, когда он сидел на полу, прислонившись спиной к дивану, рваному от попадания пуль и осколков, перед внутренним взором то и дело вставали погибшие. Сердце было придавлено тяжестью. Но Сергей не поддавался этому чувству, потому что разумом знал – потери малы. Случалось так, что штурмовая группа за день стачивалась целиком, и на развитие

купленного кровью успеха заходили уже новые люди. Штурмовики в городской войне словно бегут некую жуткую эстафету – павшие и раненые передают обгащенный кровью флажок живым и здоровым, продолжающим бег. Затем все повторяется. Тех, кто пробежал всю дистанцию от старта до финиша, почти нет, они исключение из общего правила. Сергей пока был таким исключением. Он не выходил из войны уже восемь лет, обратившись из влекомого душевным движением добровольца в профессионального воина. Большинство из тех, среди кого он начинал ратный путь, уже были на другом берегу. Кто-то давно, а кто-то лишь несколько дней назад сошел с дистанции, передав эстафетный флажок товарищам по оружию. Эта был их общий забег, их единое дело – павших и уцелевших. И Сергей знал – победа также будет принадлежать сразу им всем.

Он вынырнул из мыслей, в которые едва погрузился. Его всегда удивляла эта разница состояний – человек в бою и на привале. В бою мысли становились важнейшим соратником – их невидимая стая словно кружила чуть впереди в пространстве и времени, предупреждая о вероятных опасностях. «Здесь будет засада. Сюда брось гранату. Погоди, не спеши, позови помощь. Загляни в эту дверь. Наблюдай, не суйся пока никуда. Беги вперед быстро и падай в укрытие, увидят – сразу накроют». Это был одновременно внутренний военный совет и личная фронтовая разведка. В бою мысли подчинялись главной цели – выполнить задачу и выжить.

На привале же начиналась старая «мирная» песня, знакомая каждому, кто иногда со стороны следит за собой. Мысли расползаются по бытию во все стороны – опять же, во времени и пространстве. Словно сами собой появлялись думы о далеких местах и о прошлых делах, возникали вопросы, прогнозы, пророчества.

«Почему я думаю обо всем этом сейчас?» – останавливает иногда удивленный человек этот странный хоровод. Мысли, прекратив на миг блуждающий танец, с недоумением смотрят на него. Человек разводит руками, и хоровод продолжается.

К Сергею навязчиво приходили образ жены и тревога о ней и о будущем сыне. Дошла весть, что враг из мести и злобы стал плотнее обстреливать город. Лезли в голову жуткие сцены, безжалостно терзая сердце. Сергей упрямо гнал все это прочь от себя, твердо зная, что сентиментальность вредна, что грустить и горевать о семье перед боем – плохая примета. Чтобы чем-то занять сознание, он начал проверять содержимое своего небольшого походного рюкзака. Почти сразу наткнулся на подобранный в первом подъезде небольшой томик Платонова с незнакомым, бьющим

в глаза названием-лозунгом: «Смерти нет!» Слегка затертая алая обложка пробита темным осколком, намертво скрепившим полкниги. Остывший металл ударил прямо в центр слова «смерть», в букву «е». Сергей хмыкнул под нос: «Символично». Открыл книгу с той страницы, куда не дошел осколок, в глаза бросились строки, аккуратно выделенные бывшим хозяином серой линией карандаша – так делают школьники и студенты, готовясь к уроку.

«Артемов вышел обратно к батарее. Уже ночь приникла к земле. Со стороны Азовского моря дул и напевал в пустоте, словно разговаривая сам с собой, морской теплый ветер. Отсюда уже недалеко был Крым, здесь уже слышно было дыхание „земли полуденной“, за которой открывалось великое, влекущее пространство южного мира».

Сергей удивленно вскинул брови. Он был суеверен и считал любые совпадения неслучайными знаками. Перевернул несколько страниц, снова окунулся в рассказ.

«Артемов недавно прочитал в газете, что война есть исступление, и улыбнулся над ошибочностью этой мысли. Он знал, что война, как и мир, одухотворяется счастьем и в ней есть радость, и он сам испытывал радость войны, счастье уничтожения зла, и еще испытает их, ради того он и живет на войне, и другие люди живут. Еще недавно он зашел на поле боя в два дома на окраине Мелитополя, разбитых его орудиями, и он увидел там мертвых немцев, прижавшихся перед гибелью друг к другу в последнем отчаянии, перед тем как их накрыл смертный огонь. Артемов вздрогнул тогда от восторга; он увидел глазами и узнал на ощупь свое великое творение: убийство зла вместе с его источником – телом врага. И ему не жалко было тогда разбитых в прах домов, а по руинам улицы он прошел как по аллее созидания – в трупах противника там лежало поверженное, мертвое злодейство земли».

Сергей отложил книгу. Он вспомнил живых нацистов, которых изредка наблюдал на допросах. Говорившие чисто по-русски, со славянскими именами и лицами – все они были исколоты печатями зла и истово служили ему, сдаваясь в плен лишь от безыходности, а зачастую, предпочитали смерть. Демоны. Это действительно были нацистские демоны, поселившиеся в человеке. Невольно перед внутренним взором Сергея встали картины убитых сегодня врагов. Он покопался в себе и да, нашел ту жаркую радость даже самой малой победы, о которой прочитал сейчас в книге. Но было и иное. Всю долгую эту войну, несмотря на ожесточение схваток и благородный яростный гнев, его не покидала глубинная боль. От того, что так вышло, что русский и малоросс убивают друг друга. И поразмыслив еще, он понял, в чем состоит

огромная разница той, прежней, и этой, новой войны с нацизмом. Тогда на их землю пришел чужак, немец, тевтон. Он ощущался как злая стихия, близкое и родное в нем было легко не заметить. Теперь же Россия воюет с огромной обезумевшей частью самой себя, с темным своим отражением, пленившим миллионы людей, не так давно братских по духу и слову. Злая черная сила оцетинилась пушками, гнала мужиков на убой, под огонь ракет, орудий и минометов, но сама оставалась недосыгаема. И Сергей чувствовал, что железом ее не убить, что, высосав всю кровь из народного украинского тела, она скроется, спрячется, затанцует в поисках новой жертвы – если не найти для нее другого оружия...

Он снова перевернул несколько страниц.

«На берегу Сливянки капитан Артемов узнал, что такое долгая смерть, и стерпел ее, пока она длилась. «Что же такое человек? – думал он позже с удивлением и удовлетворением. – Все, что было, что пережито, что мы знали как трудное дело, – было легко, и то было маловажным, то было только началом и даже слабостью человека, – мы тогда еще не испытали всего веса зла на человеческую грудь, мы не чувствовали как следует врага. Лишь теперь я знаю кое-что, как надо драться».

Чьи-то близкие шаги отвлекли его от чтения.

15

Марию везли на «Скорой» по вечернему Донецку. Машина шла в темноте одновременно скоро и плавно – шофер был мастером своего дела, он наизусть знал все резкие повороты, щербины и ямы в асфальте. Но Мария все равно в тревоге держалась за живот, в котором завершались последние приготовления к рождению нового человека. Иногда живот каменел, и женщину мучила схватка. Чтобы стерпеть боль, которую она принимала со странной для самой себя внутренней радостью, Мария закрывала глаза и сосредоточенно ритмично дышала. В темноте опущенных век представлялось лицо ее сына – он был уже словно мальчишкой-подростком, поразительно похожим на отца.

Когда боль проходила, она старалась подольше смотреть в окно, отвлекаясь сознанием. На город уже опустилась пелена густых сумерек. Улицы освещались желтым светом высоких фонарей-истуканов, виднелись местами витрины еще работавших магазинов. Воюющий город был уже по-вечернему тих, и от этого только отчетливей слышалась далекая канонада.

Молодой фельдшер, сидевший напротив Марии, был, очевидно, неопытен, не возил рожениц, и потому не знал, куда себя деть. Он то порывался начать пространную беседу, то хотел в очеред-

ной раз зачем-то померить женщине пульс и давление, затем предлагал выпить воды, тут же спрашивал что-то нелепое у водителя. Оторвавшись взглядом от улицы за окном, Мария с тихой улыбкой за ним наблюдала. Наконец решила спасти мужчину от треволнений и сама завела разговор.

– Скажите, вы давно работаете?

Фельдшер, обрадовавшись вопросу, радостно улыбнулся, но ответил как-то робко и немного виновато:

– Честно говоря, не очень. На роды, знаете, впервые выехал.

– Ну, это, слава Богу, еще не роды, – поправила его Мария, – а сколько же вам лет?

– Двадцать два.

Мария внутренне удивилась, хотя виду не подала – медик оказался еще моложе, чем она предполагала. Вдруг вновь пришла схватка, и женщина прикрыла глаза, погрузив себя в пульсирующую тьму, слушала ровный гул мотора и шуршание шин по асфальту. Наконец, боль миновала, Мария открыла глаза.

– Много сейчас приходится ездить? – спросила она неожиданно для самой себя.

– На обстрелы, вы имеете в виду? – уточнил парень, обыденно, словно говорил о чем-то насквозь прозаичном, – Да, много. Почти как тогда, в начале...

Мария сперва понимающе кивала, а потом спохватилась:

– Как же, вы ведь тогда еще не работали?

– Конечно, я в школе тогда учился. У меня мать с вызовов не вылазила, круглые сутки на работе. А потом меня самого, того... зацепило.

– Зацепило?

– Попал под обстрел. Осколками здорово посекло. Мне еще повезло, одноклассника убило тогда. Представляете, родная мать на вызов приехала. Она сама не знала, случайно так вышло. Сперва не поняла, машинально все делала, да и я весь в крови, в пыли, узнать трудно. А как поняла, кто перед ней – чуть обморок не случился. Такая история.

Мария только понимающе кивала. А у самой внутри пробудились и теперь на разные голоса звучали другие схожие истории – от знакомых, друзей, родственников. История гибели ее бабушки...

– А что сейчас ваша мама?

– Ничего, работает. Мы теперь с ней вдвоем воюем. Хотя я скоро того... – внезапно машина довольно круто повернула и остановилась.

– Приехали, док! – зычно, довольный мастерски совершенной работой, пророкотал спереди водитель.

Молодой фельдшер засуетился, приготовляясь к тому, чтобы впервые в жизни вести под руки роженицу.

– Вы сама пойдете? Или, может, каталку? У вас как схватки, учащаются? Надо было давление еще раз померить, заговорили вы меня!

Мария попыталась его успокоить:

– Сама, ноги же у меня целы. Помочь только надо. Скажите, а что вы «того...»? О чем вы в конце сказали?

– Я? На фронт пойду, заявление написал. Вообще у меня бронь, но там сейчас такие как я, медики, нужнее, чем здесь.

Мария внимательно посмотрела на парня, словно пытаясь в нем приметить что-то особенное. Но ничего, казалось, не было необычного – парень, как парень, каких встречаешь по жизни десятками. А потом вдруг увидела. Шрамы. В полутьме салона они едва проступали белыми рельефными пятнами на слегка небритом лице.

– У меня муж сейчас на войне, – сказала она зачем-то.

– Ну вот и передам привет. Давайте, пойдете, ступайте сюда, – фельдшер взял ее под руку.

Мария ступила сперва неуверенно, словно разучилась ходить за эти полчаса езды на машине, но ноги быстро вспомнили свое дело. Опершись на руку медика, женщина вышла из машины, и вдвоем они направились к дверям, за которыми горел желтый свет, и мелькали люди в белых халатах. По дороге ее настигла сильная схватка, и Мария вдруг испугалась того, что ждет ее впереди. Роды. Неведомое еще, истонченное женское испытание. Неизбыточная материнская мука. Стало совсем страшно, начала дуть паника. Пронеслась беглая мысль, что, быть может, такой же страх ощущает муж перед очередным боем. Страх неизвестности.

«Мне, значит, тоже сражение предстоит, – подумала она уже спокойнее, – ну, жена офицера, не подведи».

Она закрыла глаза и, медленно и ритмично, как учили, задышала, переживая схватку. Страх отступил, а вскоре и боль. Мария и фельдшер вновь направились к двери.

16

– Отличная книга, командир. Не читал? – сказал подсевший рядом Остап, – почти библия для нашего брата. Таких коммунистов, как тогда, больше не было.

Сергей заложил страницу, на которой остановился, оглядел еще раз обложку. Аскетичный советский стиль импонировал ему. Погладил большим пальцем то место, где бумагу пробил осколок.

– Раненая книга, – сказал он, – будем с ней друг друга лечить.

- Что рука?
- Ничего, повоюю еще.
- Как пополнение, провел агитацию?

Остап хмыкнул.

– Там Дмитрич командует. Он як у шахты своей развернулся. Ты его видел? Прораб!

– Дмитрич наш – клад, – Сергей и Остап совпали по настроению, обоим хотелось отвлеченно порассуждать, – он – отец-солдат. В Отечественную такие были хребтом армии, у них большой опыт, они жизнь и работу знают.

– Не согласен. Читал у одного генерала, что идеальный воин – человек двадцати пяти лет. Уже не хлопчик, мужчина, где-нибудь потрудился, технику знает. Но семьи еще нема, а, значит, лишних мыслей и потягу до дому. Воюет на полнуюю.

Сергей задумался, вспомнил свою тревогу о семье.

– Пожалуй, он прав, этот генерал.

Посидели еще немного молча, прислушиваясь к шумам на этажах. За окнами уже сгустились сумерки, противника из соседнего дома можно было не опасаться, и Дмитрич развернул фортификационные работы на полнуюю. Топали по лестницам бойцы, нося тяжелые мешки с песком и ящики с боеприпасами. Двигали по квартирам мебель, переоборудуя позиции с одних окон, у которых недавно держал оборону противник, к другим, обращенным во двор. Ноги путались в темноте, мужчины напряженными от тяжести голосами тихо незло матерились.

Казалось, что это строители заходят в новенький дом, тащат инструменты, пыльные мешки со штукатуркой, приступают к работе. Но это были солдаты, и они созидали не быт, а будущий бой.

Сергею странно было наблюдать оставленное хозяевами обжитое пространство. Мягкие диваны и кресла, потертые в местах, где на них недавно с удобством сидели и лежали. Молчащий темный экран телевизора. Крепкий обеденный стол на кухне, полуоткрытая хлебница, в которой лежала початая засохшая сайка. И тут же рядом – опаленные взрывом обои, кратеры пуль в штукатурке, следы грязных армейских ботинок на голом полу. В голову вдруг впилося другое, виденное им накануне, во время предыдущих боев. Большой дом, похожий на этот, обрушенный от удара снаряда подъезд. Люди, исковерканные, густо присыпанные серой бетонной пылью, словно мукой. Их запекшаяся темная кровь на уцелевшей пепельной коже и лохмотьях одежды. Тела, перемешанные с обломками, в которых с трудом угадывались привычные формы: руки и ноги, грудь и лицо....

Вспомнилось еще что-то далекое, почти забытое, словно прошлая жизнь – его бытие в России, еще до войны. Люди, которые окружали, их тщательно обустроенный быт. Как бы они пережили подобное? Не озлобились бы, не прокляли того, кто принес в их жизнь меч – даже если бьется со злом.

– Как думаешь, поймут местные нас? – спросил он вдруг соратника рядом, – они жили плохо, но тихо. А мы принесли им войну.

Остап ответил не сразу, после раздумья.

– Мы возвращаем свое, командир, – ответил он наконец, – и есть в жизни вещи горше войны. Предательство горше войны. Мы спасаем народ от предательства. От измены памяти и земле. Поругания твоей маленькой книжки, – Остап показал на лежащий рядом томик, – в ней четыре сотни страниц и без счета человеческих душ.

Сергей молча взял в руки словно враз потяжелевшую книгу.

– Библия, говоришь? – без веселья усмехнулся он, – Ну, посмотрим.

17

Наутро все было готово к новому штурму. Ночью в занятых днем домах нарастили силы, подготовили позиции для прикрытия штурмовиков и работы по последнему, самому крупному зданию. Атакующая группа отдохнула, пополнила ряды и боекомплект и наутро готова была к новому броску.

Начали вновь с разведки боем. Выявляли огневые точки, чтоб позже их плотно накрыть при прорыве. Бойцы вели раздражающий, провоцирующий огонь по верхним этажам. Имитировали начало штурма. Но по ним никто не стрелял. Окна молчали.

Это было странно. А странности на войне не любят. Сергей, нахмурившись, слушал по радиации хрипчатый голос комбата.

– Не отвечают, говоришь? Засада, думаешь... Возможно. А что делать, старлей? Надо идти.

– Так точно, идти, – ответил машинально Сергей, ощущая внутри нарастающую тяжесть.

Он уже внутренне поставил себя на место противника и, как ему казалось, раскусил его нехитрый, но опасный замысел. План был в том, думал Сергей, чтобы затаиться, ни одной огневой не раскрыть до начала штурма, не дать противнику ни капли знания о себе – сколько будет огня, откуда он будет вестись. Пусть все станет неожиданным и неудобным сюрпризом. Пусть на все придется реагировать экстренно и в горячке, без какой-либо подготовки. Пусть внезапность и спешка станут союзниками обороны.

Ему нужно было что-то ответить на это. И единственное, что пришло в голову – это пройти по позициям на этажах и поговорить с бойцами, объяснить ситуацию. Но первый же разговор его удивил. Пришедший из резерва слабо знакомый, но очевидно бывалый солдат выдал свою, совсем иную гипотезу.

– Я думаю, они ушли, товарищ командир. С раннего утра пристально все наблюдаю. Никакого движения. Так затаиться нельзя. Они ж не роботы. Такие же люди, как мы. Всегда есть раздолбай и любопытные. Мелькнут, подсмострят, проявятся в общем, даже если не откроют огня. А вот так чтобы вообще ничего – не бывает.

Сергей внимательно выслушал, но не доверился.

Начался штурм. Из-за спины, из частного сектора выехал на ударную позицию танк. Пауза в несколько секунд, наводчик прицеливался, затем плотный хлопок выстрела и гулкой мощный удар – от него содрогнулся весь дом, осыпая с себя дымку пыли. Сразу же, еще сквозь поднявшееся желто-серое марево, стало ясно – проход проделан с первого попадания. Танк, урча, возвращался в безопасное свое логово, а штурмовики приготовились к броску. Сергей хмуρο вглядывался в пустые темные окна без стекол. Ни одна огневая точка врага в атакуемом здании так и не ожила.

– По объекту раздражающий беглый огонь. С появлением активности противника – плотный огонь по позициям, на подавление, – команда Сергея за несколько секунд разнеслась по всем стрелкам, в эту минуту наблюдавшим атакуемый дом в прорезь прицела. Небольшая пауза, и застучали частые одиночные выстрелы, поражающие то одно, то другое окно.

Пробежать в этот раз нужно было совсем немного, всего с десяток метров – от крайнего подъезда до проделанного танком пролома в стене. Бежали по парам, рваной траекторией, с максимальной скоростью. Вот устремились к цели два первых бойца. Сергей невольно закусил губу, ожидая, что сейчас по ним откроют кинжальный огонь... но ничего. Штурмуемый дом молчал. Затем еще пара, и еще. Снова тишина. Вот с тяжким напряжением бежит Дмитрич, а на дистанции от него – порхающий, словно и не отягощенный броником и разгрузками Лихой. Вот, наконец, и их черед. Сергей и Остап один за другим выбегают из подъезда. Впереди, в проеме, им уже машут бойцы. Давай, давай, мол, к нам, командир! Мелькают где-то внизу одетые в берцы ноги, чуть трясется на теле броня и подвесы с гранатами и рожками, чуть болтается на голове каска, туго притянутая за подбородок. Дыхание с шумом вырывается из груди. Сергей бросил быстрый взгляд в сторону, во двор. Увидел детские качели, песочницы, стальные грибочки-мухоморы с красны-

ми пятнистыми шляпками... и вдруг ударил в глаза деревянный крест, могила из свежей земли. Отвернулся.

Спустя несколько минут вся их группа уже была внутри дома. За это время ни один выстрел не раздался со стороны противника.

– Вчистую прошли! – пока еще скромно ликовали бойцы. Они уже ощущали предчувствие легкой победы. «Противник бежал» – вот что за мысль билась в голове у каждого. Но Сергей не давал ей свободы ни в себе, ни в других.

– Всем собраться. Пока весь дом не зачистим, никаких фанфар.

И снова началась боевая работа. Площадки, квартиры, лестницы – и везде пусто. Нашли лишь несколько хитрых растяжек – признак того, что противник уходил не в панике, а по замыслу. Об этом же говорило отсутствие брошенного БК, провизии, медикаментов, наркотиков. О том, что недавно эти квартиры были боевыми позициями, говорили лишь грязные следы на полу, в иных местах – пятна крови от раненных или погибших. На обоях красовались послания бывших «жителей» – посылались на три буквы русские и дончане. Бойцы смотрели на эти бессильные обозленные строки с усмешкой.

Вскоре еще один танковый удар сотряс дом с другого края – это входила на штурм вторая группа. По замыслу, они должны были встретиться в центре, зажимая противника в тиски – ведь борьба ожидалась нешуточная. Выходило пока что иначе.

Квартира за квартирой, этаж за этажом, подъезд за подъездом дом переходил в руки штурмующей группы – и все совершенно без боя. Волей-неволей Сергей начал проникаться легкомысленным настроением.

«Ушли! И правда – бежали. Но как и куда? Ночью дом пасли наблюдатели – они бы заметили что-то. С той стороны Бастиона уже подходят наши, туда драпать бессмысленно. Но противник об этом мог и не знать. Нужно сообщить комбату, пусть скажет соседям. Но сначала – зачистить дом до конца. Ведь есть еще подвал...»

Им остался последний этаж. В окнах уже ясно виднелось плоское синее море. Оно обещало покой и скорое завершение штурма – тихого и бескровного. В соседнем подъезде через стенку уже слышна была работа соратников – такая же размеренная и бесшумная. Сергей окончательно убедился – дом оставлен, сдан, как и весь Бастион. Это победа, она уже горит в их руках.

Вдруг частая стрельба порвала воздух. Все рефлекторно взяли наизготовку, но через секунду сообразили – стреляют где-то далеко, совсем не в их доме.

– Где это? У соседей? – удивленно обратился к Сергею Ли-

хой. Но тот лишь пожал плечами. Эта версия показалась всем правдоподобной, и бойцы, соблюдая осторожность, стали выглядывать в окна, выходящие на частный сектор с тыльной стороны Бастиона. Его, по сообщениям от комбата, уже занимало другое подразделение. Но в частниках было тихо. И вдруг до всех дошло очевидное – стреляют сзади, в их тылу, там, откуда они начали штурм!

18

Группа разом обратила взгляды во двор. И точно – в окнах того самого, первого дома мелькали люди, сверкали отсветы выстрелов, несколько раз громыхнули гранаты. Сергей по рации спешно стал вызывать группу закрепления, расположенную в здании, ставшем опорной базой. Никто не отвечал, они слышали лишь немой шум эфира. Бойцы молча и хмуро переглядывались друг с другом. Приподнятое настроение в ожидании скорой победы разом улетучилось, его место заняло гнетущее ощущение подлой беды, усугбляемое их бездействием.

Наконец, рация ожила. Вызывал комбат.

– Старлей! – голос бывшего инженера был резок и груб. – Почему не зачищен подвал?! Укропы устроили западню! Лезут, как тараканы с подвала! Пацанов взяли врасплох, у них большие потери! Срочно на выручку, пулей!

Сергей внутренне обмер от этих слов. «Подвал?! Но мы все прошли, там одни мирные. Мы же все прочесали!» – билась в голове мысли, и вдруг он вспомнил того мужика, что вызвал неясное, смутное подозрение. «Это он, гад, он привел их!»

– Так точно, выдвигаемся, – коротко отчеканил в эфир Сергей и окончил сеанс связи.

– Через двор рискованно, командир, – как только умолкла рация, сказал Лихой, – потеряем людей, можем совсем не дойти.

– Двор нам не нужен. В подвале должен быть ход. Все, кто был в этом доме, ушли по нему – я уверен. Мы пойдем по их следу.

Группа быстро двинулась вниз.

19

Деревянная дверь в подвал была заминирована. Они бесцеремонно подорвали ее гранатой. Два взрыва, один за другим сильно ударили по ушам – Сергей торопился и толком не укрылся. В голове поселился неумолкающий звон, но он лишь отмахнулся от него. Его поедало горькое чувство вины, и он страстно стремился скорее испустить промах.

Бегом в подвал, лестница, спуск. Включить фонари, не терять бдительность. Поворот, еще один – и вот их группа под домом. Ее ведет командир.

Луч фонаря уперся в знакомое уже зрелище – масса гражданских, все почему-то сидя или лежа, нет тех, кто встречает их стоя. Белый свет ловит растерянные, перепачканные подвальной грязью лица. До того, как Сергей успел сказать им что-то, одна из женщин вдруг надрыбно, на грани истерики крикнула:

– Миленькие, не стреляйте! Не стреляйте в нас, у нас дети тут!!!

За одно лишь мгновение Сергей успел уловить мысль в своей голове: «О чем она? Зачем мне стрелять в них?». А в следующее уже не было места раздумьям: из-за спины гражданских, из темноты подвала по ним открыли огонь. Ему обожгло шею, ударило в руку и грудь. Сергей рефлекторно успел нажать на курок, и снайп пуля, в темноте похожих на огромные искры, нецельно вылетел в сторону врага. В следующее мгновение Сергей рухнул на спину.

Сидевшие люди с криками прижались к бетону, над ними началась беспощадная перестрелка. Шедшие за командиром бойцы начали закручивать бой, не прекращая огня и стремясь заставить противника поворачивать вправо. Сверкали вспышки выстрелов, били в бетон и в тела смертоносные белые иглы, звенели о пол россыпи гильз. Враг не ожидал такого бескомпромиссного встречного боя, рассчитывал на внезапность засады, на легкую победу. Он начал отходить куда-то во тьму и вскоре скрылся.

Все завершилось в десять-пятнадцать секунд. Сергей лежал на спине, ощущая, как под простреленной навьлет рукой растекается горячая кровь. Вторая пуля, угодившая в бронезилет на груди, оставила лишь пульсирующий болюю ушиб. Третья едва задела шею, сорвав клочок кожи и не задев даже мышц – жуткое, невысказанное везение. Пройди она в нескольких миллиметрах правее, он бы лежал сейчас с простреленным горлом, хрипя и захлебываясь собственной кровью. Над ним зависло чье-то лицо, которое он не сразу узнал в темноте. Это был Лихой.

– Ты как, командир? Жив?

– Жив... – Сергей с трудом сел, опершись на здоровую руку. – Какие у нас потери?

– Плохо, командир... Дмитрича и еще одного парня наповал, с первой же очереди. Еще два тяжелых трехсотых, среди них Остап. Ну и ты.

Сергея словно обухом по голове ударило. Дмитрич... Звон, еще не прошедший после тех взрывов у входа в подвал, превра-

тился в густой, давящий гул. С помощью Лихого он поднялся на ноги, направился к лежащим рядом бойцам, над которыми орудовал с бинтами и шприцами медик. Свет фонаря выхватил тела убитых. Дмитрич лежал на спине, раскинув руки, слово хотел обнять этот мир напоследок. Шея была прошита очередью – та рана, от которой Сергея только что уберег случай. На бетоне под ним растекалась черная в темноте кровь. Сергей сжал губы, заиграл желваками, подавляя рвущийся из горла стон. В стороне лежали и сидели раненные. Фонарь осветил побледневшее, изменившееся лицо Остапа.

– Зацепили меня znovu, суки, – сказал он, пытаясь выдать из себя улыбку. Потом выражение его лица стало каким-то виноватым, подавленным, и он произнес, – может, и не пройду с червонным знаменем по родному Крещатику... Вы там за меня отшагайте.

– Отставить похороны! – неожиданно резко и зло крикнул Сергей, – сам пойдешь в первом ряду, понял?!

В голове его еще стояли звон и гул. Он повернулся к робко принимавшим сидячие позы гражданским, до того лежащим вповалку.

– У вас все целы?

Люди осматривались вокруг в поисках раненных. Каким-то чудом бешеная перестрелка над их головами никого не убила, а лишь легко зацепила рикошетами нескольких человек.

– Помогите нашим бойцам. Мы оставим здесь медика, выполняйте его указания.

Люди согласно закивали, потянулись к раненым, кто с водой, кто с полотенцами и бинтами. Суеящийся над Остапом и другими парнями солдат начал, руководя процессом, направлять помогающих.

Сергей обратился к Лихому и остальным уцелевшим штурмовикам.

– Забинтуйте мне руку. Прошло навывлет, биться смогу. Нужно быстро двигаться дальше.

20

Ощупывая фонарями то место, откуда открыл огонь противник, они обнаружили двух мертвецов.

– Почти вслепую уложили, – промолвил походя Лихой. После ранения командира он шел теперь первым. Вскоре луч света выхватил прямоугольный проем, в котором, видимо, скрылся противник. Лихой пустил в него длинную очередь – звук ударивших о стену пуль вернулся эхом откуда-то издалека.

Это был старый канализационный тоннель, соединявший подвалы домов в единое целое. По полу тянулись толстые черные трубы, по потолку и по стенам – пучки кабелей, уже порядком

провисшие за долгие годы. Идти было сложно – ноги помещались лишь в две узкие полосы бетона меж труб. Любое неосторожное движение в сторону могло быть чревато вывихом или переломом. Быстро двигаться по такому тоннелю невозможно, а потому нырнувший в него противник скорее всего затаился и ждет удобного момента, чтобы вновь атаковать – такой вывод сделал Сергей, как только они зашли внутрь.

– Могут быть боковые карманы и рукава в стороны, в другие дома. Всем быть начеку, их надо увидеть сильно загодя, – сказал он бойцам. Но те и сами ощущали таившуюся впереди опасность. Двое взяли на прицел левую стену, двое – правую, а Сергей с Лихим отвечали за то, что происходит впереди.

Шли медленным осторожным шагом, чтоб производить как можно меньше шума. В однообразном узком тоннеле время быстро потеряло свое измерение. Трудно уже было понять, долго они идут или совсем недавно начали путь. Неясные гулкие звуки доносились спереди и сзади, с разных концов тоннеля. Но не их жадно ждали уши бойцов – они стремились уловить любой близкий, находящийся где-то здесь, неподалеку шорох, неосторожный скрип подошвы, стук оружейной стали о стену. Затаившийся враг – он был впереди, где-то рядом, он приберет для них смерть.

Но пока было тихо. Казалось, что они не встретят никого и благополучно дойдут до конца. Но как только Сергей в очередной раз подумал об этом, рядом раздался негромкий спокойный голос.

– Командир, справа.

Сергей метнул взгляд и увидел: фонарь осветил проход, уходивший в сторону от основного ствола тоннеля. Никому не нужно было слов и команд, Лихой достал из разгрузки гранату, остальные взяли темную полосу прохода на прицел. Лихой уже дернул чеку и занес руку, как что-то мелькнуло в проеме и полетело в их сторону. Враг оказался на долю секунды быстрее.

Гранатный бой в узких закрытых пространствах ужасен. Летящие сферой осколки достанут всех, они бьют кучно и насмерть, полные энергией взрыва. Никакой бронжилет, никакая каска не в силах спасти – осколки найдут незащищенную шею, лицо и другие участки. Выжить можно лишь укрывшись за крепкой преградой, которая не пропустит смертоносный металлический рой. В пылу боя, когда человек теряет ощущение личности и сливается со своим подразделением, когда желание спасти братьев одолевает страх смерти – такой преградой нередко становится тело солдата.

В темном тоннеле, при скудном свете ручных фонарей невозможно было быстро схватить и перебросить врагу его же гранату. Но рефлекс сильнее осознания этого факта. В момент, когда вра-

жеский снаряд упал штурмовикам под ноги, а граната Лихого улетела за угол, где укрылся противник, Сергей инстинктивно наклонился вниз, с тем, чтоб ловко подобрать смертельную посылку и отправить ее адресату. В ту же секунду над его спиной раздались оглушительные в бетонной коробке выстрелы автомата, и все вокруг озарил их яркий мерцающий свет. Здоровая рука черпнула темноту под ногами, скребнула пальцами влажный грязный бетон. Ничего. Ладонь сжала в себе пустоту. В очередной вспышке он увидел его – маленький черный шарик, его невзрачная смерть – он лежал чуть сбоку, Сергей прогадал не так уж и сильно. Нутро опустилось, потом разом стремительно поднялось. Были возможны два мгновенно и твердо им осознанных действия – рвануться в сторону, подчиняясь животному чувству, или упасть на гранату, прижав ее телом. Выбор судьбы, сжатый в исчезающе малую долю секунды. Он выбрал – он упал на гранату.

«Твою мать, еще бы успел...», – с какой-то глупой и злой, болючей досадой думал Сергей, лежа на холодном бетоне, слушая свое шумное дыхание и гулкое сердце. Но это была иллюзия – последние его мгновения в сознании удивительно растянулись. Вдруг все суетное ушло – перед глазами встали жена и его только что родившийся сын. Любимая смотрела на него с глубокой невыразимой печалью, и на руках держала младенца. У него был умный, как у Христа на иконе Богородицы, взгляд. «Сынок», – пронеслось в голове, и сердце, замерев, наводнилось любовью. Затем грянул взрыв. А за ним другой – за углом. Потом били вновь автоматы, и Лихой остервенело кричал что-то в пылу боя. Но Сергей уже не слышал всего этого. Он лежал на боку, отброшенный в сторону смертельным ударом. В его ушах стоял пронзительный звон, глаза были ослеплены вспышкой. Из тела, наспигиванного осколками, вместе с горячей кровью исходила душа.

Потом, когда скоротечный бой был окончен, Лихой тормозил его, скрипел зубами, и скупые слезы текли у него по лицу.

– Мы сделали их, Серега! Сделали, слышишь?!

Не раз и не два он видел вблизи смерть товарища, но никогда не уходил перед ним его друг-командир, его старший брат. И в момент, когда почувствовал, что держит в руках уже тело без жизни, он поклялся себе, что доведет все до конца. Все, на что набросила его вместе с народом судьба. Этот бой, тяжелый штурм Мариуполя, всю войну, и чтобы ни пришло за ней следом. Всю тяжесть истории вынесет русский солдат.

– За мной, братья! – хрипло крикнул он остальным бойцам, и украдкой смахнул грязные соленые слезы. И они двинулись дальше, вперед по тоннелю. Навстречу войне и судьбе.

На пологий песчаный берег лениво находили одна за другой зеленоватые волны. На раздольном и пустом пляже сидела прямо на песке странная пара. Пожилая женщина в грязном от долгого пребывания в подвале, теплом пальто. И небритый, потрепанный боями солдат в камуфляже, при полном «наряде»: бронежилет, разгрузка, каска на груди, на коленях автомат. Мать и сын.

За их спиной виднелись обожженные пожарами, избитые снарядами танков дома. Не так уж далеко в стороне, тоже у моря, грохотали обстрелы промзоны. Их окружала война. Но они говорили о мире. О том, что был, и о том, что только будет.

– А помнишь, как вы летом с мальчишками тут целый день бегали, а я приходила тебя домой загонять?

– Помню, конечно. Ты иногда еще и отца подключала.

– Да вас же не вытащить отсюда! Черные, как негрityа, толщие все! Вам дай волю, вы б и не ели вовсе.

– Да куда уж, мам. Голод не тетка.

– Ничего, вот война кончится, вернешься, своих заведешь, я на тебя посмотрю, как за ними по берегу будешь гоняться.

Молодой мужчина в камуфляже улыбнулся морю, приобнял мать, посидев так немного, произнес:

– Обязательно, мам. Обязательно.

Несколько минут пребывали в молчании, слушая размеренный шум волн. Вдруг в промзоне что-то громыхнуло особенно сильно. Мать поежилась.

– Долго еще война, сынок?

Мужчина просто пожал плечами.

– Не знаю. Долго.

Женщина вздохнула и сказала то, что, видимо, уже говорила не раз.

– Подумать только... Восемь лет... Восемь лет по разные стороны. Как же ты изменился! Жаль, отец не дожил. Все война эта, чтоб ей пропасть. Как много уже ребят положили, Господи...

Мужчина ничего не ответил. Мать продолжала.

– Тех вот, с которыми ты тут играл. Кто на той стороне, кто на этой. Сколько в живых-то осталось, а?

– Думаю, немало живых, – ответил как-то нехотя сын.

– А командир-то, что наш дом брал, тоже – погиб. Я видела его в подвале, спрашивала про тебя. Такой же, как ты, молодой еще совсем. Погиб. Господи, сколько еще это будет...

Сын знал данную историю лучше матери. Она мгновенно разнеслась пожаром по всему союзному войску. Командир штурмовой группы спас своих бойцов, прикрыв их от гранаты, приняв всю ее

смертоносную силу в себя. Азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили в тех домах западню, ударили в тыл и пытались уйти, прорваться из клещей, в которые их зажали. Контратаку потом возглавлял сам комбат, и «пожар» с трудом удалось потушить.

– Сколько нужно, столько и будет, – сказал молодой мужчина, и мать услышала в его речи железные непоколебимые ноты. Она узнала в них голос отца. И, ничего не ответив, тяжело вздохнула.

22

Мария катила коляску, в которой спал круглощекий малыш. Парк, где они каждый день гуляли с сыном, был полон молодой сочной зеленью, жадно вбиравшей энергию майского солнца. На лавочках тут и там сидели люди: молодые и не очень мужчины в военной форме, женщины рядом с ними, счастливые редкому совместному времени и перерыву в обстрелах. Матери, жены и дочери. Сидели суровые донецкие старики, щурившиеся от яркого света, подростки что-то тыкали в телефонах. Вокруг была жизнь, и раненной душе Марии было приятно ее наблюдать. Это ей помогало.

Проходя мимо очередной, увесившейся на лавочки кампании, она вдруг уловила.

– «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдался сегодня. Марик взяли, наконец. Полностью наш! Мариуполь...

За миг два несовместных, казалось бы, чувства возникли внутри. Жаркое, горькое счастье тяжелой победы, исходившее от говоривших, и Мария знала – его разделит сегодня весь их народ. И ее личная, ни с кем неделимая, неизбывная боль. Она боялась ее, и берегла ее. Боль была последним, что осталось от мужа.

Жгучий солнечный луч прорвался сквозь кроны деревьев и упал на личико малыша. Мальчик поморщился, нехотя разлепил слегка припухшие глазки и громко, словно случилась большая беда, зарыдал. Мать наклонилась к коляске, взяла на руки сына. Малыш почувствовал, что рядом его самое главное, большое и доброе в мире – мама, вмиг успокоился и засветился той чистой невинной улыбкой, секрет которой знают одни лишь младенцы. Мария отстранила на мгновение сына, словно желая ему что-то сказать, но, увидев на лице сына улыбку, снова прижала к себе, нежно и крепко. По щеке ее катилась слеза. Малыш неуклюже дернул ручкой, с которой еще не умел управляться, и случайно смахнул слезу матери. Борясь с подкатившим рыданием, Мария закрыла глаза, и перед ней, как всегда, когда она погружала зрение и душу свою в темноту, возник ее муж. Сейчас он был счастлив. Он видел через нее своего сына.

ГОСТЬ "ГОРОДА"

СВЕТЛАНА ВОЙТКО

КРУГОВОРОТ ДОРОГ

Перекресток путей

В тёмном купе одни
Мчимся среди миров.
Мимо летят огни
Призрачных городов.

Ты допиваешь чай –
Вечности эликсир.
Музыка горяча,
В ней догорает спирт.

Ровный колёсный стук.
Где-то вдали рассвет.
Лёгким движеньем губ
Я прошепчу сонет.

Дождь в дорогу

Дождь в дорогу – это хорошо.
Значит, есть, как минимум, дорога.
И не важно, сколько ты прошёл,
Ведь никто не знает своё «много».

Дождь стирает прошлого следы,
Бьёт в лицо на новом повороте,
Тушит подождённые мосты
В суеты сует круговороте.

Смоет дождь в потоке капли слёз,
И внутри становится светлее.
Путнику промокшему насквозь
Греться у костра двойне теплее.

Дождь поёт мелодию пути,
Наиграв её на тонких струях.
Главное, услышав, унести,
Песню странствий мудрую, простую.

Может дождь окутать тишиной,
Что услышишь голос свой забытый.
Всё пустое унесёт водой.
Вброд идёшь, свободою умытый.

Собирая старенький рюкзак,
Мысли отпуская понемногу,
Помни, дождь идёт не просто так,
Это хорошо, что он в дорогу.

Январская Ялта

Скрипит канатная дорога
Над Ялтой, над судьбой, над жизнью,
Как шанс смотреть спокойно, строго,
Болтаясь меж землёй и высью.

Иллюзия вперёд движенья
Закружит, как над морем вьюга,
Но исчезает наважденье,
Дорога движется по кругу.

Нет залихвацкого азарта,
Когда отчаянье вцепилось,
Но то, чего страшишься завтра,
Вчера давно уже случилось.

Как хорошо, когда случайно
В кабинке рядом тот, кто нужен.
И на двоих одно молчанье
Средь холода январской стужи.

Февральская сирень

Снежностью дышит февральское утро.
Иней на ветках блестит перламутром.
Режет глаза луч рассветного солнца.
Еле поднявшись, с прищуром японца
Нехотя смотришь: не май за окном.
Б – здесь не смягчает подъём

Дорогами марта

Извини, в этот раз не на крыльях,
А галопом сквозь раненый март.
По тропе серебристой, ковыльной,
Что бесследно сотрут со всех карт.

Из меня никудышнейший всадник,
Мне б не выпасть совсем из седла.
Наплевать на узоры из ссадин,
Довезти бы щепотку тепла.

Возвращаются крылья в дороге.
Ты глядишь в эту темень из сна?
Просыпайся, встречай на пороге.
За мной следом несётся весна.

Жасминовая Луна апреля

Вдруг внезапный букет жасмина.
Непонятно вообще с какого
Перепугу. И в сердце клином
Вбито: снова хочу в дорогу.

Запах в воздухе свежий, чистый,
Заполняющий всё пространство.
Напеваю неслышно, тихо
Позабывшую песню странствий.

Над балконом Луна апреля
Заплутала в дворовых ветках.
Я жасмином дышу, немея.
Пусть всё сбудется этим летом

Майский дождь

Лепестки вьюгой ветер кружит.
Небо прячется в каждой луже.
Тень улыбки в глазах блуждает.
Растворяюсь дождями мая.

В сотнях капель так одиноко.
Сквозь листву память льёт потоком.
Мысли сносит опять в возможность
Невозможного безнадёжно.

На стекле из дождя узоры,
Как и жизнь, протекают скоро.
В них, реальность сменяя снами,
Отражается всё, что с нами.

Будет солнце и день умытый.
Я останусь дождём забытым.
Пусть не выйдет коснуться взглядом,
Всё равно буду где-то рядом.

Летний гост

За одуванчики
над бездной.
Их белый пух
и невесомость.
Слегка чихнёшь –
и всё исчезнет,
и улетит
во тьмы
бездонность.
А истина – она на дне
из одуванчиков в вине.

Летняя передышка

На виражах городских потоков,
Меж бесконечных дедлайнов, сроков
Внезапно выдумать передышку,
Под липой в парке, читая книжку.

Мелькают мысли, дороги, лица,
Под шёпот ветра шуршат страницы.
А жизнь – не книжка, где все ответы.
А жизнь – как кофе и сигареты.

Предсказания сентября

Пальцы резко, остро колет холодом.
Неужели приближенье осени?
Обернётся ночь молчанья поводом,
Растворив вопросы, что ей бросили.

Сны в ночной тиши танцуют с мыслями,
Проверяя горизонты памяти.
В дневнике листы остались чистыми,
Кроме смыслов на полях, в орнаменте.

Видишь – не хватает слов для важного,
Это всё на грани понимания.
Знаки – тени-образы бумажные
Вновь плетут узоры предсказания.

Октябрьская прогулка

Спасибо, Город, что принял
И стал до боли любимым.
Твои пустые аллеи
Под фонарями желтели
Осенней ночью дождливой.

Волшебной стала прогулка.
Мережились в переулках
Проходы между мирами.
Красавицы танцевали.
Промчались лошади гулко.

Под дождевой пеленою
Лишь только нашим с тобою
Стал Город, чудом и сказкой,
Безумно-странно-прекрасной,
Что остаётся со мною.

Первый снег. Декабрь.

На чёрно-белых клавишах берёз
Под позолоты стынущей мерцание
Мелодию, печальную до слёз,
Играет осень с ветром на прощание.

Танцуют в парке двое, греясь, вальс.
Их нежно-горячи прикосновения.
Устало кутаясь в предзимья шаль,
Смывает осень все дождём сомнения,

Стирает от помады красный след,
Оставив догорать рябины юные.
Придёт зима писать другой сонет
Под вой сквозной метели в полнолуние.

Танцуют двое. Вечность длится миг.
Пейзажи чередуются на плоскости.
Снег. Первый. Падает на воротник.
Искрят снежинки звёзд в бездонном космосе.

Возвращение

Предрасветная тень на замшелой скале,
Что исчезнет с восходом. Ты помнишь меня?
Слабый блик на автобусном мутном стекле
На пути. Это тоже, наверное, я.

Эхо песни, растаявшей в шуме берёз.
Паутинка, повисшая на рюкзаке.
Прядь сплетённых волшебною лентой волос.
Я – волна водопада на дикой реке,

Капля в радуге и фиолетовый цвет.
Я – сгоревшая ночью на небе звезда.
Я всегда где-то рядом – пусть кажется, нет –
Растворяюсь в мгновенье, чтоб быть навсегда.

И под утро я снова вернусь в этот дом
С ощущением, что я как будто не здесь,
Что не я засыпаю, свернувшись клубком.
Ты ведь помнишь меня? Это значит – я есть?

ВПЕРВЫЕ В "ГОРОДЕ"

ВИТАЛИЙ РЫЖЛОВ

ДВА РАССКАЗА

Ох, уж это искусство!

Почтовый ящик... Если бы я был поэтом, то посвятил бы длинную оду этому великолепному изобретению человечества. Связующее звено, сюрреалистический (кубический) Дед Мороз, круглый год приносящий подарки в твой дом. Причем подарки эти материальны и не материальны одновременно. Это слова. Страница текста в незамысловатой оправе – это всегда сюрприз. Порой ожидаемый, порой неожиданный, но почти всегда желанный. И почти всегда непредсказуемый.

Но я не поэт. Я художник. Работаю в рекламном агентстве. Художник, наверное, неплохой, потому что работаю уже пятый год, и начальство мной довольно. Заказов хоть отбавляй, но в этой рутине всегда легко завязнуть, время летит, и усталость накапливается, как слой пыли на полотнах в запасниках, и непонятно от чего вдруг начинаешь чувствовать себя тяжелым и неповоротливым. А для отпуска никак не найдешь подходящий повод. Поэтому я очень обрадовался, когда получил письмо от Клода. Он живет в Париже. Я – в Лос-Анджелесе, город замечательный, но мне не хватает Парижской безмятежности, его, если хотите, безответственности.

Клод – свободный художник. Признаться, я всегда слегка ему завидовал. Особенно, будучи студентом. Я помню, он всегда отличался от остальных. Это был не искусственно созданный имидж оригинальности, чем баловались тогда многие. Он действительно был необычен.

Мы часто спорили с ним о творчестве. Я научился относиться к творчеству, как к слуге, с капризами которого приходится мириться. Для Клода творчество было не слуга, а друг. Соавтор, собеседник, он не мирился с ним, он его любил. Он питался им, дышал.

Ему не нужно было, подобно мне, приступая к тому или иному заказу, будить его, вызывая из себя, как джина из бутылки.

Творчество постоянно было с ним двадцать четыре часа в сутки. Оно было его вечным собутыльником в славном кафе на площади Сен-Мишель.

И глядя на его полотна, я часто видел разницу между нами. Между ремесленником и творцом.

Но сознавая в себе подобный дар, Клод никогда не кичился этим в нашей дружбе. Более того, он искренне ценил наши отношения, и мне это несколько льстило.

Одно время Клод стал одержим идеей найти рецепт приготовления красок бессмертного Вермера. Лично мне это было непонятно. Его не устраивало качество заводских красок, и некоторые из них он создавал сам, радуясь, как ребенок, удачно найденному колору.

Он был ищущей натурой, но то, что он находил, было настолько редко и штучно, что он часто говорил, мол, на Земле нет того, что он ищет.

И поэтому я был более чем рад, когда прочитал в письме, что он, наконец, нашел то, что искал, и теперь безмерно счастлив. Это была... его невеста. Они были знакомы полгода, и полгода проживали, что называется, в гражданском браке. И вот теперь решили пожениться. Нетрудно догадаться, что меня приглашали в качестве свидетеля. Недолго думая, я собрался и поехал.

Клод был необычайно доволен собой. Розовощекий, подтянутый, с сияющей улыбкой на лице, он являл собой пример достойного семьянина в самый расцвет счастливой семейной жизни.

– Джули уехала за покупками. Скоро будет. Располагайся, – сказал Клод и проводил меня в дом.

На что я сразу обратил внимание – это то, что внутри, во всей обстановке, как-то сразу чувствовалась женская рука. Это та неуловимая метаморфоза, которую не можешь объяснить, но всегда ощущаешь. Это не просто удивительная чистота, порой пугающая своей стерильностью. Во всем чувствовалась какая-то любовь. Как была расставлена посуда, мебель и прочее. Все как бы дышало этой женской опекой и...

– А вот и радость моя! А мы тебя заждались, – воскликнул Клод, и я повернулся, чтобы засвидетельствовать свое...

Дело в том, что в комнату никто не вошел... Клод подошел к пустоте в дверном проеме, обнял ее, проводил к стулу, чмокнул в предполагаемую щечку и сел на свое место.

– А вот и моя Джули. Ну, как тебе она? – Клод смотрел на меня взглядом, который не замечаешь до определенного момента.

– Да ты что, Клод! Она просто прелесть...

Теперь до меня дошло то, что смутило еще на вокзале, но чему я не придавал тогда значения. Он постоянно улыбался. Сначала я отнес это к радости от предстоящей женитьбы. Но это было не так. Улыбка была искусственно впечатана в лицо и, опять же, приглядевшись, можно было понять, что какой-то нездоровой судорогой навечно и намертво свело скулы.

К счастью, Клод как бы не замечал моей, несомненно, видимой реакции, как бы тщательно я ее ни скрывал. Он нырнул в омут светской беседы по поводу моей работы и я, как мог, поддерживал разговор.

Потом, сославшись на усталость после переезда, я поблагодарил за ужин и поспешно удалился.

– Оставляю вас наедине, – промямлил я, кивнув стулу напротив.

Поднявшись к себе в комнату, я предался размышлениям. Первым порывом было позвонить куда следует, но что-то меня удержало.

В дверь постучали. Надев маску безмятежности, я пригласил войти. Это был Клод.

– Мы собираемся съездить за город. Не присоединишься к нам?

– Да нет, ты знаешь, я действительно очень устал. Отдохну часок-другой.

– А! – протянул Клод. – Ну, приятного сна... Кстати, – он заговорщицки подмигнул, – ты не видел моей последней работы? Будешь первым критиком.

И мы поднялись в мастерскую.

Портрет... Я сразу понял, кто был изображен на портрете. Белокурые волосы с Боттичеллевскими глазами...

– Это Джульетта? – спросил я.

– Хороша, не правда ли? – толи о портрете, толи о невесте сказал Клод.

Да, портрет был действительно хорош. Краски были не просто живыми, они были бесконечно живыми. Такую палитру можно наблюдать, только глядя на подлинники Рафаэля и да Винчи.

Была в них какая-то плотская основа. Как будто Клод нашел-таки пресловутый рецепт красок и портрет был... Лицо на холсте дышало.

Когда я смотрел, ко мне пришло решение просто уехать.

– Ты знаешь, Клод. Это удивительная работа. Но мне звонили с работы. Завтра я должен срочно уехать. Вернусь через два дня.

– Ну что ж, очень жаль. Джульетте ты очень понравился.

Ночь я провел беспокойно, но в восемь утра был на ногах, и усталой походкой отправился бриться. Решительно настроенный, я заканчивал утренний туалет...

В дверь постучали, и незнакомый голос прощебетал:

– Доброе утро м-е Рено. Спускайтесь завтракать. Мы с Клодом ждем вас внизу.

Я открыл дверь...

Оживший портрет проскользнул мимо меня, остановился в дверном проеме и улыбнулся улыбкой Боттичелли.

Последний из могикан

– Вы понимаете, что не имеете на это права!

Картина была по-киношному банальна. Юноша амбициозно-экспрессивен, а сидящий напротив солидный пожилой мужчина весьма спокоен. И насмешлив.

– Не имею права? – он в очередной раз усмехнулся. – Юридического или морального, уточните, пожалуйста... Молодой человек, пора повзрослеть. И понять, что мораль в сегодняшнем мире – это такой же миф, как целомудрие. Химера двадцатого века.

Это казалось невозможным, но молодой человек начал успокаиваться.

– Да, отчасти Вы правы, – журналист слегка поморщился. – Но признайте, что лишая общество возможности общения с последним...

– Общество, в вашем единственном лице?! Или сколько вас, пятеро-семеро на континент? Об-щест-во! Смахивает на манию величия, не находите. Остальные восемь миллиардов прекрасно обходятся без нашего ископаемого друга. И, как мне кажется, нисколько не жалеют об этом. И потом, что значит я «лишаю». На рекламу я, видит бог, не скупился, и любой мало-мальски обеспеченный гражданин...

– МАЛО-МАЛЬСКИ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ! – очки на носу репортера сделали мини-рекорд по прыжкам. – Да один сеанс стоит полугодовой зарплаты «мало-мальски обеспеченного» гражданина...

– Знаете, я не хочу вас обидеть, но вы до скучного предсказуемы. Готов поспорить, ваш прапрапрадед был классическим революционером. Слава богу, революции остались в несущественном прошлом, машины не бастуют. И не нуждаются в прибавке жалования... Я бизнесмен, и одно из моих непрменных качеств – знать, что именно от меня хотят. Вы получите ваше интервью. Я консервативно люблю свою дочь, а она зачитывается вашими статьями,

что, впрочем, меня не пугает, детские заблуждения, как корь, неизбежны и проходят с возрастом. И дабы не посягать на Вашу «полугодовую» – делаю это совершенно бесплатно. Надеюсь, теперь Вы удовлетворены?

– Что тут можно сказать, – молодой человек вяло вздохнул. – Купили.

– Будем считать это оригинальными словами благодарности. Пойдемте...

Личный дворец м-ра Теса был сплошь царством неона и пластика, поэтому, впервые открывая дверь в восемнадцатом подвале – посетителя шокировал контраст. Дерево и бархат...

После однообразия и математического совершенства верхних этажей – колоссальное извержение красок и водопады орнамента отделки производили неприятное ощущение. Болели глаза, кружилась голова и слегка тошнило. Предусмотрительная таблетка антивосприима под языком мало помогала. Кожаные кресла, бесконечные колонны, огромный занавес и ослепительный феникс люстры под потолком просто давили своею яркостью и масштабом. Впрочем, вскоре свет в зале стал таять и воскресать на полукруге внизу... На Сцене (кажется так она называлась) стоял человек. Сначала не было понятно, что он делал, но постепенно, когда смысл происходящего стал доходить – перехватило дыхание...

В матрице альтернативного мира Человек... играл на СЛОВАХ! Музыка слов завораживала гипнозом ритма и непостижимым унисоном окончаний. И растворяла время...

Два часа интервью пронеслись со скоростью лунного экспресса...

– А Вам не одиноко, ощущать себя последним, кто умеет Это...

– Помню, когда-то «Этим» занимались все, кому не лень. Да, время заставляет пересматривать наши взгляды, – он слегка улынулся. – Признаться, сейчас я был бы рад, узнав, что где-то поблизости жив хотя бы один Курилка.

– Не понимаю...

– Неважно, – в уголках глаз спряталась лукавинка. – Почему бы Вам не спросить то, что Вас действительно интересует?

– Хорошо, – журналист понизил голос. – Не для протокола... Вам нужны ученики?

– Хотите быть обращенным? А Вы действительно к этому готовы?

– Полагаю, да.

– В подобном деле мало полагать, необходимо знать, – он вздохнул. – Мое призвание – это не просто экзотический дар. Сыворотка словопроизводства трансформирует душу и обрекает на, как Вы сами заметили, одиночество. А если у вас не мудрая

или бунтарская натура, то быстро увянете. Сейчас вы переполнены восторгом, но после принятия этой пилюли благодать становится проклятием, проказой не столько заразной, сколько отталкивающей своим отсутствием практического применения. Вампиры не обращали кого попало, как это общепринято считать, а только тех, кто мог ценить и не уставать от побочных эффектов неизбежного бессмертия. Человек склонен к стабилизации, а мир постоянно меняется. И любви человеческого сердца в большинстве случаев хватает на музыку, живопись, литературу и женщин всего одной эпохи. Дальше он воспринимает, не вникая. Человека, как математической единицы катастрофически мало для бессмертия. Блаженны вечно любопытные... Многие считают богатство Раем, но, попадая в этот пресловутый Эдем, почти сразу же пресыщаются и гибнут от исчезнувших целей и развращающего душу безделья. Но, откровенно говоря, все это я говорил не столько Вам, сколько себе.

– Я опять не понимаю.

– Боюсь, Вы оказались удачно своевременны. Мое время заканчивается и поэтому...

– Смахивает на прощание. Вы меня пугаете.

– Меня не пугает то, что я пугаю Вас. Я готов к этому. А Вы?

– Готов.

– Тогда начнем.

– Ритуал посвящения?

– Необходимая формальность любой магии... Повторяйте за мной. Я помню...

– Я помню...

– Чудное...



ПОЭЗИЯ

НИКОЛАЙ ГИЛИВЕРЯ

Я хотел бы

До того, как зайдёт солнце,
я хотел бы увидеть лица:
счастливые, светлые лица,
Сидящих в тени на лавке
с обласканными сердцами.
А ещё, среди солнца
и его тепла вездесущего,
я хотел бы увидеть старуху
не просящую, но дающую.

До того, как взойдёт солнце,
я хотел бы услышать шум ночи,
её тишину и спящих,
крепко и тихо храпящих –
новый день устало ждущих,
но не скорбящих.

До того, как уйдёт в закат
моя жизнь – моё дыхание,
я хотел бы увидеть лица:
счастливые, светлые лица...

Уют

Всё тело ломит, в голове бардак.
Не выспаться мне больше
в родительском доме.

На диване, что отец покупал.
На подушках,
что мать взбивала.

Заброшенный дом

В долине на севере стоит заброшенный дом,
заброшенный дом.
В нём покоятся вещи людей, которые когда-то
жили в нём, жили в нём.

Там пропитаны стены детским страданием
и взрослым безумием расставлена мебель...

В доме на севере стоит заброшенный дом,
заброшенный дом.
Кто зайдёт в него вечером, тот будет обречён,
обречён.

Слышать у себя в голове крики – страданий людей,
которые когда-то жили в нём, жили в нём.

Слёзы

Цвет улиц –
серый.

Тюльпаны в саду
свежие.

Прохожие зачастую
бездушные,
а улыбка ребёнка –
нежная.

Человек пьёт воду
прозрачную,
а в жилах течёт кровь
багровая.

Ночью,
из светящихся
окон домов
льются потоки –
мысли людей,
но в основном это
слёзы.

Мечты обречены

В тишине, наедине с мебелью,
слышен гул шагов подобный хороводу.

Время подумать, расставить по местам
предметы быта.
Сказать: кто ты сам, и почему в тишине
ощущаешь тревогу?

Почему желанное уединение,
стремление остаться только с мебелью,
воплотившись – стало пороком иного веса.

Где форма мышления потеряла логику
построения, и: «как быть дальше?»
звучит вопрос.

Наши мечты обречены
попадать в меланхоличную бездну.

Ветер, дождь и солнце

Ветер – последнее, что осталось на Земле.
И немного речек, и немного холмов.
Немного природы, так мало природы!
И немного земли, но ее всё меньше.

Деревья пляшут под ветром,
деревья танцуют танго.
Податливы их шевелюры –
танцующие кроны деревьев.

Бушует в пространстве ветер,
разгоняя пыль и скуку.
Пропадает статичность эта,
а домой бегут весёлые дети.

Дождь играет с ветром,
его капли подобны свету.
Он даёт еду деревьям,
он даёт человеку прохладу.
Он знает, когда это надо.

Солнце – гость наземный,
воспитанный и незаметный.
Лучами протыкает он небо,
тепло дарует и лето.
Лучи его светятся ярко,
лучи его светятся ясно,
освещая вокруг пространство.

А ветер играет в прятки,
а ветер играет в гонки.
Он любит играть в салки,
он любит бежать без оглядки!
И вот время проходит.
Ветер устало шагает,
возвращается ветер обратно
и на улице снова всё гладко.

Дождь уходит следом,
оставляя работу солнцу,
которое всё освещает,
про тепло оно помнит,
секрет свой держа молча,
несёт свой крест нежно,
но не обещая.

Снова-всегда природа

Свесь ноги с дерева, почувствуй тепло ветра.
Вейся гроздью сладких ягод...

Утопая телом в цветах – не думай мысли.
Не вспоминай, не знай и не беспокойся.

Придайся теплу костра подсушенных веток.
Пожарь на языках парочку грибов,
вкусив всю свежесть леса.

Дай себе утонуть в среде своих предков,
прикоснись к траве рукой, расправляя кудри.

Усни под деревом – одеялом ночи.
Согреет тебя совиная песня
своим естественным и тёплым равновесием.

Утро. В ожидании ночи

Улица. Ночь.
Полумрак. Шепчет ветер.
Задувает. Дверь скрипит.
В доме, где стёкла не моют,
щурятся ослепшие глаза старухи.
Её тонкие губы нашептывают
то проклятья врагам,
то молитвы себе.
Ночь. На крючьях бескровная
утварь висит, доживая в форме
пристанища для ещё живых.

Дом. Утро.
Старуха спит.
Время вставать – снова не то
на часах, не пришло ещё время.
Но в уме её – близок день
перерождения;
день чуда, где она снова молода,
да в белом платье.
Обретает вечную жизнь задарма,
да за руки, что скрещивала
на груди у распятыя.

Вторая Мировая

Шаги тяжёлых ботинок слышны поутру у дома;
война пришла во дворы и сёла, время беречь урожай.

Мальчик в форме (на три размера больше) не знает,
что такое игрушки, и навряд ли узнает слово «юность».
Стрельба проходит вслепую – это хаос случайных
комбинаций; горизонт всегда в огне. Нечем дышать –
дайте ребёнку воды!

Конец наступил. Во дворах разруха, лето.
Ордена на вещах живых не сравнятся
с красно-рванными орденами мёртвых.

Мальчик в чёрном мешке смотрит на звёзды.

Распад

Всё распадается на части,
с тоской в груди и
каменным спокойствием.

Цветок умирает без воды,
без матери-земли он увядает;
В лапках детских, женских
слёз – от радости внимания.

Куст, что подравняли по бокам –
умирает стоя,
искалеченный чужой,
не своей рукою.

Муравей под гнётом детским
умирает за работой.
Ножки детские ему
ломают спину, ноги!..

Человек, под солнцем ясным,
вдруг теряет равновесие,
вот уже и не жилец:
царствие небесное.

Да и камень под водой,
всё время под давлением.
Вода его грубо трёт,
убавляя веса.

Всё распадается на части,
с тоской в груди
и каменным спокойствием.
Но как же хочется нам всем
такого простого –
бесконечного!

ДРАМАТУРГИЯ

ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ

В ГЛУБОКОМ ЭЛЬСИНОРЕ

Действующие лица:

Захар – философ 1

Петр – философ 2

Мила – девочка-припевочка

Оля – подруга девочки-припевочки

Вениамин – сперва циник, потом романтик, но это неточно

Афанасий Корнеевич – голос за сценой

Ведущая / ведущий – голос за сценой

Действие 1

Сцена 1

Появляется Захар. Из-за кулис, из-за двери, из-за чего угодно мельком осматривает помещение, затем выходит на открытое пространство. Стремительно входит Петр. Увидев Захара, бросается к нему, обнимает, рыдает.

Петр. Господи, нормально же играли. Был проверенный хит, мы проехали с ним тридцать городов, спектакль с названием «Моя теща – зомби» везде имел бешеный успех. А тут – посреди действия на сцену полезли зрители. Я проснулся во втором акте, а у них вместо рук – шуруповерты, гаечные ключи. Человек из партера грозился вставить в меня разводной ключ!

Захар. Этот проклятый конвейер на генетическом уровне меняет людей. Клянусь, мы больше никогда не поедem с гастролями в Тольятти!

Петр. Я где-то читал, что сторонники учения о Земле, как о живом организме, нашли у Земли попу. Я хочу жить в сердце России, но куда бы я ни приезжал – везде была она (*показывает*).

Захар. Так-то да, в нашем случае надо стремиться, чтобы везде было сердце России, а не вот это вот твоё любимое слово.

Петр (*при перечислении загибает пальцы*). «Выйти замуж за маньяка», «Слишком женатый таксист», «Двое в лифте, не считая текилы», «Моя жена стриптизерша», «Тайна целомудренного бабни-

ка», «Давай займемся сексом», «Переполох в «Голубятне», «Шашни старого козла», «Морковка для императора», «Бегемот кусает дыню»...

Захар. Ну хватит, хватит, мы переиграли всю мировую классику, ясен пень.

Петр. Нас уже в филармонии и ДК перестали пускать. Наша слава бежит впереди нас.

Захар. Тебе все хиханьки. А я уже вторую неделю стакан не достаю – налить нечего.

Петр. Господи, нормально же играли. Помню, выхожу на авансцену, зал замирает, и такая тишина стоит, что я уже и слов не помню, и себя не помню: так бы и стоял, так бы и длились эти мгновения!

Захар. Уж больно ты часто себя не помнишь. Тебя ведь после того случая на месяц от работы отстранили. Я уж думал – не восстановят больше, не увижу на сцене корешка своего закадычного. Брал бы с меня пример: стакан перед выходом на сцену, чтобы связки разогреть – и все, больше за вечер ни-ни.

Петр. А почему не рюмку? Или, например, не целую бутылку? У всех же разный подход должен быть.

Захар (*задумчиво*). Можно и бутылку. Отчего нельзя? Я ведь слухавил насчет стакана. Всякое бывало.

Петр. Да уж, всякое. Но такого не было, чтобы мы на декорации и костюмы не могли заработать. Это теперь называют модным словом минимализм: играем в той же одежде, в которой на улицу выходим, стулья и столы – из тех, что найдем в клубе или в ДК, в которых выступаем.

Захар. Вторую неделю без жалованья! Я этого так не оставлю! Прямо сейчас пойду к директору и выскажу все, что думаю!

Петр. Так у него тоже выпить нечего. А, ты в смысле зарплаты? Не ходи, а то и тебя уволят. Нас и так уже полтора инвалида осталось: кто сбежал, кого прогнали.

Захар. Должен же быть какой-то выход...

Петр. К девчонкам не ходи, я у них позавчера последние духи и лосьон выпил.

Захар. Неделikatный ты человек, Петя. Нет в тебе поэтической жилки.

Включается громкая связь. Свист, скрип микрофона.

Афанасий Корнеевич (*голос за сценой*). Внимание, труппа! Накануне священного для нас праздника начинаем репетиции спектакля «Рука Всевышнего Отечество спасла». Я играю и Пожарского и Трубецкого, поскольку у нас нет мастера столь высокого уровня, как я. Остальное распределение читайте на доске приказов. Наконец-то классика заиграет старыми красками!

Захар и Петр несколько секунд сидят молча. Петр взмахивает рукой в сторону источника звука: дескать, что это было?

Петр. Думаешь, грядет возрождение?

Захар. Полагаю, новый ренессанс.

Петр. Я серьезно, хватит ржать.

Захар. Ты, Петя, как будто второй день живешь.

Петр. Ну, а как это еще понимать?

Захар. Как хочешь, так и понимай.

Петр. Зашибись поговорили.

Захар. Да не бери ты в голову. Все эти громкие заявления даже до уровня репетиций никогда не доходили. Старик пошумит, и на новую идею переключится.

Петр. Дай-то бог, Захар, дай-то бог.

Захар. Ага. Пусть Аллах благословит его дела.

Уходят.

Сцена 2

Мила. Он милый, он просто милый. Смотри, что мне пишет в мессенджере: *«Вот уже много месяцев меня преследует навязчивое состояние. Дело в том, что мне хочется буквально каждый пост, попадающийся в ленте, кратко прокомментировать: «Ябвдул». При этом содержание поста и контекст не имеют никакого значения. Недавно одного человека с днем рождения поздравлял. Пришлось побороться с желанием написать «Ябвдул» – вместо традиционного в таких случаях набора слов. А что в этом плохого? – подумалось мне. Я ведь не ударить человека хочу, не плюнуть в него. С моей точки зрения, мой посыл должен быть позитивным. Теперь если вы под какой-то своей записью увидите мой неожиданный комментарий – не пугайтесь и не думайте, что я хулиганю. Просто я посылаю вам лучики добра. Такого, каким я его вижу»*. Оля, он такой романтик! Каждое слово – о любви!

Оля. Пум-пурум-пум-пум. Помню, Сергей тоже был романтик. И Реваз был романтик. А Валерий Константинович вообще архи-романтик был, ты с ним даже по питерским крышам все лето бегала.

Мила. Это в прошлом, зая. Сейчас у меня все по-настоящему. Мы любим друг друга и поженимся, как только я перееду к нему в Москву.

Оля. Пум-пурум-пум-пум. В Москву, стало быть. А почему не в Китеж? Или в Шамбалу? Нет никакой твоей Москвы! Выдумка одна.

Миля. Ты сейчас надо мной подшучиваешь или насмехаешься?

Оля. А есть разница?

Миля. Как минимум – в интонации.

Оля. Хорошо, интонация нейтральная. Только скажи – что ты в этой Москве забыла?

Миля. Милого своего забыла.

Оля. А если бы он тут у нас жил – тоже был бы милым?

Миля. У нас? Я не думала об этом. Когда любишь – это не так уж и важно, лишь бы он жил в Москве.

Оля. ...и был миллионером.

Миля. Ты опять кривляешься и утрируешь. И потом, с нынешними зарплатами и ценами накопить миллион – не такая уж и трудная задача.

Оля. Ты хотела сказать – заработать миллион?

Миля. Зая, для начала – хотя бы накопить.

Оля. Что ты там опять морщишься? Мильный пишет, что из-за срочной командировки в Анадырь не может тебя встретить в Москве?

Миля. Да нет. Я что-то не пойму. Он, кажется, отфрендил меня. Сейчас перезагружусь. Так и есть. Вот гад! Вот дрянь!

Оля. Вечно ты что-то придумываешь. Это же обычный друг по переписке. Ты с ним даже не виделась ни разу. Нашла милого, тоже мне.

Миля. Кажется, я поняла, в чем дело. Смотри, что пишет этот пафосный дурак у себя на странице: *«Каждый день удаляют из друзей одного или двух человек. Каждый день. Они не хамят, у меня нет причин не разделять их взгляды. Они просто никто. Социальные сети ежедневно напоминают о чьих-то днях рождения. Я всматриваюсь в лица и думаю: кто вы такие? Конечно, я не исключаю вариант, что у меня наступает деменция, и я просто забываю реальных людей из своей жизни. Да нет, такого не может быть. Но вот обстоятельства, по которым тот или иной персонаж попал ко мне во френды, скрыты уже пеленой, их не восстановить. В общем, критерии удаления простые: я не идентифицирую этого человека, у меня с ним ничего не связано, он ничего у меня не комментирует, не лайкает, да и я не вижу его ленту сообщений, если специально не зайду на его страницу, вдруг обнаружив его в числе своих друзей. Еще бывает, что страница неактивна несколько лет. Может, забросил ее пользователь, а может, помер. Но если я кого-то не разглядел и удалил случайно, несправедливо – не сердчайте. Деменция же»*. Так это что получается: я для него – такая же, как и все остальные подписчики? Я не особенная?

Оля. Вот слушай, подруга. Если у тебя такая большая потребность в общении – может, тебе объект интересов где-то поближе

найти? И прикинь – не просто в нашем городе, а прямо здесь, в нашем театре! Как-никак – у нас мужской коллектив. Ну, почти мужской. Во всяком случае – все носят брюки. Ты почвуть-то провентилируй: может, под брюками и человек хороший отыщется?

Мила. У тебя какое-то прикладное отношение к людям. Мне ведь надо, чтобы человек интересный был, значимый, чтобы я гордилась им.

Оля. Пум-пурум-пум-пум. И чтобы миллион. И чтобы в Москву позвал.

Мила. Ну конечно! Тьфу ты! Нет, конечно! То есть, жизнь ведь по-всякому может сложиться, я бы ко всем вариантам присмотрелась, не стоит ничего прям так вот сразу отбрасывать.

Оля. Как тебе вариант – Афанасий Корнеевич?

Мила. Ты что, он же старый, ему, поди, 42 или 43 года уже.

Оля. Старый?! Ты в своем уме, мать? Питерский пенсионер Валерий Константинович для нее – нормальный, а местный сорокалетний мужик – старый, етишкин кот!

Мила. Валерий Константинович – это другое, мы с ним игрались.

Оля. Я помню, он даже книжку написал, в которой старый хрен по лоскуточку срезал ножницами джинсы с юной нимфетки.

Мила. Зато я стала литературным персонажем, а ты...

Оля. ...а я живу скучно и не ищу на свою *(показывает)* приключений.

Афанасий Корнеевич *(голос за сценой)*. Внимание, труппа! Вернее – часть труппы. Вернее – Мила. Зайдите к помощнику режиссера, получите распечатку со своей ролью.

Мила. Да, зая, иду.

Афанасий Корнеевич *(голос за сценой)*. Уважаемая, если вы охренели, это ваше дело. Как бы там ни было – извольте соблюдать субординацию. А пока – спишем все на плохую погоду и магнитные бури.

Мила. Да, зая, спишем.

Свист и стук микрофона. Из-за помех не разобрать обидных фраз, произнесенных на повышенных тонах.

Оля. Я поняла, Афанасия Корнеевича вычеркиваем.

Мила. Он не только старый, он еще и сварливый!

Оля. Хорошо. А как тебе Захар с Петром?

Мила. Нытики они какие-то. В смысле – нет у них позитивной повестки дня.

Оля *(вздыхает)*. Это да. Повестка дня у нас никудышная.

Входят Захар и Петр.

Захар. Девки, привет. У нас новые уморительные гэгги. Давайте на вас попробуем отработать.

(В образе.)

Захар. Слушай, Петр, а ведь мы с тобой вчера картошку хоронили!

Петр. Как это?!

Захар. Понимаешь, мы выкапывали могилку, клали туда картофелину, насыпали могильный холмик, а сверху крестик ставили. И вот лежу я, и представилось мне: картофельное поле, а вокруг – кресты, кресты...

Петр. Ахаха!

Оля. Имбецилы.

Следующую сценку Захар и Петр разыгрывают, обменявшись рукопожатиями.

Захар. Привет, Петр! Как ночь-то провел?

Петр. Да вот, с женщиной познакомился вчера, у нее и заночевал.

Захар. Ну и...

Петр. Все прекрасно, только ребенок ее замучил, орал за стеной всю ночь, паразит.

Захар. Маленький, небось?

Петр. Какое там «маленький», 30 лет оболтусу. На жену орал.

Хохочут.

Оля. Раньше я думала, что вы полупокеры. А теперь вижу, что вы еще и полудурки. Идите, и доведите дело до конца: станьте, наконец, полными!

Захар и Петр уходят.

Мила. Да поняла уже, вычеркиваем.

Оля. Но у нас есть еще одна кандидатура!

Мила. Вениамин? Ты понимаешь, он слишком целеустремленный. Я знаю, это хорошее качество. Но он... сейчас другое слово подберу... одержимый! Да, это больше подходит, чем целеустремленный.

Оля. И то тебе не так, и это не эдак. Ты же только что мне говорила, что тебе нужен такой человек, чтобы и цель в жизни имел, и интересный был.

Мила. Он к этой цели напролом стремится.

Оля. Так оно и хорошо – значит, быстрее ее достигнет.

Входит Вениамин.

Оля. Веник, привет. У меня подруга есть. Ты ее не знаешь. Она социологический опрос проводит. Скажи, я ей передам. Ты помнишь свой первый поцелуй?

Вениамин. Подруга, говоришь? И я ее совсем-совсем не знаю?

Неожиданно поворачивается к Миле, берет ее за руки.

Вениамин. В моем первом институте однокурсницы были настолько целомудренными, что прикрывали от меня страницы каталога женского белья, на которых были изображены модели в образцах так называемой одежды – чтобы я не мог все это увидеть. А однажды для каких-то целей им понадобился девственник, и они меня спросили: целовался ли я когда-нибудь? Вопрос вызвал у меня недоумение. Они ведь знали, что я уже отслужил в армии. И достаточно целовал отцов-командиров в жопу. Но, наверное, это не считалось, однокурсницы подразумевали что-то другое.

Мила что-то шепчет Вениамину на ухо. Убегает. Смеется на ходу.

Вениамин. Оля, что такое «Пийшов в дупу»?

Оля. Это значит – иди в жопу.

Вениамин. Ну ты что, я серьезно.

Оля. Это дословный перевод.

Вениамин. Правда? Ты у нас, выходит, билингва. Полиглот.

Оля. С вами чирикать научись.

Вениамин. Не могу понять – на каком это языке?

Оля. На шумерском.

Вениамин. Вот сейчас обидно было. Почему из тебя клещами все тащить приходится? Сложно, что ли, сказать?

Оля. Тебе это не нужно. Мир устроен просто. Не усложняй его.

Вениамин. Если верить твоим словам, Мила только что меня оскорбила. Но я вижу, что ты тоже пренебрежительно на меня реагируешь.

Оля. Знаешь что? Я тебе старый анекдот напомним: «Акробат умер на батуте, но еще какое-то время продолжал радовать публику». Подумай об этом на досуге.

Уходит.

Вениамин. Ладно. Ладно-ладно-пусть.

Уходит.

Сцена 3

То ли школьный класс, то ли библиотечный зал, то ли помещение в клубе или доме культуры.

Ведущая / ведущий (*голос за сценой*). Сегодня у нас необычная встреча. К нам на творческий вечер приехали артисты известного театра. (*Вполголоса.*) Как ваш театр называется? (*Заминка.*) Да, очень известного театра. Гости поделятся с нами секретами мастерства, а также расскажут увлекательные случаи из своей творческой жизни.

Захар. Игра под названием «Вчера поминки были» когда-то распространялась в Санкт-Петербургском регионе, в Васильевско-островском районе, да и в старой части. Выбирался магазин, имеющий широкий ассортимент крепленого портвейна. От магазина отсчитывалось ровно 73 шага, потому что тогда было 73 года Советской власти. Число играющих не ограничено, но желательно, чтобы их было не более двух, потому что если более двух – возможны большие темпоральные (временные) искажения. Два человека находят себе третьего (арбитра), который и отмечает эти 73 шага. Шагов должно быть не менее 27-и, русский человек не может привыкнуть к меньшему расстоянию. Играющие встают спиной к магазину, затем по сигналу арбитра разворачиваются и как можно быстрее, в силу своих физических возможностей, бегут ко входу, подбегают к прилавку, и каждый спрашивает по бутылке 13-го портвейна. Премущество получает тот, кому первому удастся взять бутылку. Затем играющие, выйдя из магазина, должны за 73 шага выпить вино, рассказать таблицу умножения и выкурить по сигарете. Кто сделает это первым, тот и победил. Проигравший покупает всем по три портвейна, и люди погружаются в обсуждение новых постановлений правительства. Когда выигравшего спрашивают, как ему это удалось, он отвечает: «Вчера поминки были».

Петр. Сегодня полдня сидели в летнем кафе. Под разносолы и горячие колбаски грамм этак 800 водочки выпили. А потом еще и пивком залакировали. Подошла цыганка и говорит мне: «Эй, Будулай! Давай погадаю! Две любви тебя ждут, две девицы-красавицы! А счастья тебя ждет в жизни – вообще не меряно! Ты хоть знаешь, что тебе предстоит?» Я ответил: «Мне предстоит смерть...» Цыганка загрустила отчего-то и просто сказала: «Эй, Будулай, дай беременной женщине денег!» На вид ей было лет 50 – ну, какая там «беременная»? Я все же выдал ей небольшую сумму...

Миля. Эти размышления крутятся который день в моей голове. Как-то видела спектакль. На сцене – одутловатый лоснящийся покер, опустившийся изможденный алкоголик и больная усталая старуха. Я про актеров, а не про персонажей. Персонажи были

обычные, сказочные, обязанные изображать веселье. Почему-то внешний вид и физическое состояние актеров подсказывали мне, что люди находятся в вынужденной ситуации, не так уж им и весело, как они изображают. К тому же с эстетической точки зрения данное зрелище было тяжелым, некоторые из нас так будут выглядеть на закате своей жизни, буквально в последние свои дни. Не скажу, что у меня возник рвотный рефлекс, но стали появляться какие-то физиологические ощущения. И я подумала, что людей с такой внешностью нельзя показывать другим людям. Зрители хотят праздника, и они не готовы, чтобы увиденный ими человек на сцене навевал мысли о несчастье и катастрофе. Много позже я стала размышлять о личностном восприятии увиденного. Быть может, кому-то неприемлем вид цветущей человеческой плоти, кому-то больно видеть молодость, силу и безобразно прущее во все стороны здоровье. Я понимаю, что рассказанное мной можно расценить как дискриминацию. И что когда-нибудь я тоже буду выглядеть так, что меня нельзя будет показывать детям. Просто последние дни перед глазами стоит эта троица из апокалипсиса, своей работой призванная дарить радость и веселье людям. Радость и веселье. Сейчас займусь делом, и навязчивые мысли на некоторое время покинут меня.

Оля. В дурацких спектаклях, действие которых происходит в деревне, актеры имитируют диалект. Собственно, демонстрируют то, что деревенские жители – это имбецилы, недочеловеки, и они априори не могут являться носителями языковой нормы. Полагаю, эта причудливая традиция пошла от насковозь искусственных советских фильмов 1930-40-х годов с гипертрофированными Щукарями. Так вот: языковая норма присутствует везде, и поэтому выглядит странно и дико, когда персонажи со сцены начинают эксперименты с языковой нормой – сообразно своим представлениям о формировании речевых навыков. Обычно сюжет разворачивается вокруг ситуации: в деревню приезжают городские, и тут возникает конфликт между городом и деревней. Но если городские доехали до деревни – значит, город близко и, стало быть, с чего бы это должна прерываться языковая норма? Да, бывают такие места, где языковая норма может заметно трансформироваться – в отрыве от естественных носителей языковой нормы. Но в наше время до этих мест обычный горожанин не в состоянии самостоятельно добраться. Вот и кочуют из спектакля в спектакль, да и в кино этого полно, придуманные деграданты с дефектной речью, которым так и хочется крикнуть из зала: «Товарищ прапорщик! Выньте хрен изо рта!» Вот о чем мне подумалось этим утром.

Ведущая / ведущий (голос за сценой). Благодарим наших гостей за интересное повествование. Напоследок, или, как у вас гово-

рят, «под занавес», попросим замечательных артистов исполнить нам песню...

Захар и Петр машут руками невидимому за кулисами собеседнику.

...попросим исполнить стихотворение.

Вениамин. Я шел по млечному пути... // Ну, в смысле, шел домой. // И где-то около шести // Услышал страшный вой. // И я вскричал: «Парам-парам!» - // И прыгнул выше всех. // И долго по ночным дворам // Звучал мой сытый смех.

Шум аплодисментов. Занавес начинает закрываться, и вдруг останавливается, движется назад.

Афанасий Корнеевич (*голос за сценой*). Внимание, труппа! Вы конченные. Вы твари. Это был просто шефский концерт. Что вы устроили? Я все делаю для вас, чтобы вытащить из того места, где мы оказались, благодаря вашим талантам. Но вы даже сборный концерт, усиленный вашим дарованиям, умудрились провалить. Мы сняли с репертуара несколько спектаклей, потому что ушли актеры, и их уже долгое время нечем заменить. Мы давно не изготавливаем декорации, таская одни и те же конструкции из спектакля в спектакль. Сеть магазинов «Пятерочка» подала в комитет по имуществу заявку на наше помещение, потому что все думают, что здание пустует. Департамент культуры давно хочет нас закрыть. Я уже не в силах прикрывать ваши тылы. Жалоб накопилось столько, что мне за них оторвут голову, а вам и вовсе ноги повыдергивают. Вы самые бездарные мрази, с которыми мне довелось работать. Вам вместо гонорара за нынешний выезд – штраф, штраф и еще раз штраф! И чтобы больше не бегали столыньки у меня стрелять! Ни копейки на пропой не дам!

Захар (*возвращается из-за кулис*). А вот сейчас обидно было.

Сцена 4

Петр. Несколько лет назад меня укусила собака. Я шел себе, и не видел ее. Слышал лишь отдаленный лай, и не парился. Она напала сзади и пробила мне своими клыками икроножную мышцу. Рану я в итоге ничем не обрабатывал, но тут же в истерике позвонил знакомым врачам. Один мне посоветовал в течение пяти-семи дней понаблюдать за собакой. И если она умрет от бешенства – идти и сдаваться самому на уколы – в попытке спастись. Другой врач реальное дело посоветовал: «Отруби собаке голову и сдай на экспертизу». В итоге я ничего не сделал. На моей икроножной

мышце была опухоль размером с кулак две недели. А вот теперь я такой, каким ты меня видишь.

Захар. Петя, я вспомнил. Мы с тобой сидели в «Огоньке» и пили «Агдам». Потом стали поить им котенка. Потом пошли в Центральный парк. Выпили еще по стакану на скамеечке, и вдруг зазвучал хор ангелов. Ты говоришь: «Какой хороший портвейн!» А я говорю после некоторой паузы: «Так это же радиоточка в парке работает!»

Петр. Все-таки насыщенная у нас жизнь. Пора за мемуары садиться. И развеемся немного от перемены деятельности, и память о себе оставим.

Захар. А так, думаешь, о нас не помнит никто?

Петр. Это же молох, он всех перемалывает: умрем, о нас через три месяца вспоминать перестанут.

Захар. Ну нет же, нет! Помнишь, мы в рекламе снимались? Мне до сих пор даже незнакомые люди слоганы из нее цитируют: «Без паники, это пряники!»

Петр. Фу, фу, Захар! Не надо мне такой памяти! Я понимаю: смех и радость мы приносим людям. Но я же не идиот, я вижу, они ржут именно надо мной, а не под воздействием моего мастерства.

Захар. Хорошо, Петя, я был неправ. Не через три месяца забудут. Через три дня.

Вениамин. Привет, богатыри – не мы. Чувствую по обрывкам разговора – о вечном разговариваете. Или, пожалуй, нет, дайте угадаю... об увековечивании?

Петр. Давай без иронии. Все ему шутки. Мне ведь уже в рюмочной на Горького в долг не наливают, а в кафе напротив театра бизнес-ланч не могу под честное слово съесть. То есть, буквально сейчас мне говорят: «Кто ты такой? Кто ты, сука, такой?!» Я так и чувствую, что шагнул в вечность, а там – пустота: ни прижизненной известности тебе, ни посмертной памяти.

Вениамин. Знаете что, братья-акробаты. Это, конечно, хорошо, что вы о вечном думаете. Memento mori, все дела. У меня разговор к вам. Только тс-с, никому.

Захар. Да понял, могу на библии поклясться.

Петр. А я могу кровью расписаться. Где подпись ставить?

Вениамин (*картинно закатывает глаза*). Не надо крови. Одну тему обмусолим. Пока без распространения.

Оля. Шалом, станичники! Ходят слухи, в нашем маленьком коллективе два чудика завелись. Кто бы это мог быть? Отсекаем маловероятных кандидатов. (*Загибает пальцы.*) Я, Мила, Афанасий Корнеевич.

Захар. А почему ты шефа исключила?

Оля. Эй, шлемазл, ты с какого кибуца? Ну какой же он чудик? (*Показывает руками масштаб явления.*) Он целый чудила!

Вениамин. Оля, я знал о твоём критическом складе ума. Но я не думал, что ты можешь столь уничижительно высказываться о человеческой слабости.

Оля. Веня, и ты, Брут?! Пум-пурум-пум-пум.

Петр. Веник, не обращай внимания. Оля, дрянь у тебя шулки. Они не обидные даже. Они никакие.

Вениамин. А, вы в этом смысле. Веселые и находчивые... Ладно, замяли, потом дошутите. Дело у меня к вам есть.

Петр глазами и незаметно пальцами показывает в сторону Оли: дескать, что за дела?

Вениамин. Не бойсь, свой человек. В верноподданничестве замечена не была.

Оля. Я бы сказала – в преданности.

Вениамин. Ну кончай уже, а. Я о серьезном. У нас катастрофа. Мы буквально на краю гибели. В коллективе сложилась нездоровая ситуация. Вернее – в остатках коллектива. Я считал и считаю, что нам нужно придерживаться традиционного психологического театра. Нельзя портить классику! То, чем мы занимаемся – это чудовищно. У нас не театр, а балаган какой-то! Все на потребу публики! Я понимаю, как важны кассовые показатели. Но мы не должны любой ценой выбивать из зрителя деньги. Даже находясь в той ситуации, в которой мы оказались. Скоро за деньги мы будем собственные кишки наматывать на кулак, чтобы повеселить публику. Или выступать с голыми задками и сиськами, чтобы хоть кого-то хоть чем-то привлечь на наши представления.

Захар. Не скажи, есть же хорошие зады. А сиськи – так вообще вне конкуренции.

Вениамин, не обращая внимания, взбирается на возвышение.

Вениамин. Мы должны не опускаться до неприязательной публики. Наша задача – возвысить зрителя, поднять его уровень, познакомить с лучшими образцами мировой классики. Если мы станем законодателями стиля – к нам потянутся посетители, о нас будут говорить, на нас будут равняться. Пора избавиться от этого позора, от этого вымороченного репертуара, который преследует все наши театры, вынужденные выживать, вынужденные сидеть в этом дерьме, лишь бы быть как все. Ну кто, кто сказал, что это устраивает среднестатистического зрителя? Наш зритель прекрасен, он образован и умен, он тонко чувствует фальшь и неуместный пафос. Мы должны поразить его не кривлянием на сцене, а мастерством, масштабом. Нам нужно переступить через наше настоящее, оставить его позади, забыть о нем, как о страшном сне, и

уверенным шагом направиться в будущее. Нас ждет развитие, нас ждет успех и интерес. Мы достойны лучшей доли.

Оля. Бунт на корабле? Это я люблю!

Петр. И что же мы будем ставить? Ну не хочет никто у нас школьную программу ходить. Я и сам от классики, эдакой скукоптицы, зевать начинаю.

Оля (*тожно поглаживая Петра*). Это потому что у тебя еще настоящего режиссера не было.

Захар. Давайте «Гамлета» поставим. Это ж прям эталон. Да в таком спектакле я хоть череп Йорика готов сыграть!

Петр. Тю, там двадцать или тридцать персонажей. Даже если мы техничек и сторожа привлечем – все равно на сцене будет негусто.

Вениамин (*в запале*). А пусть даже и «Гамлет»! Я уже вижу экспликацию, распределение ролей. Сцены можно скомпоновать так, чтобы каждый мог сыграть по несколько персонажей – скрывшись за маской, изменив костюм.

Захар. Погоди, я же первое, что пришло в голову, предложил. Как игра в ассоциации: фрукт – яблоко, поэт – Пушкин, куст – сирень, спектакль – «Гамлет».

Петр. Вот что мне это напомнило. Отец рассказывал, примерно в 1981 году смотрел по Центральному телевидению художественный фильм производства Афганистана. Там какие-то басмачи притесняли каких-то басмачей. Но пришли какие-то басмачи и убили каких-то басмачей. И тогда какие-то басмачи зажили по-другому, не то, что при каких-то басмачах. Фильм мне вспомнился в связи с назревающей переменой власти. Не могу в интернете найти никаких следов: что это была за картина и как она называлась?

Афанасий Корнеевич (*голос за сценой*). Внимание, труппа! Я все слышал. У меня трансляция не только со сцены, но из гримерок тоже. Почему вы такие жалкие и ничтожные? Почему я трачу на вас свои лучшие годы? Потому что вы внушаемые и податливые, потому что вами легко манипулировать. Вы что, черти полосатые, бунт мне тут затеваете?! Да я вас, гаденышей, в зародыше удушю! Значит так. С завтрашнего дня мы приступаем к репетициям спектакля «Гамлет»! Если бунт нельзя предотвратить – его надо возглавить.

Оля. Ну что, жители датского королевства? Мы в глубоком Эльсиноре. Глубже не бывает.

Все расходятся. На сцене Петр и Захар.

Петр. Все это напоминает мне книгу. Или, погоди, фильм. Я даже название не помню. Там персонаж сплетничает об окружающих, рассказывает очень странные истории. Вскоре близкие пере-

стают ему верить – как в сказке про пастушка, который кричал: «Волки! Волки!» В финале одна из самых неправдоподобных историй вдруг оказывается правдой.

Захар. Что ты все усложняешь? Попробуй неделю-другую не пить – и сразу на работу время станет хватать, и люди вокруг приветливей покажутся. И даже картина мира подвергнется коррекции!

Петр. Давай без обид. Ты придуряешься, или на самом деле такой простой и искренний?

Захар. Тебе бы отдохнуть не мешало. Лишние мысли – лишние горести. Выкинь ты всю эту ерунду из головы.

Петр. Вот смотри. Был у меня отец – и не стало отца, он умер. Мы никогда с ним близки не были. Даже за всю жизнь не поговорили ни разу. Я нормальным сыном себя считал, помогал родителям. Думал: когда отец рядом – с ними ничего не случится. И что? В момент, когда отец умер, я был рядом. И чем я помог ему? Я же не врач. Я же ничтожен и бессилен. Отца похоронили, и я понял, что уже никогда не смогу попросить у него прощения за все обиды, которые нанес ему вольно или невольно. Я поблагодарить его не смогу за все, что он для меня сделал. Я не смогу ничего исправить и изменить, это одностороннее движение, не получится вернуться назад. Вижу, ты маешься, выслушивая меня. А я сразу понял, что моя боль никому не интересна. Мне так хотелось всем рассказать о том, каким был мой отец, и что, оказывается, он для меня значил. Но никому до этого не было дела. И я замкнулся. Я нацепил маску придурка, чтобы окружающие не жалели меня. Придурак – он понятен, его легко просчитать и раскусить. А человек с эмпатией – ну зачем он вам здесь? Что от него можно ждать? От него поступков нужно ждать, мыслизъявлений. Я не собираюсь никого ниспровергать или разрушать чей-то мир. Я лучше свернусь калачиком, закроюсь в своем футляре. Пусть все думают, что я тупой, и со мной нечего обсудить. Был бы жив отец – я бы с ним поговорил. Но я только после его смерти понял, о чем бы я с ним смог поговорить. Меня не станет – будете ли жалеть о том, что не разглядели меня? Не будете ведь.

На протяжении всего монолога Захар мается. Пауза.

Захар. Вот тебя пробило. С чего бы вдруг? Петя, у меня тоже был тяжелый день. А от твоих мыслей в голове зудит. Душный ты какой-то. Перестань, не грузи.

Петр. Ладно, забыли. Где собираешься Новый год отмечать?

Захар. С домашними.

Петр. Поехали. Через час – обращение президента.

Захар. Погоди, а в кого он собирается обратиться?

Вдали слышен протяжный волчий или собачий вой.

Петр. Господи! Я не это имел в виду!

Затмение. Видны всполохи, слышны звуки фейерверка.

Действие 2

Сцена 1

Мила. Знаешь, зая, в театре есть такой распространенный прием: когда на сцене хотят завуалировано показать половой акт, то его демонстрируют в виде хореографического этюда между партнерами. И вот сдается мне, ты тупо хочешь меня потанцевать.

Вениамин. Мила, ты все не так поняла. Я бы, конечно... Ну, в смысле... Отчасти ты права. Но все не так прямолинейно выглядит.

Мила (*устало*). Опыт общения – он лишь накапливается. Вы же все одинаковы. Все те же заезженные приемы. Вас просчитать – как нефиг делать. Вот и опять начинаются истории, в которых ты давишь на жалость, пытаешься вызвать к себе сочувствие.

Вениамин. Обычные истории, просто для поддержания разговора.

Мила. Нет, Веник, ничего ты в женщинах не понимаешь. Мне ведь не конференсье в постели нужен, не мастер разговорного жанра, а душевный какой-нибудь человек, чтобы весь во мне был, весь со мной.

Вениамин. Ты же сама просила: расскажи мне что-нибудь. Я ведь и помолчать могу, что тут сложного? Ты у нас всего лишь сезон работаешь, даже толком не успели познакомиться. Стали бы чаще общаться – появились бы общие интересы, как это у всех бывает. Не отталкивай ты человека, присмотришься к нему. Ко мне, то есть.

Мила. Веня, не сердись, я же не гоню тебя, видишь. Ты мне не противен, это да. Но пока что-то меня останавливает.

Вениамин. Мы никуда не торопимся. Когда вместе шаг за шагом идешь – там, глядишь, и какое-нибудь общее пространство начинает вырисовываться. Давай так: для начала просто присмотримся друг к другу – может, мы чего-то не разглядели с первого раза? Это даже познавательно бывает – выискивать что-то новое в постороннем человеке.

Мила. Ты сказал – в постороннем.

Вениамин. Каждый посторонний когда-нибудь становится не посторонним. Как обстоятельства сложатся. Есть одно верное средство стать ближе – это обзавестись общей тайной. Если хочешь, я могу раскрыть тебе свою тайну. Которую никому еще не рассказывал.

Мила. Ага, секретники! Это интересно, конечно. Но почему-то глупо выглядит. Как в пошлых сериалах. Я называю это – в дурном вкусе.

Вениамин. Не хочешь – не надо. Приберегу для более подходящей кандидатуры.

Мила. Хватит дуться! Что ты за слабак? Сразу пасуешь перед трудностями! Я же вижу – тебе самому страх как хочется поделиться секретом. Давай, зая, я готова тебя выслушать.

Вениамин. Еще раз говорю, отныне это будет наш общий секрет, ты понимаешь?

Мила. Я вся внимание. (*Торжественным тоном.*) Можете начинать.

Вениамин. Я знаю, в это трудно поверить... в это невозможно поверить, но все, что я сейчас произнесу – чистая правда. Это лишь отчасти мой секрет. То есть, я имею к нему отношение, но он не обо мне, он не лично мой.

Мила. Я в нетерпении, зая.

Вениамин. Знаешь что?! Не называй меня зая! Если так необходимо – можешь, например, кисой называть.

Мила. Какая еще киса? Не бурчи. Молчу, молчу.

Вениамин. Так, сбился немного. На самом деле, Афанасий Корнеевич родился очень давно. Скажу осторожно: даже не в прошлом веке. И зовут его совсем не Афанасий Корнеевич. Да чего уж там: он рожден был не на Земле.

Мила. Э-э...

Мила пытается что-то сказать, но Вениамин резко сжимает перед своим ртом ладонь в кулак: дескать, все, зубы на замок.

Вениамин. В земном языке нет таких понятий. Но чтобы хоть схематично обрисовать ситуацию, я использую некоторые термины и названия даже не из научной литературы, а из популярной журналистики, так проще. Представь, что Афанасий Корнеевич прибыл на нашу Землю с планеты Нибиру. Его миссия все еще носит исследовательские цели. Но уже относительно скоро, через сотню-другую лет, начнется планомерная подготовка к захвату и порабощению нашей планеты. На самом деле, этот процесс начался очень давно, я даже сам не представляю, сколько веков или даже тысячелетий прошло с первого контакта. Дело в том, что захват не будет выглядеть в буквальном смысле как прилет, пришествие существ из других миров. Афанасий Корнеевич в том облике, в каком мы его знаем, сотни тысяч, а может, миллионы раз вступал в связь с земными женщинами, и за многие эпохи от этих союзов рождались дети. А от этих детей – другие дети. И

так – бессчетное число раз. Я думаю, на сегодняшний день население Земли замещено почти полностью. Осталась самая малость. Самая малость.

Мила (*короткий нервный смехок*). Погоди, я видео на телефоне не включила. Ты можешь это еще раз повторить под запись?

Стремительно входит Оля.

Оля. Вот вы где. Мужайтесь, братие и сестры. Дурную весть я вам принесла. Афанасий Корнеевич умер два часа назад в ковидном госпитале. Пум-пурум-пум-пум.

Мила. Знаете, что. Вот вы, оба – вон отсюда. Ваши шутки перешли все границы. (*Вскрикивает.*) Вы что творите-то?

Оля. Мила, это не шутка. Нам придется смириться с этим.

Мила. Ладно, тогда я сама уйду.

Мила быстро уходит. Следом – Оля.

Вениамин (*растерянно*). А самого главного я и не сказал. Мила, без главного вся эта история не имеет смысла. Дело в том, что Афанасий Корнеевич – мой родной отец. Я – плод семени его. И он не говорил мне, что может умереть.

Сцена 2

Поминки. Стол. На столе закуска. Бутылки.

Захар. Вы можете назвать меня неискренним, но я все равно считаю, что покойный был выдающимся и редкостным. Мало кто его так ценил, как я. Запросто мог ему высказать: «Отец родной! На тебя вся надежда!» Лишь он один меня понимал. Ну, и Петр еще, наверное. Если бы не Афанасий Корнеевич – я бы никогда не состоялся как одаренный, всесторонне развитый человек и актер.

Петр. У тебя талант, Захар, я давно тебе это говорил.

Захар. Что мы все обо мне, да обо мне? Пора бы и про именинника вспомнить.

Петр. Он просто умер.

Захар. Да, я это и хотел сказать, извини.

Петр. Мне кажется, тебе все равно.

Захар (*поднимает рюмку*). Об усопших либо хорошо, либо ничего! Даже не знаю, как выразить общее отношение к покойному.

Петр. Может, молча спляшем?..

Смотрят друг на друга. Захар встает, следом за ним Петр. Сосредоточенно и серьезно с минуту танцуют «Яблочко». Впро-

чем, это может быть любой танец, доступный артисту без хореографической подготовки. Его можно танцевать без музыкального сопровождения.

Мила и Оля хлопают в ладоши.

Мила. Ребята, это так трогательно!

Оля. Вот что: раньше я полагала, что вы – альтернативно одаренные. Но после такого широкого жеста вы прям выросли в моих глазах. Нет, фигурально я все так же считаю вас вот этими самыми. В том числе и за стыренные духи. Но буквально – нет, вы теперь не такие. Придется подбирать для вас иные эпитеты.

Вениамин (*вскидывает голову*). А все-таки в память о мастере мы будем ставить «Гамлета». В связи с переходным периодом руководящие функции я пока беру на себя. Думаю, вы согласны с моим лидерством?

Оля. Я бы сказала – с превалированием.

Вениамин. Неважно. Главное – это работа, которую нужно делать здесь и сейчас. Вы должны поверить мне. И в моих руках вы, словно мягкая глина, примете нужную для работы форму. Мне кажется... Нет, я уверен – я вижу свет в конце тоннеля! Я знаю, как вернуть зрителя в театр! Дух времени звучит во мне, рвется наружу!

Захар. Оля, ты же сама, помнишь, шефа всякими разными словами между нами называла. Он и выпить нам не давал, и нагоняи мы от него через раз – каждый раз получали. Веник ведь свой, он из наших, он добра нам желает. Э-эх! Помирать, так с музыкой!

Оля. Вениамин... как там тебя по отчеству?

Вениамин. Неважно.

Оля. Я просто готовлюсь из субординации «на вы» к тебе обращаться и все такое. Ты помнишь старый фильм по сказке Шварца – «Убить дракона»? Пьесу ты вряд ли читал, а вот киношку до сих пор изредка по телеку показывают. Так вот, там, в двух словах, речь шла о том, чтобы убить дракона – нужно самому стать драконом, или что-то вроде этого.

Вениамин. Я еще в детстве смотрел. У нас даже пацаны на магнитофон звуковую дорожку записывали и слушали, и обсуждали услышанное. Но при чем здесь эта притча?

Оля. Пум-пурум-пум-пум. Внимание, Веник! Я все еще о тебе хорошего мнения! Шевели извилинами!

Вениамин. Ольга, хорош умничать, а! Это другое, понимать надо!

Оля. Мемасиками заговорил.

Вениамин. Нам из этой ямы надо выбираться. Вы можете сколько угодно смеяться, но всю ответственность я беру на себя. Я

хотя бы что-то предлагаю, не бездействию. Один я ничего не сделаю. Вместе – мы сила!

Петр. Я хочу от тебя ребенка!

Мила. Петя, шут гороховый! Меня сейчас тоже разорвет от смеха, но ты меня опередил с предложением!

Вениамин (*достает изрядную стопку листков, раздает*). На пенсии нашутитесь. Завтра же приступаем к репетициям. Милка, ты у нас Офелией будешь. Оля, выучи слова Гертруды. Петя, здесь ты Клавдий, здесь Полоний. Захар, ты Лаэрт и Горацио. А вот в этой сцене вы оба – Розенкранц и Гильденстерн. Завтра общий сбор, со вторника разбор по сценам. Я все придумал! Через месяц весь город будет говорить о премьере! (*Уходит.*) Мобилизуйтесь! Решается наша судьба!

Оля (*вслед*). А Гамлет?

Мила. А Йорик? Который череп потом?

Захар. Благослови его Господь.

Петр. Пусть Аллах благословит его дела.

Оля. Зря я вас авансом похвалила. Step by Step, как говорят у нас на Руси святой.

Сцена 3

Петр. Я, пока к роли шута готовился, штудировал всякие британские книги потусторонние. Для лучшего понимания внутреннего мира своего персонажа.

Оля. Петя, у тебя там пять персонажей. Шута ты будешь играть в виде черепа в руках Гамлета. Вот так. (*На секунду становится в позу, в которой принято изображать Гамлета.*)

Петр. Да погоди! Ты не дослушала. (*Открывает старую толстую книгу.*) «Рука славы – предмет из средневековых европейских легенд, якобы обладающий магическими свойствами. Представляет собой засушенную кисть руки человека, который был повешен. Согласно европейским легендам, свечи, сделанные из жира преступника, зажженные и помещенные в Руку славы, выполняющую роль подсвечника, ранее принадлежавшую тому же человеку, сделают неподвижными всех, кто увидит свет этих свечей. Руке славы также приписывалась способность отпирать любую дверь».

Оля. Ты явно нездоров.

Захар. Петруха, и правда, кончай с этой жутью. Меня сейчас чуть не вывернуло. Я ведь уже неделю не пью. Репетиции. Нельзя.

Мила. Идет! Вениамин... как его там по отчеству... идет! Собрались!

Входит Вениамин в историческом костюме. На мгновение застывает. Скидывает руки.

Вениамин. Эпизод восемь. Начали!

Актеры выходят и по очереди выкрикивают реплики.

Захар. Подгнило что-то в Датском королевстве.

Петр. Прощай, прощай и помни обо мне.

Мила. Так всех нас в трусов превращает мысль, // И вянет, как цветок, решимость наша // В бесплодье умственного тупика, // Так погибают замыслы с размахом, // В начале обещавшие успех, // От долгих отлагательств.

Петр. О, бедный Йорик! Я знал его, Горацио!

Мила. Что человек, когда он занят только сном и едой? Животное, не больше.

Оля. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.

Захар. О, женщины, вам имя – вероломство!

Петр. Быть или не быть – вот в чем вопрос.

Мила. Век вывихнут. Век распатался. Распалась связь времен.

Оля. Гамлет, перестань! // Ты повернул глаза зрачками в душу, // А там повсюду пятна черноты, // И их ничем не смыть!

Вениамин (*ходит, жестикулирует, объясняя актерам поставленную задачу не только словами, но и движениями*). Так. Хорошо. Закрепили. Теперь тот же самый проход – в костюмах. Петя, мужчина не должен садиться на шпагат. Я имею в виду – в твоём-то возрасте. Так мы и до премьеры не доживем. Захар, больше четкости, больше молодцеватости. Ты что, и зрителям будешь говорить: куда еще-то больше? Оля, ты какую-то усталую бабу играешь. Я понимаю, что тебя, как и Гертруду, все достало. Но лишь представь, что завтра будет только хуже, и сегодняшний миг покажется тебе не таким уж отвратительным. Мила, твоя Офелия и распутна, и безумна. Это либо пугает партнеров, либо притягивает – причем в не очень хорошем смысле. Ты играешь какую-то трекнутую шлюху, чьим недугом пользуются кто ни попадя. А впрочем, рисунок роли интересный – посмотрим, во что это выльется.

Пока Вениамин комментирует роли актеров – те переодеваются за сценой.

Персонажи выходят на сцену в трико телесного цвета. В полумраке кажется, что люди обнажены.

Захар. Я – Гамлет.

Петр. Я – принц Гамлет.

Мила. Я – Гамлет, принц датский.

Оля. Я/Мы Гамлет.

Все (хором). Я/Мы Гамлет! Я/Мы Гамлет! Я/Мы Гамлет!
Я/Мы Гамлет! Я/Мы Гамлет! Я/Мы Гамлет! Я/Мы Гамлет!

Возможно, речевка сопровождается ритмичными ударами барабана. Возможно, актеры маршируют при этом. Возможно, выстраиваются в простейшие гимнастические пирамиды.

Затемнение. Крик петуха.

Сцена 4

Петр сидит с черепом в руках. Его плечи сотрясаются в беззвучных рыданиях.

Захар. Дружище, давай я тебя лучше обниму. Пусть они все идут к черту. Давай бросим этот балаган и уедем отдыхать на природу. Что мы здесь забыли? Что мы здесь не видели? Хватит уже всего этого! Тебе нужно успокоиться.

Петр. Что это такое было?! Какая падла придумала иммерсивный театр?! Почему мы выступали в плавательном бассейне?! Почему мы все при этом были голые?! Почему? Почему? Почему?

Захар. Я согласен, Афанасий Корнеевич был деспот, но при нем хотя бы было все понятно.

Петр. Почему я не умер месяцем раньше? Почему меня не переехал трамвай? Зачем ты меня тогда спас от паленой водки?

Оля. Пум-пурум-пум-пум. Вот вы уже и шефа добрым словом поминаете. Действительно, ребята, предлагаю немного выпить. До сих пор всю колотит.

Петр. ... от паленой водки!

Захар. Давайте обсудим ситуацию. Типа – шаг вперед, или два шага назад?

Петр. Где этот сраный Веник? Отдайте мне его!

Стремительно врывается Вениамин.

Вениамин. Что приуныли? Победа!

Мила. Веня, за что ты с нами так?

Петр. Держите меня семеро! Я сейчас порешу его!

Захар. Нам надо выехать на природу. Успокоиться.

Вениамин. До чего вы провинциальны, коллеги! Мне приходится на пальцах объяснять вам, профессионалам, сущность новаторских методов. Да, я понимаю, мы сейчас далеки от центра мировой цивилизации. Но есть же интернет! Есть же, прости господи, телевидение! Вкусите плоды просвещения! – говорю я вам. Вот вы вкусили, и они вам кажутся горьки, но успех не дается

легкой ценой. Вы меня просто удивляете. Публика проголосовала рублем! А мне все еще приходится вам что-то объяснять, приходится уговаривать. (*Достает нечто из карманов – из одного, из другого, из третьего.*) Вы же сами этого хотели. (*Из рук выпадают денежные купюры.*) Вы же сами бедствовали все время, перехватывали от аванса до полочки. Вот вам они, деньги! Теперь-то вы что хотите? Еще больше денег?!

Оля. Да засунь ты себе их знаешь, куда? (*Мнется. На что-то решается.*) Впрочем, погоди, не спеши, мне с ними еще за хлебом идти. Тебя спасла только моя чистоплотность.

Мила (*шмыгает носом*). Сколько там? У меня за ипотеку полгода просрочено.

Захар. Я знал, что мужество нас не покинет. (*Тянет руки к деньгам.*)

Петр. Предатели! Продались? А я чем хуже? (*Начинает пересчитывать деньги.*)

Включается громкая связь. Свист, скрип микрофона.

Афанасий Корнеевич (*голос за сценой*). Внимание, труппа! Я не стану вас проклинать и ругать. Я не буду вас наказывать и мотать вам нервы. Я просто хочу понять: почему вы такие...

Свист и стук микрофона. Из-за помех не разобрать обидных фраз, произнесенных на повышенных тонах.

Петр (*расплывается в улыбке*). Ну, вот я и в аду.

Вениамин. Погодите, это, должно быть, старая запись.

Захар (*тянется к радиоточке – источнику звука*). Всему должно быть разумное объяснение. Петя, что ты там рассказывал про Руку славы? Ну, подсвечник этот долбаный из кисти мертвеца?

Петр. Вы мне не верили...

Свист, скрип микрофона.

Афанасий Корнеевич (*голос за сценой*). Я по-прежнему все слышу. И хочу поговорить с вами не меньше, чем вы со мной. Да, полтора месяца на больничном. Да, неделю назад выписан из больницы. Но с какого перепугу вы решили, что я сдох?! Не скрою, мне всегда было наплевать на вас, мерзкие вы мои гаденыши. Но вот теперь стало обидно: куда вы меня торопите, куда вы меня провожаете?

Вениамин. Но постойте...

Мила. Так, я вспомнила. О смерти Афанасия Корнеевича я впервые услышала именно от тебя, моя лучшая подруга. Как прикажешь это понимать?

Петр. Оля, ты ничего не хочешь нам рассказать?

Захар. Ребята, прекратите агрессию. Олю кто-то ввел в заблуждение. Она не могла сама.

Оля. Глупо отпираться. Мы же все здесь друг перед другом как на ладони. Да, я ввела вас в заблуждение. Последние месяцы обстановка все больше накалялась. Мы ни в чем не винили себя, все валили на начальство, это нормально. И тут Афанасьюшка, Афанася, Фаня, Фанечка, Афоня, Афонечка, Афося слег, заболел. Ему было так тяжело, что я решила оградить его от нас. Я подумала, что так будет лучше, что стоит исчезнуть раздражающему нас фактору, и мы объединимся, мы станем самостоятельными и сотворим что-то новое, несвойственное нам. Ведь так оно и вышло в итоге, правда? Мы все должны были отдохнуть друг от друга. Нам всем требовалось немного времени, чтобы понять, кто мы и что значим друг для друга. Я лишь хотела защитить Афонию, оставить его только себе.

Вениамин. Эй, так все еще меньше стало понятно.

Оля. Я должна, наконец, сказать, что люблю Афанасия Корнеевича. Давно. Пум-пурум-пум-пум. Мне кажется, Афанасий Корнеевич тоже любит меня. И ты об этом знаешь как никто другой, Вениамин... Афанасьевич.

Вениамин (*тихо*). Да.

Петр. Правда, что ли? Нет, про любовь я и сам все понял. А вот что сейчас было? Это... твой... батя? Правда?

Вениамин (*тихо*). Да. (*Миле.*) Помнишь ту нашу беседу накануне всех событий? Я просто не успел сказать тебе, что Афанасий Корнеевич – мой отец. Нам казалось неправильным афишировать в коллективе родственные связи. Я хотел быть как все. Одним из вас.

Афанасий Корнеевич (*голос за сценой*). Наворотили вы делов. Но ты, Венька, молодец. Наслышан я про твои творческие экзерсисы. Зацени, какой мне вчера видос скинули. (*Плохая запись «Я/Мы Гамлет! Я/Мы Гамлет!»*, *музыкальная какофония, шум.*) Ахаха! Вы полные придурки! Я люблю тебя, мой отпрыск! (*Уже спокойным голосом.*) И тебя, Оля, я тоже люблю. Чего уж теперь, раз все раскрылось. Поднимайся, отметим мое излечение.

Оля крутит головой, быстро смотрит на коллег, улыбается, бежит за сцену.

Вениамин. Вот ведь как все складывается, Мила. Помнишь, мы говорили, что нужно поближе узнать друг друга. Кажется, ближе некуда.

Мила. Ты заработаешь миллион и увезешь меня в Москву, зая?

Вениамин в возмущении вскидывает руки.

Мила. Какой ты простак. На каждую шутку введешься. Ну, иди сюда.

Мила обнимает Вениамина. Тот стоит, все еще не в силах поверить своему счастью.

Захар. Ну что, Петр?

Петр. Ну что, Захар?

Захар. Давай-ка прямо завтра отправимся на рыбалку!

Петр. Ты Лариску свою возьми.

Захар. А ты Светку и спиногрызов своих.

Петр. Семейный отдых – святое дело.

Захар. Пошли, дружище, мне еще снасти собирать.

Петр. Не поверишь: как репетиции начались – я в завязке до сих пор!

Мила. Так вы что, не из этих?

Захар. Не из каких?

Мила. А, забей. Проехали.

Уходят. Смех за кулисами.

Ведущая/ведущий (голос за сценой). Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас встреча с интересным человеком. То есть, не с человеком, а с рептилоидом с планеты Нибиру. Знакомьтесь, наш гость – Афанасий Корнеевич. Просим, просим!

Звучат аплодисменты.

Афанасий Корнеевич (голос за сценой). Мир мертв, маленькие мерзавцы. Молитесь милостивому Мошиаху – может, мгновения мести мобилизуют малую малость мрачных мирян. Меркурий меркнет между миров. Мысли младенца мечутся, мелькают, модернизируются. Мозг мешает мыслительным миазмам мироздания. Мучения мнут мудрых мужчин. Медитируйте, мутузя медиатором мандолину. Мир мертв. Мир мертв. Мама моя! Молоко может медленно мироточить. Мое миндальное молоко!

Свист, скрип микрофона.

Занавес.

ВПЕРВЫЕ В "ГОРОДЕ"

ЕЛЕНА КОЛЕСНИЧЕНКО

Ты помнишь мой каменный, трепетный, ропотный дом?
У кромки бескрайнего леса, напротив вокзала.
И ты появлялся всеведущим призраком в нём,
А ныне ты луч в вечеряющих кронах квартала.

Ты сын моих снов, ты несбывшейся радости крик:
Садится в постели душа, размыкая ресницы –
И прутики света, мелькнув, пропадают на миг –
То крутятся, крутятся сонного времени спицы.

С тоской колесничих, с упорством вязальщиц, оно
Идет по своим же следам – и стучит, и сердает.
А может, то поезд, как парка, своё полотно
Теряет в ночи – и кричит – и душа отвечает.

Не ты ли в том поезде? И не к тебе ли ведут
Кандалные рельсы, глухих полустанков остроги?
И прядают клены листвой – и составы прядут –
И жизнь говорит со мной голосом длинной дороги.

К каким остановкам отчаянья мчится июль?
А я неподвижна – в полночном разбуженном мире
Зияют на небе следы от серебряных пуль:
Там кто-то смеется, в расстрелянной светлой квартире.

А может, то птица лесная твердит невпопад,
Что горе и радость дробятся в мирской коловерти.
Распахнут балкон и соседские окна горят.
«И что тебе жизнь? И зачем тебе думать о смерти?»

Я по-прежнему отправляю в «избранное» вконтакте
все стихи, которые тебе переслать хотела,
все красивые картинки,
все фильмы, которые мы не смотрели,

чтобы в тот день, когда ты мне снова напишешь,
я тебя одарила всем, что мне будет подвластно.
Все блаженные мгновения,
все несчастливые дни,
улыбки дочери,
 мокрые тротуары, опоздавшие маршрутки,
пригоревшие каши,
до конца прочитанные книги,
опустевшие пляжи,
переспевшие вишни,
пузыри городского ливня
я откладываю в глубинах памяти,
в дальней камере сердца,
куда никто не проникнет –
добросовестно, терпеливо,
денно и ночью,
как иные копят запасы на зиму,
чтоб суметь пережить
весь грядущий
мертвящий
неотвратимый холод –
я живая консерва,
запас небесной воды,
я сосуд ожидания,
наполненный до риски
до края
до горла
– чтоб однажды ты пришёл
и смог пить
и пить
и пить
и пить
перед той последней
неутолимой
жаждой.

Лето разлук и промокших глаз –
Будущее окружает нас,
И готовальни его размер
Явно превысит вместимость рая.

Снегом июльским на тротуар,
Белой полосочкой сквозь загар –

Будущее! Дурной пример
Перенимаю, в тебя вращая:

Раз – заусенцем (не трожь пока!),
Два – острым краешком ноготка,
Три – гладким крошечным бугорком
В сонной подмышечной нежной тени

(Лень избавляться и нет стыда:
Кто будет вглядываться туда?).
...Первым серебряным волоском
На золотом колене.

Так ты уносишь меня с собой:
Время пространству даёт отбой.
Множатся метки мои в тебе
Вдвое и втрое.

Значит, любовь не решает всё.
Значит, поэзия не спасёт.
Жизнь, если ты не равна судьбе –
Что ты такое?

Жизнь уместает в себя одно:
Будущее, и жаль, оно
Вечности не равно (залог
Вечности – неоставление пятен).

Но, испещренный тоской моей,
Встал человек у земных дверей,
Круг замыкая. Высок порог.
Свет – необъятен.

У тебя неразборчивый,
невообразимый,
не существующий в природе почерк –
острые росчерки крыльев
вымершей тысячелетия назад птицы,
окаменевшие свидетельства
моего упрямства,
этим почерком нужно писать любовные письма –
как ни буду стараться, не смогу разобрать ни буквы,

и на месте каждого небрежного иероглифа
(вот она, великая стена твоего молчания)
буду подставлять одно желанное слово –
семьдесят тысяч раз оно в твоём письме повторится.
(А на самом деле, быть может,
ты пишешь о том,
сколько градусов на термометре,
и как долго не было в этом году дождей,
и почему ты купил обои
для своей супружеской спальни).
Этим почерком надо писать прощальные письма –
всё равно не смогу разобрать ни слога,
ни чёрточки, ни запятой, ни точки –
каждый раз, когда мне не хватит букв,
буду подставлять одно-единственное желанное слово.
Семьдесят тысяч раз оно в твоём письме повторится.
Не пиши, не пиши мне последнее письмо в интернете!
Ни вконтакте, ни по электронной почте –
как мне странно, как дико читать, понимая каждое слово,
принимая всю безжалостную,
голую истину твоих обвинений.

Любим мы только то, чего не понимаем.
Вера – порождение не разума, но воображенья.
Господи, помоги не лишиться рассудка –
ибо я всегда читаю не то,
что Ты пишешь.

Хватит рёбра мои сжигать неземным дыханьем.
Прекрати говорить во мне ангельскими голосами.
Я хочу быть кимвалом, звучащим во мраке ночи –
пусть стучат и бряцают мои пустые ладони.
Я хочу быть медью, звенящей в каменной бездне
его сердца – словно в долине Иерихонской.
Я хочу быть музыкой – музыкой неумолчной,
но твоя немота живёт во мне, как проклятье.
Он сказал: «Не пиши», –
и долготерплю,
он сказал: «Не говори со мной», –
и не ищу своего.
Не осталось во мне слов –
мне осталось плакать плачем твоим:
«сердце, избранное мною, не может меня вместить».

Синее – слепо, белое – быстротечно.
Утренний зной из птичьего звона соткан.
Молодость в тихих кварталах и редких встречах.
Лето в напрасных мечтах и открытых окнах.

Стриж настигает чёрный провал балкона –
Падает – маленький, тёплый, пугливый пленный.
Что же ты так трепещешь в моих ладонях,
Словно ты птица и ветка одновременно?

Радуйся – я отпускаю тебя на волю,
Я – человек и клетка в одном обличьи.
Смерть и надежда высятся над тобою.
Как одним словом это назвать по-птичьи?

Ты – стебель (ты тюрьма подземных мутных рек).
И глиняные сны стяжают расстояние –
Ты хочешь зазвучать – живой свисток, побег –
Но снится мне: она несёт своё дыханье.

Ты – ягода. Земля в тебя вливала боль,
И вот полна душа, но некуда пролиться.
И снится мне: она явилась за тобой
И пьёт моё вино. А ты меняешь лица,

Ты – семя. Бог жевал тебя горячим ртом,
Крутились жернова в твоём кровавом рае.
И снится мне опять: она пришла в мой дом
И ест мой горький хлеб. И крошки собирает.

Нелюбовная лирика

Прощай, сакварели. Ты никогда.
Миг – и расходятся поезда,
Как швы на горле. Сквозь забытьё
Дрожит надо мною имя твоё –
Ропот Ингири, ручьёв разговор,
Краткое эхо Эгрисских гор.
Мой голос беззвучен, душа нема.
Имя твоё для неё тюрьма.

Мне рек твоих не испить до дна.
На дне их – юность моя видна.
Над ней вода, надо мной темнота,
Тела тяжёлого теплота.
Не обжигает, но горячо –
Мы молча бьёмся плечом в плечо –
Как два джигита пустились в пляс.
Слёзы катятся мимо глаз,
Руки тянутся мимо рук –
Не замыкается слабый круг,
Не заполняется пустота –
Любовь проливается мимо рта,
Любовь мимо лёгких сквозит во тьму.
Я покидаю свою тюрьму...

Высоки твои кроны, ветви твои остры,
В родовых разрывах серая плоть коры.
Я искала тебя среди сонма других лесов,
Их древесных сосудов, лиственных голосов...
Сон твоих осин, распростёртых полян ожог
На заре сентября как сигнальный горят флажок.
Миг – и сотни рыжих и алых твоих лисиц
Перекусят дутые шейки зелёных птиц,
Встрепенётся крыло, ледяного страшась огня,
Но застынет, стянуто скользким дыханьем дня.
И последнего желтоцвета немой испуг –
Воспалённый рот scarлатиновой плёнкой вспух,
Воздух – во – из последних соков – корней – как вор –
Но уже
дыхание
смерти
ему
простор

Жоре

Клинья паркетных волн в утренней темноте –
В пепле, в пыли, в золе жизнь без конца двоится.
Горла пустого звон – опустошённых тел
Полости не вместят света – и свет струится

В мир, и ты знаешь сам, как он способен жечь –
Жёлтый и золотой – и не вместить сосуду
Меру живой воды, воздуха не сберечь –
Пламя и пустота – плавится – и повсюду
Плоть оставляет след, плоть переходит в медь –
Горла пустого свист – мы бы ещё сумели
Раны свои срастить, но торопила смерть –
Спит на полу дитя, выпав из колыбели.

На стоп-кадре объятая замёрзших, ничьих детей.
Это мы – кто быстрее – по рельсам, смеясь, бежали,
Это мы на перрон карабкались в темноте:
«Дай мне руку!» – и тёплые пальцы слегка дрожали.

Это мы – нелегалы жизни, её «никто»,
Незаконные иммигранты земного ада –
Целовались на станции, прятались от ментов,
И стреляли сиги, и были все время рядом...

Нас везла электричка в разные города –
Мы не стали семьёй. Хэппи-энд не случился. Наши
Нерождённые дети покинуты навсегда
В недостроенном доме. В нетопленном, тёмном, страшном,

Где мы шли, оступаясь, по лестницам без перил,
И смеялись, и я на ощупь тебя искала.
Где ты, где, джаным? Отзовись! Джаным, говори!
И я слышу голос – и крутится фильм сначала.

Это мы – нелегалы смерти – идём туда,
Где любовь воскрешала, давала тоску и му'ку –
Это поезд по рельсам и голос по проводам,
И охрипшая память зовёт тебя: дай мне руку...

Исход

1
Когда я тебя любила,
я слышала музыку –
она звучала,
она длилась, пока я была жива.
Мир не давался мне:

в детстве я прикладывала ухо к стволу дерева
и слышала, как шумно бежит его сок по сосудам,
слышала так же отчетливо,
как крик птицы и громовые раскаты,
но ухо не различало ни одной из семи нот
и не отделяло дизз от бемоля,
и гортань суетливо вбирала воздух,
но не умела извлечь ни звука –
как от рождения глухонемые дети,
не различая пиано с форте,
на молчание Бога я отвечала криком –
но когда я тебя любила,
я узнавала твои шаги –
у них была особенная мелодия.
Когда ты пел –
сердце слышало обертоны скорби,
и долго еще вибрировала грудная клетка –
твой голос тек в моих ребрах,
как кровь в сосудах,
твой голос умирал,
но память закрывала его в себе,
не отпуская обратно в небо,
и голубь бился о мой висок
изнутри –
а снаружи звучала музыка,
когда я помнила о тебе,
я понимала природу звука –
но глухи деревья и немые камни,
косноязычен вселенной ропот,
тысячетонный океан
бьется в натянутые перепонки,
стиснуты ребра и сдавлен череп –
сломанной клетки пустое горло
силится небо в себя вместить.

2

*Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море:
они погрузились, как свинец, в великих водах.*

Исх 15: 10

Господь замыкает мой слух. В опустевший эфир
Уходят мои позывные, беззвучно и строго.
Вверху надо мною бесшумно смыкается мир –
Так тонет бесславный солдат, призывающий Бога,

Так в толще беспамятства вскрыто отверстие рта –
Раскрытое горло – где волны, волна за волною, –
Межкостная полость – межатомная пустота –
Где волны проходят,
Ведомые властной рукою...

Невыносима пытка эта – ждать,
Когда не знаешь ты ни мест, ни срока.
Как черпать реку, чтоб достигь истока,
Опять, опять, опять, опять, опять.

Не думай, терпеливая, уплыть,
Уехать, улететь – сквозь все затворы
Вокзальные тупые коридоры,
Как парки, длят и длят терпенья нить.

А может быть, наверно – никогда
Твоя рука к моей не прикоснётся,
И к Евиным садам Адам вернётся,
А у тебя, Лилит, – вода, вода.

Плач к Орфею

Твой горний мир не для двоих.
Я голубика, Эвридика,
Я Эвридика, косяника,
И стон мой на устах твоих.

Будь твёрд, Орфей! Верни сие
Летейским сонмам, сон ей благо.
Любовь твоя короче шага
Обратного – в небытие.

Он придет ко мне, когда будут спать –
Не услышит дочь, не услышит мать.
Только я ловлю каждый тихий звук –
Полуночица – и услышу стук.
– Тёма, это ты – ты пришёл за мной?

Пустотой зияет косяк дверной.
Но, припав к нему, на мои слова

Улыбается белая голова.
– Здравствуй, это я. Я пришел с войны.
Пять смертей глядят из моей спины.
Наконец-то встретились мы опять.
Только нету рук, чтоб тебя обнять.
Только нету ног – на колени встать.
Запеклись мои губы – целуй их всласть,
Ты ждала меня – принимай теперь.
Ты сменила дом, ты сменила дверь.
Я с большим трудом отыскал твой дом –
Чтобы запах смерти оставить в нем,
Чтоб согреть тебе щеки теплом золы,
Чтоб испачкать твои полы.
Что ж, пора немилому гостю прочь.
Мне писали, что у тебя есть дочь.
Разреши, скажу я хоть слово ей.
Твоя дочь могла быть моей, моей!
Посмотреть позволь - если спит она.

Вдоль головки детской скользит луна,
И светлеет ямочка на щеке,
И мгновенно прячется в уголке.
– Посмотри, посмотри, ведь она моя!
Помнишь, раньше так улыбался я.

Над головкой детской скользит, бледна,
Пустотой зияющая тишина.
Будет он отныне, вселяя страх,
Над тобой стоять в твоих детских снах.

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

ЭДУАРДУ ПАШНЕВУ – 90 лет



Пашнев был бодрый старик. Во всяком случае, он прожил бы еще много лет, и в свой 90-летний юбилей 15 августа 2023 года мог бы лично принимать поздравления. В интервью, которые он мне давал в разные годы после отъезда из России, в письмах и при личных встречах он не переставал восхищаться социальным и медицинским обеспечением в Сан-Франциско, штат Калифорния, где он проживал. Эдуард Пашнев говорил, что это идеальное место для стариков, и живописал постоянную опеку различных служб над ним и его супругой в плане поддержания здоровья. Пасынок Пашнева, **Дмитрий Кирпотин**, был биохимик, гражданин США, поэтому при переезде за океан Эдуарду Ивановичу не было необходимости пробивать себе место под солнцем. В постсоветской России он уже пользовался благами пенсионера, та же ситуация сложилась у него и в США.

На снимке: Основатели театра «Колесо» - главный режиссер Глеб Дроздов и завлит Эдуард Пашнев, 1990-е

Почти за 10 лет до своей смерти, а точнее, 20 мая 2011 года, Пашнев писал мне: *«Болея я серьезно – пневмония. В госпиталь попал по скорой помощи. Два дня лежал в реанимации, потом два дня в палате и десять дней лечился дома – принимал антибиотики. В Америке очень сильна экстремальная медицина. Мне вскрывали яремную жилу, чтобы как следует промыть под капельницами. У меня такое ощущение, что меня просто спасли. Сейчас чувствую себя превосходно. Езжу в казино, работаю за письменным столом»*. Словом, предпосылки к финалу складывались не вдруг – если мы говорим не только о возрасте.

В октябре 2020 года Эдуард Иванович вместе с супругой **Натальей Валерьевной Кирпотиной** заразились коронавирусом. Но американская медицина и в этот раз продемонстрировала свою эффективность: пожилая семейная пара пошла на поправку. Вдруг что-то стало происходить не так, у Пашнева наступило стремительное ухудшение, хотя жена и пасынок были уже здоровы. Эдуарда Ивановича подключили к аппарату ИВЛ, неделю он пребывал в медикаментозной коме, из которой обессиленного старика вывести уже не удалось. Наталья Кирпотина сообщила близким: *«Сегодня, 1 января 2021 г., в 5.25 дня скончался Эдуард Иванович (Пашнев)»*. Речь идет о местном времени Сан-Франциско. Значит, в Тольятти в этот момент было 2 января 2021 года, 4 часа 25 минут утра. Разница в 11 часов.

Знакомство

Если совсем коротко, опуская множество эпизодов, биографию Эдуарда Ивановича Пашнева можно уложить в десяток предложений. Родился 15 августа 1933 года в Воронеже. В 1964 году окончил московский Литературный институт имени М. Горького. Автор свыше 30 книг, среди которых «Хромой пес», «Девочка и олень», повести «Белая ворона», «Приключения желудевого человечка» и другие. Многие произведения переведены на иностранные языки. Кроме того, он автор полутора десятков пьес, за одну из которых, «Хроника одного дня» (Воронежский драмтеатр, 1974), был удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР, а также сценарист художественных фильмов «Поле перейти» (киностудия им. Горького) и «Певучая Россия» («Мосфильм»). В 1981–83 годах был председателем правления Воронежской писательской организации. С 1983 по 1988 годы – заведующий литературной частью Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. С 1988 по 1996 годы заведовал в Тольятти литературной частью театра «Колесо». Инициатор и создатель Тольяттинской писательской организации. Последние два десятилетия жизни проживал с семьей в Сан-Франциско (США).

Формально приказ о создании первого профессионального драматического театра «Государственный экспериментальный театр «Колесо» г. Тольятти» был подписан 2 марта 1988 года. Но спектакли в том здании, где сейчас находится театр, были показаны не сразу: ДК «50 лет Октября» нуждался в серьезной реконструкции и ремонте. Помню, летом 1988 года, уже демобилизовавшись из армии, я подрабатывал сторожем-дворником в педучилище, расположенном прямо через дорогу перед бывшим ДК. Как-то ранним утром я вышел на улицу, сдал смену, и увидел знакомого, тоже сторожа на подработке: он сидел в выдолбленной нише, словно на входе в пещеру Алладина. Теперь в этом месте расположены кассы театра. Я сделал несколько шагов внутрь, ощущение пещеры не проходило: содержимое здания в этом месте было выдолблено до второго этажа. Словом, пока шел ремонт, «Колесо» находилось на перманентных гастролях.

Как только пришла пора обустраивать свой «дом», Пашнев развил бурную деятельность: возникла потребность собственными силами сформировать вокруг себя культурную среду.

Из неопубликованной главы «Театр и литература» для книги Пашнева о **Глебе Дроздове** «Иноходец»: *«В городе работали три литературных объединения: «Лада», «Лира» и «Дом Репина». Я побывал в каждом и пригласил руководителей в театр. Глеб Дроздов предоставил мне для встречи с тольяттинскими писателями свой огромный, красиво обставленный кабинет. В 1981-1983 годах я был Председателем правления Воронежской писательской организации. В нее входили 60 человек, в том числе широко известные писатели Г. Троепольский, В. Гордейчев, Ю. Гончаров. Я полагал, что у меня есть опыт руководства крупной писательской организацией, и попытался объединить всех писателей Тольятти. Несмотря на то, что у некоторых авторов были уже книги, изданные в Самаре и в Москве, во всех объединениях царил обычный самодеятельный уровень. Мое желание собрать талантливых прозаиков, поэтов и драматургов вокруг театра «Колесо» натолкнулось на жесткое сопротивление. Все три руководителя решительно отказались от совместных действий. Вероятно, все дело было в финансировании. В богатом автомобильном городе самодеятельность финансировалась, как профессиональное искусство».*

Тем не менее, в 1989-1990 годах в камерном зале театра Пашневым были организованы творческие встречи – поэтические вечера тольяттинских литературных объединений «Лада», «Лира», «Дом Репина». Для каждого литобъединения к мероприятиям напечатали буклеты: в них были фотографии и стихи авторов, а также программки театра.

С Эдуардом Ивановичем я познакомился в 1991 году: была предпринята попытка создать Тольяттинскую Ассоциацию писателей для детей и юношества под руководством Пашнева. Но дальше «Протокола собрания тольяттинских писателей, пишущих для детей и юношества» дело в итоге не пошло. Помню, принес я свою короткую повесть «Сказка о Маленьком Мышонке» - намечалась перспектива публикации в Куйбышевском книжном издательстве. Но Пашнев прочел и спокойно сказал: «По-моему, это мотивы Винни-Пуха». Больше мы к данной теме не возвращались.

В этот период при кураторстве Пашнева в «Колесе» были проведены несколько важных для меня мероприятий.

В 1991 году там состоялся творческий вечер трех авторов: **Алексея В. Алексеева, Вячеслава Смирнова и Александра Фанфоры**. Почему-то для нас казалось важным выступить именно в «Колесе». К тому же в зале присутствовали не только зрители, приглашенные лично нами – что обычно бывало не часто.

В 1993 году там прошел бенефис в честь моего четвертьвекового юбилея. Некоторые поэты до сих пор с завистью вспоминают полный зал. Да я и сам был удивлен такой ситуацией.

Наконец, в 1996 году мы провели презентацию изданной мною книги **Юрия Панюшкина** «Пиво, секс и авторская песня». Запись мероприятия сохранилась, ее можно найти в сети интернет – по названию издания и фамилии автора.

И еще из того периода, как некий казус, запомнилось поэтическое выступление поэтов-авангардистов, посвященное неподцензурной поэзии. В финале невозмутимый Эдуард Пашнев, спокойно выслушав всех, вышел на сцену, встал в позу, выдержал паузу и с пафосом произнес: «Говно!»

С основателем театра «Колесо» Глебом Борисовичем Дроздовым тоже Пашнев меня познакомил. Заканчивался 1992 год, мы с Дроздовым встретились в фойе второго этажа: намечалось предновогоднее телевизионное интервью, для картинке я был в костюме Деда Мороза – правда, со своей, а не с накладной бородой. Тридцать лет назад она была еще черной, а не белой, как сейчас. Зато до пояса. В беседе Глеб Дроздов много рассказывал о летней поездке на фестиваль в Югославию: скорей всего, это было самым важным для его театра при подведении итогов года. В 1993 году театр возил в Югославию уже целых три спектакля, но я не путаю, речь шла о более ранней поездке. По прошествии лет жалею, что не продублировал себе видеозапись – тогда это казалось неважным. Оператор внезапно умер 20 лет назад, и теперь все наши съемки начала 1990-х годов мне недоступны.

Вспоминается характеризующая Пашнева история. Написал он

эротическую поэму «Кентавры», и сам в «Колесе» поставил по ней спектакль. Кроме того, поэма была издана в виде книги тиражом 10 тысяч экземпляров: суперобложка в сложенном виде представляла собой программку, а в развернутом виде – афишу спектакля. Эдуард Иванович без экивоков обратился ко мне:

– Слава, нужен скандал. Нужна разгромная рецензия на спектакль. Можно даже с переходом на личности.

В итоге в феврале 1993 года вышли две дублирующие друга друга публикации в конкурирующих изданиях «Площадь свободы» и «Тольятти сегодня». Но я поступил гуманно: написал две диаметрально противоположных рецензии – хвалебную и ругательную. В 2022 году текст той давней публикации вошел во второй том моей книги «Театры Тольятти», его можно найти в сети интернет. Словом, Эдуард Иванович знал толк в воздействии на массовую аудиторию.

И самое для меня главное, связанное с Пашневым и «Колесом» – создание Тольяттинской писательской организации (подразделения Союза российских писателей), – не литобъединения, а первого профессионального писательского союза в нашем городе. Именно Эдуард Иванович был инициатором, двигателем, «трактором» всего этого. Я писал Устав нашей организации на основе Устава местного отделения Союза художников, и зарегистрирован этот Устав был в день моего рождения – 17 марта 1993 года. Самый первый адрес официальной регистрации нашей организации был ул. Ленинградская, 31 – это адрес театра «Колесо».

Когда у Пашнева завершился контракт с «Колесом» – наши встречи и наше общение не закончились. Я учился в Москве в Литературном институте, и порой встречал Эдуарда Ивановича то в метро, то на улицах города – отчего-то наши пути пересекались. Именно он в 1998 году дал мне рекомендацию в Союз российских писателей (СРП): мы встретились в дворике Дома Ростовых, где размещены писательские Союзы (ул. Поварская, 52), и Пашнев на скамейке, прямо на коленке, сочинил мне рекомендацию. Эта бумажка, написанная второпях, имела свой вес: Пашнев был не только известным писателем, но и в ту пору – членом координационного совета СРП.

Пашнев жил в писательском доме на Проспекте Мира, его соседями были **Булат Окуджава**, **Анатолий Жигулин**. Но в гости до поры не приглашал: его тесть, известный публицист и литературовед сталинской поры **Валерий Яковлевич Кирпотин**, почти столетний старец (умер в возрасте 98 лет), пребывал в тяжелом состоянии, и посторонние могли потревожить его. Весной 1997 года Кирпотина не стало, после чего я неоднократно гостил у Пашнева:

супруга, Наталья Валерьевна, кормила меня супом, подносила рюмочку настойки. Я с ужасом и благоговением смотрел на книжные стеллажи: все-таки тесть родился в XIX веке, имел профильные интересы, и его библиотека, как цельная единица хранения, представляла несомненную ценность. Во всяком случае, почти все книги 1920-50 годов были с автографами авторов – тех, которых мы изучали по школьным учебникам.

Дружба по переписке

Уже в нынешнем веке мы с Пашневым общались в основном дистанционно, хотя он несколько раз приезжал в Тольятти. В этих случаях я делал с ним очередное интервью: местные СМИ по старой памяти благосклонно относились к этому персонажу, и в целом охотно публиковали такие материалы. Первые приезды Пашнев селился в актерском общежитии на ул. Голосова, 97. Как-то, договариваясь о встрече там, я поинтересовался, как мне попасть в квартиру. На двери подъезда не было домофона, да и сотовые телефоны тогда были не так распространены, как сейчас. Пашнев не растерялся:

– Ты подойди к подъезду, крикни: «Эдик!» – и я тебе брошу ключ.

Последние приезды он уже селился в гостинице «Жигули»: с годами связей с театром «Колесо» становилось все меньше. В свой последний прилет в Россию Пашнев посетил только Воронеж: у него там осталась квартира, библиотека, архив, нужно было привести в порядок бумаги. Ему уже тяжело давались перелеты через океан. В 2011 году, во время нашего последнего очного интервью, Пашнев ответил на вопрос «Что бы вы хотели пожелать в Тольятти тем людям, которые вас здесь все еще помнят и любят?»: *«Наверное, уже мало осталось таких людей, годы идут. Уже десять лет, как я нахожусь за пределами Тольятти. Но я все время приезжаю сюда, я встречаюсь с писателями, мы выпиваем немножко коньячку, мы читаем друг другу стихи... И я хотел бы, чтобы это продолжалось долго. Я хочу чувствовать себя участником этого процесса, участником той организации, которую я помогал создавать».*

Помимо интервью, я публиковал и произведения Пашнева. Так, его пьеса «Робин Гуд» вошла в «Антологию тольяттинской драматургии» в рамках альманаха «Майские чтения» (2001). А в тольяттинском литературном журнале «Город» регулярно печатались стихи Пашнева. Однажды я даже опубликовал его киносценарий «Дьявол» по одноименной повести и дневникам **Льва Толстого**. Дело в том, что **Василий Панин**, режиссер давнего фильма по сценарию

Эдуарда Пашнева «Певучая Россия» (1986), снял к 175-летию Толстого фильм «Покаянная любовь» по этому сценарию, но... Пашнева в титрах не указал. Мы с Эдуардом Ивановичем разработали целую программу возмездия: серию газетных публикаций с детальным описанием скандальной ситуации, а также, собственно, осуществили официальное издание и самого киносценария.

Так постепенно сложилось, что я стал фактически литературным агентом Эдуарда Пашнева, его представителем в России. Чтобы связаться с Пашневым, ко мне обращались поклонники **Тамары Синявской** и **Муслима Магомаева**, поскольку у Эдуарда Ивановича выходили воспоминания об их совместном сотрудничестве, не вошедшие в книгу «Иноходец». Через социальные сети меня находили поклонники скончавшейся в 1960-е годы совсем юной художницы **Нади Рушевой** – ведь Пашнев написал о ней книгу «Девочка и олень». Наконец, окольными путями на меня стали выходить издательства – с просьбой связаться с Пашневым с целью переговоров об издании той или иной книги. Они находили через поисковик мои интервью в электронных СМИ, связывались с редакцией – и так добивались до меня. Как-то в своем письме от 12 сентября 2019 года Пашнев написал: *«...между тем, я тебе очень благодарен. Ты меня связал с издательством «Речь» в Петербурге. И в прошлом году у меня в этом издательстве вышла большая книга «Дневник человека с деревянной саблей» в подарочном издании с хорошим портретом хорошего художника **Виктора Прокофьева**, с хорошей статьей, которая называется «Фантазия и мастерство». Написал профессор **Олег Ласунский**, в библиофильском мире знаменитый человек. Иллюстрировала книгу замечательная художница **Елена Жуковская**. И книгу, и ее рисунки можно посмотреть в интернете. А в источках всего этого – ты, Вячеслав Смирнов. Спасибо!»*

В 2009-2010 годах мы затеяли переиздание книги «Иноходец» об основателе театра «Колесо» Глебе Дроздове – на этот раз в виде двухтомника. Были написаны новые 168 страниц – а это 10 или 11 глав. Некоторые главы печатались в бумажных и электронных СМИ, в литературном журнале «Город». Эдуард Иванович увлекся темой, мы два года вели активную переписку, обменивались мнениями, вносили коррективы. Двухтомник так до сих пор и не вышел. В принципе, у меня на руках есть весь материал. Не хватает буквально двух глав – тогда они найдутся в работе. Но их можно восстановить уже без участия автора: одна глава публиковалась в тольяттинской газете «Площадь свободы», другая – в одном из воронежских изданий, кажется, журнале «Подъем». Была еще справочная глава со списком спектаклей, которые Дроз-

дов поставил за всю свою жизнь – но ее, я думаю, тоже можно восстановить. Дело за малым (вздыхает). 26 октября 2009 года Пашнев писал мне из Сан-Франциско: *«По поводу того, что Пашнева и Дроздова забыли, это понятно. Но Пашнев не забыл, Пашнев вспоминает и за себя, и за Дроздова. И надо понимать еще одну вещь. Чем дальше уходит история, тем дороже память. Рано или поздно театр «Колесо» захочет вспомнить свою историю, и город захочет вспомнить историю создания театра «Колесо». Тогда и придет очередь двухтомника. Иметь такую вещь, как два тома о театре – это же не каждому городу и театру под силу. А тут все лежит, все готово и ждет удачного момента. Одним словом, будем держать этот проект в уме. А рукопись готова».*

Еще можно вспомнить, что на каникулах в январе 2011 года я организовал его прямое онлайн-общение с читателями и театралами, да и просто с интернет-пользователями. В одном из городских электронных СМИ была рубрика «Дежурный по городу», в ней в ежедневном режиме анонсировался тот или иной гость, который в течение дня отвечал на различные вопросы посетителей сайта. В каникулы гостей не было, да и сам сайт был на каникулах, поэтому Пашневу общения досталось сполна: его не отпускали в течение трех или четырех дней. Кажется, Эдуард Иванович остался чрезвычайно доволен этой новой для себя формой общения. Возможно, Пашневу не хватало живого голоса из России. Отчасти эту нехватку компенсировали книги. Вот что писал мне Эдуард Иванович 23 октября 2011 года: *«Я снова на берегу океана. Отдыхаю от полета. Очень трудно было лететь. От Москвы до Нью-Йорка 10 часов. Затем от Нью-Йорка до Сан-Франциско – 6 часов. Лежу на диване с книжкой, и не хочется вставать. Я в этот раз зашел в Москве в 100-ый магазин на Горького и купил чемодан книг. Привез в Сан-Франциско огромный том **Евгения Евтушенко**, весом, наверное, килограммов десять. Называется «Весь Евтушенко». Весь, без прозы, одни стихи. Четыре тома **Сарнова** «Сталин и писатели». Очень любопытное издание. Привез том **Сергея Есенина**, в котором поместилось все его творчество: стихи, статьи, проза. Привез полное собрание сочинений **Владимира Сорокина**, у которого ценю всего две вещи «Очередь» и «Свободный урок». Но тут есть почитатели этого скандального таланта, буду давать читать. Привез три тома **Суворова** из новой серии. И привез томик **Бориса Скотневского**. Хочу, чтобы лежал у меня на столе. Кстати, Борис успел мне позвонить и даже предложил встретиться. Но у меня уже не было времени».*

После жизни

В 1960-е годы свой диплом в Литературном институте Пашнев защищал романом «Дунька», руководил творческим семинаром **Лев Кассиль**. Роман тогда не вышел из печати, и Эдуард Пашнев дописывал его все последующие 50 лет. Почти во всех интервью у меня был вопрос о том, как продвигается работа с этим «долго-строим». А еще часто – не в каждом письме, но почти в половине писем Эдуард Иванович делился информацией об опубликованных в газетах и журналах произведениях, о работе над многочисленными книгами. Вот пример такого сообщения в письме от 2 июня 2015 года: *«Сейчас я закончил мемуары о провинциальной жизни писателей в Воронеже «Когда мы были великими». Это о моей литературной молодости. Жанр: «роман из записной книжки». Некоторые фрагменты уже публиковались в «Литературной России», в журнале «Телеграф» (Воронеж), в газете «Воронежский курьер» и в других газетах. Написана также книга о казино в Америке «Автобус». В ближайшее время начну монтировать эти книги, применяя принцип монтажа в кино. Дело в том, что эти обе книги состоят из фрагментов. От того, как мне удастся сложить эти фрагменты, будет зависеть удача. Думаю, что я с этим справлюсь».* Таких заготовок – и оконченных, и неоконченных работ было множество. Я не исключаю, что когда-нибудь у нас появится возможность ознакомиться с ними, ведь жизнь писателя продолжается вместе с его книгами.

А еще за три месяца до смерти Эдуарда Пашнева мне написал молодой мужчина по имени **Константин**: *«Добрый день, Вячеслав! Друзья прислали мне статью, где вы 9 лет назад беседовали с Эдуардом Пашневым, вот эта статья (следует ссылка, – **В.С.**). Вот еще статья, где вы с Э.П. на одной фотографии (опять следует ссылка, – **В.С.**). Не могли бы вы поделиться адресом электронной почты Эдуарда Ивановича или профилем соц. сети, мне бы хотелось с ним связаться. Дело в том, что я его сын, мы несколько раз общались, когда он приезжал в Воронеж много-много лет назад. После смерти моей матери контакты были потеряны, и я не общался с ним ни разу, это примерно 18 лет. Время идет, он не молодеет, да и мне уже 37, у него есть внук и внучка, возможно, ему будет интересно пообщаться с ними, они про него спрашивают часто. Прошу прощения, если ошибся адресом. Буду благодарен за любую информацию».* В подтверждение своих слов мужчина прислал скан письма, которое Пашнев написал в 1980 году его матери. С некоторым чувством трепета и неловкости я приступил к чтению: *«Здравствуй, женщина с именем финского сыра! Здравствуй, Виола! Здравствуй, музыкаль-*

ная женщина. *Здравствуй, сладкая женщина!*» – и т.д. Дело в том, что у Пашнева уже был сын в Тольятти, писатель жил здесь гражданским браком. Довольно быстро в социальных сетях я нашел профиль еще одного вновь объявившегося сына: признаюсь, я был поражен – настолько велико было сходство с юношескими фотографиями самого Пашнева. Я связался с Эдуардом Ивановичем, переслал ему полученные сообщения и скан письма. Пашнев отнесся к ситуации довольно благосклонно: да, дескать, был грех молодости. Сын и отец все же смогли пообщаться перед вечной разлукой. В этой удивительной ситуации я с теплотой думаю о продолжении, которое Пашнев получил во внуке и внучке: они никогда не знали деда, но, не исключено, когда-нибудь прочтут его книги.

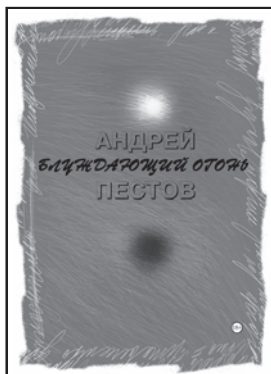
Мне будет не хватать Пашнева, с ним было интересно. Он относился комплиментарно к окружающим, умел приободрить словом. В нашем последнем интервью он говорил: *«В моей жизни ничего не изменилось: я как был русским, так и остался русским. Я живу интересами России. Все, что я пишу – я пишу про Россию. С кем я дружу по-настоящему (литературно и человечески) – это все в России».*

Вячеслав СМЕРНОВ

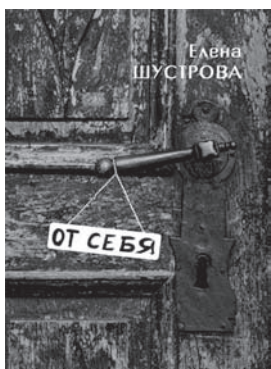
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ



Виктор Стрелец, "Отсебятина", Издательские решения, по лицензии Ridero, 2022. — 128 с.



Андрей Пестов, "Блуждающий огонь", Издательские решения, по лицензии Ridero, 2022. — 104 с.



Елена Шустрова, "От себя", Издательские решения, по лицензии Ridero, 2022. — 128 с.



Вячеслав Смирнов, "Театры Тольяти", т 1, Издательские решения, по лицензии Ridero, 2022. — 796 с.



Вячеслав Смирнов, "Театры Тольяти", т 2, Издательские решения, по лицензии Ridero, 2022. — 780 с.



Сборник женской прозы (выпуск 5), "Девочка на шаре, или Письма из детства". — М.: Союз российских писателей, 2022. — 400 с.

*В сборник вошли рассказы тольяттинских авторов - Т. Гоголевич, Н. Сафроновой, Г. Смирновой.

ОБ АВТОРАХ:

Войтко Светлана (SauVage) родилась в г.п. Зэльва Гродненской области республики Беларусь. Публиковалась в литературных журналах «Бийский Вестник», «Маладосць», «Невский проспект», «Метаморфозы», «Литерра Nova», «Между строк», поэтическом сборнике «Фонарь-2020», газете «Площадь Свободы». Победитель конкурса «Поэтический атлас – 2019» проекта «Международный фестиваль «Мгинские мосты», лауреат Международного литературного конкурса «Созвездие Духовности», дипломант Межрегионального литературного конкурса «Ты сердца не жалей, поэт». Живет в Минске, республика Беларусь.

Гилверя Николай Александрович родился в 1994 году в г. Тольятти. В 2018 году окончил колледж (КТиХО), получив образование по специальности художник-педагог. Автор романов «Заводной механизм эпохи декаDANCa» и «СВЯТО-ТЕННО», а также рассказов, повестей и стихотворений.

Гоголевич Татьяна Евгеньевна родилась в 1962 году в г. Тольятти. Окончила Куйбышевский медицинский институт. Член Союза российских писателей. Автор книги рассказов «Мой остров» (2009), книги стихотворений «Алые яблоны» (в серии «Библиотека журнала «Город», 2004) и книги путевых заметок «Средняя Азия. Взгляд против солнца» (2017).

Карева Елена Юрьевна родилась в г. Сызрань. Окончила Куйбышевский медицинский институт. Член Союза российских писателей. Автор пяти книг стихотворений: «Оранжевые цветы», «Всего лишь слова» (в серии «Библиотека журнала «Город»), Red-and-Blues, «Гори... гори...», MY PRECIOUS, «Роза Шрёдингера» (2021).

Кирюхин Владимир Иванович родился в 1948 году в селе Ныроб Пермской области. В 1950 году переехал в г. Ставрополь-на-Волге (ныне г. Тольятти). Окончил Тольяттинский политехнический институт. Член Союза российских писателей. Автор книг стихотво-

рений «За край» (2016) и «Бег времени» (2020), книги прозы «Жизненные зигзаги» (2019).

Елена Колесниченко (Семенова Елена Александровна) родилась в 1993 году в пос. Полтавка Омской обл., в настоящее время проживает в г. Тольятти. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза писателей России. Публиковалась в альманахах «Литературный Омск», «Сибирские огни», в антологии произведений омских поэтов «Годовые кольца». Автор поэтического сборника «Теплые сны зимы» (2010). Лауреат литературной премии им. Павла Васильева (2012), вошла в шорт-лист Южно-Уральской литературной премии (2018) и премии «Лицей» (2021).

Мисюк Владимир Николаевич родился в 1959 году в Ставрополе-на-Волге (ныне г. Тольятти). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза российских писателей. Автор десяти книг стихотворений.

Пестов Андрей Львович родился в 1962 году, поэт, прозаик, литературный критик. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор книги рассказов «Блуждающий огонь» (2022). Живет в Кирове.

Рыхлов Виталий Викторович родился в 1975 году. Актер, вокалист, диктор. Работал в ТЮЗ «Эксперимент» (1990-2001). Журналист, женский журнал «Другая». С 2012 по 2016 сценарист, режиссер и ведущий тольяттинского ко스플레이 фестиваля «Animation Zone». Автор литературного проекта «Начало».

Сафронова (Толстунова) Наталья Юрьевна родилась в 1966 году в поселке Ромоданово Мордовской АССР. Окончила филфак Мордовского государственного университета. Член Союза российских писателей. Автор пяти книг: прозаических «Близнецы» (2011), «Девичник» (2013) и «Помаша папе ручкой» (2018), поэтических «Бабыя сказка» (в серии «Библиотека журнала «Город», 2112) и «Птичка» (2018).

Смирнов Вячеслав Анатольевич родился в Омской области в 1968 году. Заместитель председателя Тольяттинской писательской организации. Член Союза российских писателей. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (1999). Член Творческого союза

художников «Солярис», Ассоциации театральных критиков. Автор книг «Жутики» (1994), «Приятнейший чудак» (1997), «Чума» (2008), «Хулиганы, бегающие по керамзиту» (2018), «Песня-плач-причитание <...>» (2018), «Напокишу» (2020, 2021), двухтомника «Театры Тольятти» (2022) и других.

Трунин Александр Васильевич родился в 1954 году в с. Кольцово Калужской обл. В 1982 окончил русское отделение филологического факультета МГУ. Стихи публиковались в журналах «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», «Город», «Дети Ра», «Зинзивер», альманахах «Истоки», «Продолжение», «Под часами», «Паровозъ», «Синие мосты», коллективных сборниках «Лёд пламень», «У четырёх ветров», «Бересклет». Автор книг стихов «Клевер поднебесный» (2000), «Отава августа» (2012). Председатель Калужского отделения Союза российских писателей. Живет в Калуге.

Шилин Виктор Вячеславович родился в 1991 году. Окончил магистратуру Волгоградского государственного технического университета. Работает аппаратчиком на химическом комбинате АО «Каустик». Живет в Волгограде.

Шляпина (Мисюк) Марина Владимировна родилась в 1967 году в г. Сарапуле. Окончила Горьковский институт иностранных языков. Член Союза российских писателей, член Творческого союза художников «Солярис». Автор книг прозы «Записки на обратной стороне холста» (в серии «Библиотека журнала «Город», 2007) и «Близь и даль» (2015).

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.*

© “Ставрополь-на-Волге – Город – Тольятти”, 2023.

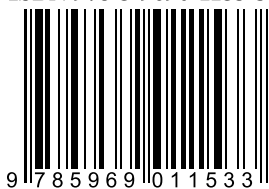
Смирнов Вячеслав Анатольевич

E-mail: slavasmirnov@yandex.ru

Мисюк Владимир Николаевич

E-mail: vlam59@mail.ru

ISBN 978-5-9690-1153-3



Макет, верстка **В. Мисюк**

Издательство Академии наук РТ
420111, г. Казань, ул. Баумана, 20.
Заказ № 3.10

Подписано в печать 03.10.2023.

Формат 60x84/16.

Бумага типографская.

Печать офсетная. Объем печ. л. – 15,5

Тираж 150 экз.